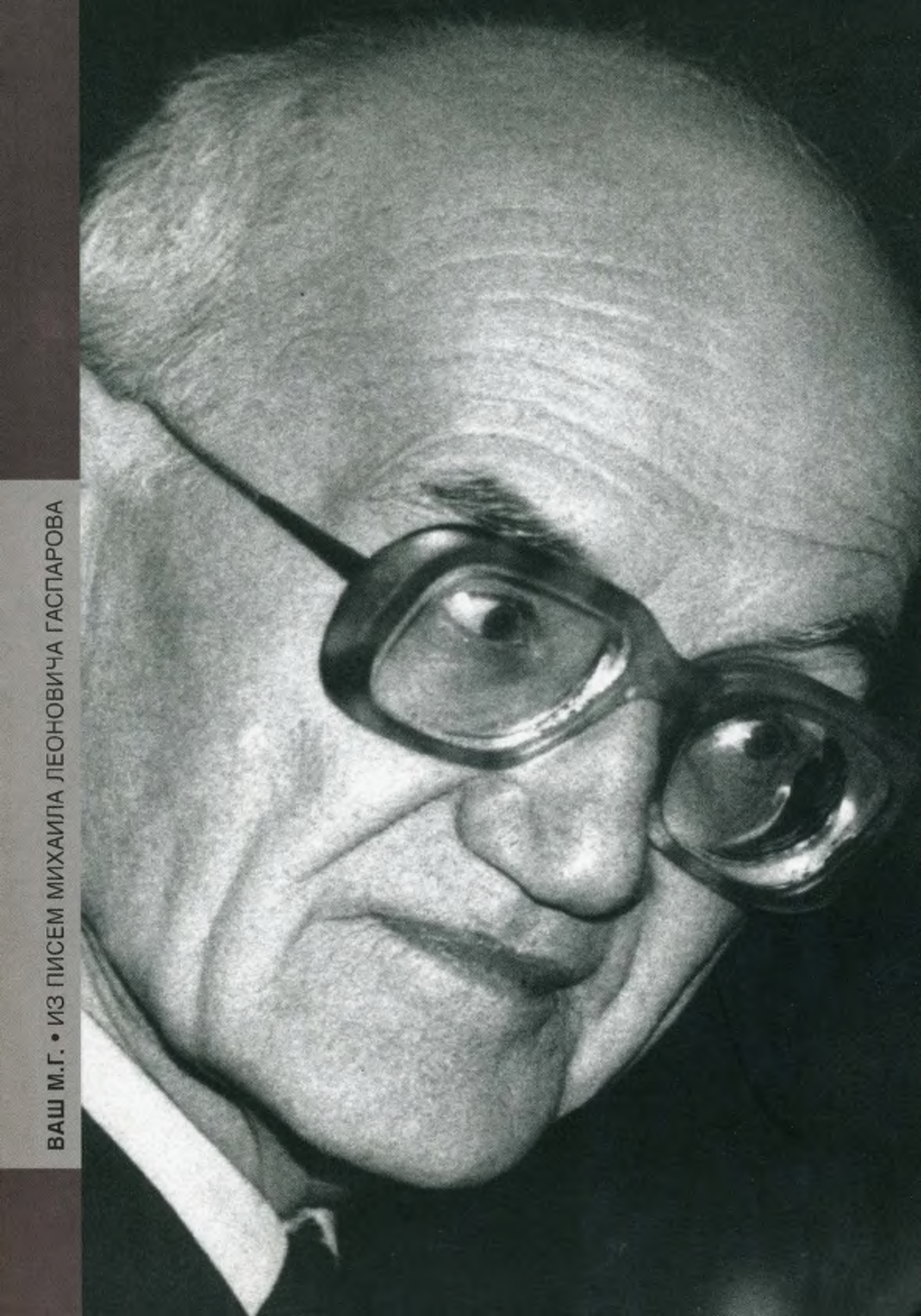
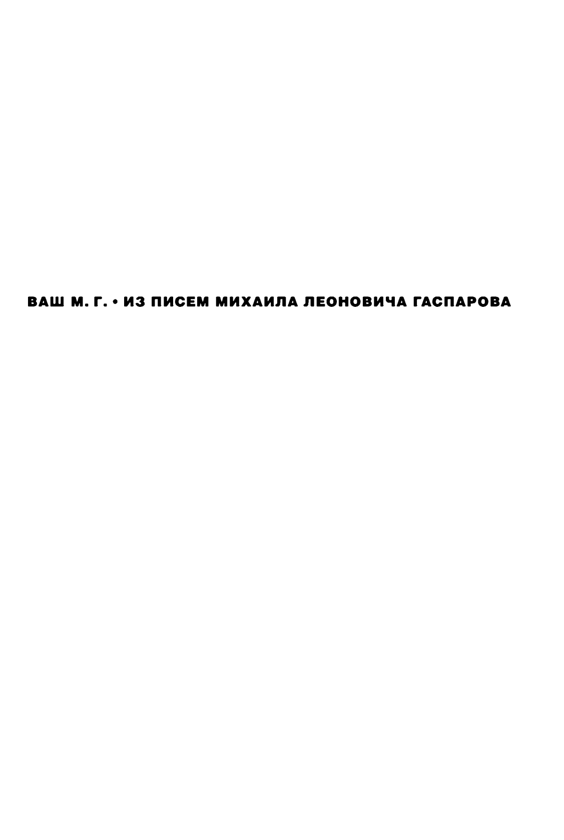

ВАШ М.Г. • ИЗ ПИСЕМ МИХАИЛА ЛЕОНОВИЧА ГАСПАРОВА



ВАШ М. Г. • ИЗ ПИСЕМ МИХАИЛА ЛЕОНОВИЧА ГАСПАРОВА

издательство

УДК 80
ББК 80
В23

Издатель Андрей Курилкин
Дизайн Сергей Андриевич

Составитель Елена Шумилова
Редколлегия Хенрик Баран, Константин Поливанов, Елена Шумилова

В23 Ваш М. Г.: Из писем Михаила Леоновича Гаспарова
М.: Новое издательство, 2008. — 452 с., ил.

ISBN 978-5-98379-113-8

В книге представлена подборка писем выдающегося филолога-классика, стиховеда, литературоведа, переводчика, писателя Михаила Леоновича Гаспарова (1935–2005). Их адресаты — его многолетние собеседницы и соавторы: филолог-классик Нина Владимировна Брагинская, литературовед Ирина Юрьевна Подгаецкая и философ Наталья Сергеевна Автономова. Письма охватывают период в тридцать лет (1972–2002) и фиксируют разные этапы многосторонней научной биографии М.Л. Гаспарова, его суждения о литературе античности и Нового времени, о задачах и методах филологии и о ее соотношении с другими дисциплинами. Читатель — современник автора писем — получает возможность войти в мир научных и художественных интересов одного из крупнейших ученых-гуманитариев нашей эпохи.

УДК 80
ББК 80

ISBN 978-5-98379-113-8

СОДЕРЖАНИЕ

ОТ РЕДКОЛЛЕГИИ

Друзья и коллеги М.Л. Гаспарова на протяжении многих лет получали от него письма и открытки, заполненные до краев изящным мелким почерком. Устному общению он часто предпочитал письменное, ведя большую переписку и, несмотря на свою постоянную занятость, всегда аккуратнейшим образом откликаясь на задаваемые ему многочисленные вопросы.

У многих сохранились письма и открытки М.Л., какие-то уже опубликованы, другие ждут своего часа. Круг его корреспондентов очень широк. В настоящей книге мы решили ограничиться письмами к трем адресатам. Нина Владимировна Брагинская, Ирина Юрьевна Подгаецкая, Наталия Сергеевна Автономова — многолетние собеседницы и соавторы М.Л. Письма к ним и чрезвычайно содержательны, и доверительны. Хотя личная переписка обычно публикуется через много лет после смерти авторов и адресатов, нам кажется очень важным именно сейчас дать читателю, современнику М.Л., возможность еще раз войти в мир его интеллектуальных, научных, художественных переживаний, интересов и оценок.

Сам М.Л. дал повод думать о своих письмах как о литературе, поместив в «Записях и выписках» несколько переработанных писем Ирине Юрьевне Подгаецкой. Пусть изначально они и не предназначались для «собрания сочинений», все же нет сомнения, что М.Л. рассматривал часть

своей переписки как то, что может быть открыто другим («Когда приеду, дайте мне кое-что переписать из этого письма», — писал он И.Ю. из Вены 18 апреля 1997 года).

В письмах, естественно, немало личного, но от этого мы постарались книгу освободить. Мы позволили себе также снять высказывания и оценки, уместные в частной переписке, но очевидно не рассчитанные на публикацию. Все купюры обозначены угловыми скобками.

Итак, перед читателем подборка писем М.Л. Три его адресата, три разных собеседника, три разные темы. В каждом из разделов этой книги есть своя сквозная тема, область общих интересов. Классическая филология — с Ниной Владимировной Брагинской. Неклассическая филология (по остроумной формулировке А.Л. Осповата) — с Ириной Юрьевной Подгаецкой. Филология и философия — с Наталией Сергеевной Автономовой.

Кроме того, в письмах 90-х годов отражены впечатления, связанные с поездками в Западную Европу и США: это своего рода Baedeker по западной научной, университетской среде.

Письма к Нине Владимировне Брагинской впервые были опубликованы в журнале «Отечественные записки» (2006. № 1); в настоящем издании к ним добавлено несколько текстов, уточнены и дополнены некоторые комментарии. Часть писем к Ирине Юрьевне Подгаецкой была напечатана в совместной книге М.Л. и И.Ю. «„Сестра моя — жизнь“ Бориса Пастернака: Сверка понимания» (М.: РГГУ, 2008; Чтения по истории и теории культуры. Вып. 55).

Письма к Н.В. Брагинской и Н.С. Автономовой подготовлены к публикации и прокомментированы адресатами, письма к И.Ю. Подгаецкой — редколлегией. Справки об упоминаемых в письмах персоналиях вынесены в составленный редколлегией аннотированный именной указатель. Комментарии не претендуют на исчерпывающую полноту: в них сообщается прежде всего то, без чего упомянутые в них события не были бы понятны, указаны многочисленные переклички с «Записями и выписками», раскрыты литературные и научные источники многих из цитат, которыми изоби-

луют публикуемые тексты. Книги М.Л. «Записи и выписки» (М.: Новое литературное обозрение, 2000), «Избранные труды» (В 3 т. М.: Языки русской культуры, 1997) и «Экспериментальные переводы» (СПб.: Гиперион, 2003) упоминаются в комментариях в сокращенной до названия форме.

Письма печатаются с сохранением (в основном) орфографии и пунктуации подлинников.

Мы глубоко признательны Алевтине Михайловне Зотовой, разрешившей опубликовать эти письма, и Павлу Александровичу Гринцеру, предоставившему нам письма к его покойной жене Ирине Юрьевне Подгаецкой.

За помощь в подготовке этой книги и за ценные советы мы хотим поблагодарить Н.С. Автономову, Н.В. Брагинскую, А.М. Зотову, С. Гардзонио, П.А. Гринцера, А.Р. Курилкина, С.Ю. Неклюдова, А.Л. Осповата, А.Е. Парниса, С.Д. Серебряного.

ИЗ ПИСЕМ К НИНЕ ВЛАДИМИРОВНЕ БРАГИНСКОЙ 1972–2002

В 1972 году, когда началась моя переписка с Михаилом Леоновичем Гаспаровым, он не был знаменит и окружен харисмой, как Аверинцев. Но я все-таки сообразила, что общение с М.Л. — это даром доставшееся мне сокровище, и письма его хранила. Увы, не все. Я нашла сейчас 120 писем и убористых открыток, думаю, есть и еще, некоторых важных и памятных мне писем я не нашла. С 1992 года мы работали в одном учреждении, часто виделись, и традиционная переписка поредела. Особенно частой она была в течение тех 12 лет, когда у меня не было телефона, — с 1975 по 1987-й. Да и М.Л. телефонные разговоры не очень любил, сначала ему мешало заикание (оно постепенно уходило), потом глухота: так одна отгороженность уступила место другой. Впрочем, когда было нужно, М.Л. отодвигал в сторону свои предпочтения. Так, однажды мы больше четырех часов согласовывали по телефону какую-то правку, и это я изнемогла, а не М.Л. Он не заикался в публичной речи и, оказывалось, слышал все, что говорилось путного. А прочее — нет.

Значительная часть корпуса писем представляет собою переписку деловую, и по отдельности эти знаменитые гаспаровские открытки, где каждый миллиметр площади покрыт орнаментом его почерка, едва ли представляют общий интерес. Но мне кажется, что и они рисуют такой модус отношения к младшему коллеге, такое участие и в чужой судьбе, и в судьбе профессии, что лучше пусть об этом знают. Но отбирать самой мне не хотелось. Чтобы избавить себя от внутреннего смущения при публикации писем нисколько не

интимных, но несомненно личных, я попросила отобрать наиболее значимые другое лицо, положив себе с выбором этим согласиться.

Теперь, более чем тридцать лет спустя, яснее ясного видно, что М.Л. заботился постоянно и насколько мог о моем выживании в профессии и что без его помощи (как знать?) я могла бы не выдержать в течение двадцати лет роли социального маргинала — уехать из страны или в любом случае оставить классическую филологию. М.Л. не учил меня классической филологии, он не позволил мне утратить то, чему я выучилась, и показал, куда могу идти, если пожелаю. С удивлением читаю сегодня, от скольких завидных предложений сделать то или это я отказалась или даже просто прошла мимо, не обратив на них внимания. И никогда М.Л. не выказал и тени обиды, какую мне самой, увы, случалось испытывать из-за моих учеников: дескать, ты о них хлопочи, а они, вишь, нос воротят. Нет, по-гаспаровски надо именно так: ты о них хлопочи, а они могут сколько угодно воротить нос. Учитель следует долгу, ученик располагает своей судьбой. Оговорюсь: мне не хотелось бы выступать самозваной ученицей М.Л. Ведь он повторял не раз и недавно подтвердил в интервью моим же студентам, что у него нет учеников, что он вообще не преподаватель: заикается. Но на самом деле ученики у него были. И формальные — защищавшие диссертации под его руководством, и неформальные — руководителем числился кто-то другой, и, главным образом, заочные — все те, кто признавал в М.Л. учителя, хотя бы он и не подозревал об их существовании.

Думаю, я все же имею право назвать М.Л. своим учителем в переводческом ремесле. Когда сразу после университета я сделала свой первый «пробный» перевод (это был Плутарх, его антикварные трактаты), Михаил Леонович прислал мне исправленную рукопись. Открыв конверт, я чуть было не упала в обморок: там не осталось ни одного моего слова. Стыд боролся во мне с самолюбием, и обе эти эмоции мешали читать черную от исправлений машинопись. Михаил Леонович предусмотрительно приложил к редактуре свое письмо, в котором я прочла: «Дорогая и многоуважаемая Нина Владими-

ровна, пусть Вас не пугает вид этой редактуры: по-моему, перевод хороший, и мне хотелось бы, чтобы Вы его продолжали. Вы переводите точно, случайных недосмотров я заметил всего два-три (да и то, может быть, это я ошибся: проверял я перевод только по тексту Дюбнера у Дидо), но очень чувствуется стилистическая неопытность — главным образом в двух приметах: а) Вы не стесняетесь нерусских слов в переводе, вроде „культ“ или „момент“, а их лучше избегать; в) фразы у Вас слишком отрывисты, а ведь по-русски их можно сцеплять друг с другом так же плавно, как и в греческом повествовании с его „мен — де“[1]. Это несовершенства очень хорошо знакомые мне и по себе и по другим, их-то я и исправлял в первую очередь». Это начало первого урока, он продолжался и дальше, я не стану его цитировать, потому что нуждалась тогда в самых элементарных наставлениях, их и получала. Но обращаю ваше внимание, например, на упоминание того, по какому изданию проверялся перевод. Между делом мне были преподаны три нормы. Первая: редактор перевода обязательно читает оригинал; вторая: нужно думать, какое перед тобой издание, не всякое годится; третья: проверка лишь по одному изданию текста требует извинений.

Еще одна примета гаспаровской критики — он непременно отнесет несовершенства к себе, разделит с вами ваши промахи. А потом прибегнет к своей разящей учтивости: «Не откажите просмотреть со вниманием мою правку — мне кажется, что что-нибудь в ней может Вам и пригодиться; но, конечно, не считайте ее за догму, иное я так и не смог удовлетворительно перевести, например, „госиев“[2]. Если мне

1 М.Л. имеет в виду греческие частицы, при помощи которых строится противопоставление, сопричисление или параллелизм в греческом сложном предложении.

2 Сложность состояла в том, что у греческого слова ὅσιος есть традиция «христианского» перевода, «преподобный», однако языческий контекст («госиев», ритуально чистых, избирали из знатных семей для некоторых жреческих функций; см.: *Плутарх*, Греческие вопросы, 9, 292 D) делал такой перевод невозможным. Избрано было слово «освященные».

удалось Вас не отпугнуть и Вы согласны переводить дальше, — позвоните или напишите мне». И, навсегда покоряя ничем не заслуженным доверием и почтительностью, продолжит: «Мне немного совестно занимать Вас переводом, отвлекая от оригинальной работы, но я все же искренне думаю, что для читателя наши переводы — очень доброе дело, а для нас самих — немалая польза. Весь Ваш М. Гаспаров. 15.7.72». У меня в эту пору за душой ничего, кроме дипломного сочинения. Какая такая «оригинальная работа»?! И посмотрите: «наши переводы». Выходит, Гаспаров и вчерашняя студентка делают общее «доброе дело», и есть для кого его делать: «для читателя»! Я долго неподвижно смотрела на эти слова. Думала ли я о каком-то читателе, ворочая тяжелые словари в задымленной от горевших торфяников летней Москве? Ничуть! Я думала исключительно о самой себе. О том, что, оставшись без работы, без «места», надо найти применение своему образованию, а там и хоть какой-то заработок. Но мне предложен другой взгляд на мои занятия, совершенно иная перспектива, куда более широкая и достойная. Разве это не урок?

...К машинописной страничке приписка от руки: «А одна ошибка все-таки есть — город Феры Вы где-то перевели как остров Феру». Эта приписка научила меня: 1) всякое географическое название и собственное имя немедленно проверять по справочникам, 2) частные ошибки других не ставить во главу угла, а помещать их в post scriptum. Но хвалить и ободрять, как М.Л., я так и не научилась.

Нина Брагинская

Б1
[28 апреля 1974 года, Москва, машинопись]

Дорогая Нина Владимировна,

Вы пишете тяжело и живо, — это не оксиморон, Фрейденберг[1] тоже так писала. Мне это нравится, и я не решаюсь сам изменить в Вашей статье ни одного слова. Попробуйте кое-что сделать Вы сами, исходя из единственного соображения. Начальство наше реагирует не столько на смысл, сколько на отдельные слова-сигналы: как у Булгакова, «одно слово с такой-то страницы и два с такой-то страницы». Поэтому оглядка на начальственный контроль больше всего похожа на детскую игру «черного и белого не называйте». Это значит: просмотрите Ваш текст и замените в нем «христианство» на, скажем, «новая идеология», а «бог» (христианский, конечно; Юпитера можно не менять) на какое-нибудь греческое слово русскими буквами, «пантократор», например; или, лучше, как будет по-гречески «творец»? Вашему стилю это не повредит и рядом с «парусией» и другими словами смотреться будет хорошо. Заодно снимите или переведите на латинский язык примечания 66–68 (чтобы не напоминать лишний раз, что Евсевий был епископом и деятелем вселенского собора) и на той же стр. 21 фразы из Притчей: цитаты тоже раздражают, достаточно цифр[2]. Кстати (это уже не для начальства), точна ли транскрипция «Бижельмэр», не лучше ли «Брольи» или «Бройль», чем «Брогли», и обратите внимание на разнобой «Хайкель-Хайкл» (прим. 5).

Заглавия у нас, по-видимому, будут двухэтажные — одно для единства, по типу «античное то-то и византийское то-то», и другое для разнообразия, по существу. Над Вами, наверное, напишем что-нибудь вроде «Платоновский миф и ранневизантийский (или даже «константиновский») миф», а подзаголовком останется Ваше заглавие. Если Вы придумаете что-нибудь более адекватное, но отвечающее строгим требованиям насчет черного и белого, — подскажите.

Перепечатывайте себя, пожалуйста, очень аккуратно, без помарок, все сноски через два интервала, как текст, — издательство стало очень придирчиво, каждую помарку велит заклеивать. Греческие слова вписывайте как можно разборчивее — Вы ведь знаете, как в них умеют фантазировать наборщики, — а если хотите, печатайте их в латинской транскрипции, в некоторых других статьях так делается.

То же относится и к перепечатке Плутарха для «Вестника»[3]: я думаю, что после наших общих усилий правки в тексте уже не будет, и Ваша машинопись прямо пойдет в типографию. Не забудьте, что ВДИ берет по три экземпляра. С примечаниями поступайте, как сочтете удобнейшим, но постарайтесь все-таки, чтобы они не превосходили текст, а были меньше или равны. Правку мою, где хотите, принимайте, а где хотите, нет: избави меня боже от финкельберговской[4] настойчивости. Я старался, во-первых, об уточнении перевода, а во-вторых, о прояснении — чтобы меньше было лишних слов; если где переусердствовал, не считайтесь. Снеситесь с Фрейберг, нужно ли давать рубрикацию по страницам и «а, в, с»? боюсь, что нет, хоть и стоило бы.

Я забыл Вас спросить, не нужен ли Вам том тейбнеровского Плутарха, в котором как раз есть оба Ваши сочинения? у меня появился лишний экземпляр, который я на всякий случай и прилагаю[5]. Если Вам он не нужен, то, может быть, Вы найдете какие-нибудь другие хорошие руки.

Не обижайтесь, пожалуйста, на идиотские требования к Вашей статье, — не наша воля. Думаю, что с такими изме-

нениями она пройдет, если, конечно, не случится пароксизма строгости у нашего институтского начальства.

Всего лучшего!

Безмерно уважающий Вас

М. Гаспаров

28.4.74

1 Работы из архива О.М. Фрейденберг я тогда начала готовить к публикации и по рекомендации М.Л. напечатала обзор ее неопубликованных трудов в «Вестнике древней истории» (далее в тексте именуется иногда ВДИ) (1975. № 3).

2 Речь идет о подготовленном античным сектором ИМЛИ сборнике «Античность и Византия» (1975) и моей статье в нем «Эон в „Похвальном слове Константину“ Евсевия Кесарийского». Сборник готовился вскоре после скандала, вызванного публикацией сектором антологий средневековой латинской литературы (Памятники средневековой латинской литературы IУ–IX вв. М.: Наука, 1970; Памятники средневековой латинской литературы X–XII вв. М.: Наука, 1972), каковая, к неудовольствию начальства, оказалась религиозной. См. об этом: Записи и выписки. С. 252–253.

3 «Вестник древней истории». Речь идет о переводе «Римских и греческих вопросов» Плутарха.

4 Речь идет о переводе Диогена Лаэртского («О жизни, учениях и изречениях знаменитых софистов») и его редакторе Л. Финкельберге. Разногласия касались перевода философских терминов. Редактор считал, что для их перевода существует известная традиция, которой надлежит следовать, М.Л. — что традиция так слаба, что перевод одного из главных источников по истории греческой философии сам может ее создать, и термины изобретал. Финкельберг с М.Л. или М.Л. с Финкельбергом так и не сговорились. Уже после эмиграции Финкельберга рукопись вышла в свет (1979) и много раз переиздавалась. См. об этом: Записи и выписки. С. 324.

5 «Тейбнер» — знаменитое немецкое издательство, специализирующееся на критических изданиях оригиналов античных авторов; многие открытки М.Л., не вошедшие в публикуемую подборку, сообщали о какой-нибудь ценной книге, лишний экземпляр которой «случайно» оказался у М.Л.: Вам, дескать, пригодится.

Б2
[1978, Москва, машинопись]

Дорогая Нина Владимировна,

я только что получил Ваше издание трудов Фрейденберг[1] (с опозданием, в котором повинна почта, и с несказанной радостью, потому что я уже успел узнать о выходе этой книги и погоревать, что не оставил на нее в свое время заявки в магазине) — очень большое спасибо. Как «сократитель сократителю» (мне приходилось так обрабатывать Б.И. Ярхо[2]) могу только сказать комплимент: читается, судя по тем страницам, которые я успел прочитать, очень хорошо, и, думаю, лучше, чем читалось бы в полном и подлинном изложении, особенности которого Вы так хорошо охарактеризовали в послесловии. Что же касается самого послесловия, то оно вызывает у меня только чувство восхищения. При всем глубоком уважении к О.М. Фрейденберг и ее идеям, сам я человек очень иного склада и направления мыслей, и тот медиатор-путеводитель по Фрейденберг, который я нахожу в Ваших заметках о ней, а в этой — особенно, для меня драгоценен — и я не сомневаюсь, что не только для меня. Для меня это образец выполнения того долга, которым мы обязаны нашим предшественникам.

Институтских новостей пока я не имею. Но дальние новости предвидятся. Через год или два я буду уходить с заведования сектором[3] (а может быть, и из института), и это почти заведомо повлечет сильную перетряску состава сектора. Кто окажется новым сторонним человеком у руля, и насколько он будет умным при комплектовании полу-нового сектора, я не знаю. Но надеюсь, что перемены возможны все же и к лучшему. Пока об этом, пожалуйста, никому не говорите: борьба с институтским начальством за возможность уйти мне предстоит еще долгая.

Изд. «Сов. Энциклопедия» предложило мне «единолично, или с соавторами, или организовав коллектив» составить к 1982 г. «Литературоведческий словарь» в 50 листов (ограничение «Словарь по поэтике», к сожалению, отвергнуто).

Для такой работы нужно несколько (как можно меньше) человек, способных, во-первых, писать кратко и ясно о вещах неясных и даже обязательно-неясных, а во-вторых, писать о вещах лично для себя неинтересных с такой же добросовестностью, как об интересных. Первая способность называется «талант», а вторая «подвижничество». История мировой культуры показывает, что среди молодых ученых эти качества более распространены, чем среди маститых. В Вас они есть; не знаете ли, к кому бы еще можно обратиться? С.Ю. Неклюдову я буду писать в ближайшие дни с той же консультацией. Остальные мои знакомые, пожалуй, годятся лишь в почетные авторы. Если никто не найдется, я, конечно, откажусь, и словарь поручат (предположим) сектору теории ИМЛИ с Кожиновым и Боревым во главе[4]. Жаль будет.

Еще раз спасибо!

Ваш М. Гаспаров

1 *Фрейденберг О.М.* Миф и литература древности / [Сост., подгот. текста, коммент., указ. и послесл. Н.В. Брагинской; отв. ред. Е.М. Мелетинский]. М.: Наука, Главная редакция восточной литературы, 1978. Это первое издание было очень сильно сокращено, не по цензурным соображениям, а из-за кампании по экономии бумаги. В дарственной надписи на книге я обозначила себя как «Сократитель», отсюда «сократитель сократителю» в следующем предложении.

2 Борис Исаакович Ярхо исключительно много значил для М.Л. Но опубликовать М.Л. сумел немного и не дожил до публикации главного труда своего заочного учителя и авторитета (*Ярхо Б.И.* Методология точного литературоведения: Избранные труды по теории литературы / Изд. подгот. М.В. Акимова, И.А. Пильщиков и М.И. Шапир; под общей ред. М.И. Шапира. М.: Языки славянской культуры, 2006 [Philologica russica et speculativa. T. V]). К 1978 г. в свет вышли только две подготовленные М.Л. публикации работ Ярхо: *Ярхо Б.И.* Рифмованная проза русских интермедий и интерлюдий / [Подгот. текста и публ. М.Л. Гаспарова] // Теория стиха. Л., 1968. С. 229–279; *Ярхо Б.И.* Методология точного литературоведения. (Набросок плана): Отрывки / Подгот. текста и публ. М.Л. Гаспарова // Учен. зап. Тартуского гос. ун-та. 1969. Вып. 236.

С. 515–526. Но, возможно, были подготовлены и ждали публикации еще несколько: *Ярхо Б.И.* Методология точного литературоведения (Набросок плана) / Вступит. статья и подгот. текста М.Л. Гаспарова // Контекст–1983: Литературно-теоретические исследования. М., 1984. С. 197–236; *Ярхо Б.И.* Соотношение форм в русской частушке [вступит. заметка, публ. М.Л. Гаспарова] // Проблемы теории стиха. Л.: Наука, 1984. С. 137–167.

3 М.Л. заведовал сектором античной литературы ИМЛИ с 1971 по 1981 г.

4 О том, почему «Словарь» не состоялся, см.: Записи и выписки. С. 47.

Б3
[16 марта 1980 года, Москва, машинопись]

<...>

У меня к Вам явилось еще одно предложение, в высшей степени необязательное, но, может быть, оно вызовет Ваше любопытство: «античность для Детгиза». Это так странно, что требует исторического вступления. Очень много лет назад я попробовал начать книгу под условным заглавием «Новый Элиан, или что рассказывали греки и римляне о своих героях и мудрецах, для российского юношества представленное М. Г., кандидатом любословия»[1]. Таланта писать для детей, по самым авторитетным отзывам, у меня нет, но в Детгизе в исторической редакции оказалась женщина по имени Г.А. Дубровская, любящая античность и очень рвущаяся донести ее до детского читателя в каком-нибудь нестандартном виде; и так как некоторая нестандартность — это все, что в моем опыте было, то она ухватилась за него, и книгу эту мне писать-таки придется. Тем временем в Детгизе открылась, ни много ни мало, новая редакция эстетики, и она перешла туда, чтобы придумать новые способы доводить до несовершеннолетних античную культуру. Ликвидацию античной безграмотности естественно начинать с мифологии; и она на днях спросила меня по телефону, нет ли у меня мыслей о том, как получше и понестандартней затеять книгу или книги по античной мифологии, и не знаю ли я лиц, кто бы взялся за

это и не засушил. Мыслей у меня не было (кроме той, что для младшего и старшего школьного возраста надо делать две совсем разные книги), а из лиц я, конечно, подумал в первую очередь опять о Вас. Если мысль о просвещении детей и юношества не вызывает у Вас априорно безоглядного ужаса, то подумайте об этом. Если не захотите связываться сами, то Вам будут благодарны и просто за совет или рекомендацию любых предметов, идей и лиц, чем необычнее, тем лучше. Не думаю, чтобы можно было придумать что-то новое для самого первого ознакомления с именами и сюжетами; но для средних и старших школьников, вероятно, можно было бы писать и о том, что такое мифологическое мышление, и о том, как люди доходили до его понимания, с привлечением каких угодно культурных явлений, до Цветаевой включительно (гипербола, но небольшая). Я в мифологии человек чужой и здесь бесполезен. А помочь хотелось бы: редакторша эта производит на меня необычно хорошее впечатление. Если решитесь дать ей консультацию, я сообщу Вам ее телефон и прочее; а если найдете в себе достаточно авантюризма, чтобы самой в это ввязаться, я буду очень рад за детей-читателей. Мне кажется, чтобы писать научно-популярно, нужно только две вещи: во-первых, помнить, как ты сам был начинающим читателем и по каким ступеням осваивал мировую культуру, чего тебе не хватало и что тебе было нужнее всего[2]; а во-вторых, умение или хотя бы желание мыслить и писать ясно и просто. Если у Вас есть первое, то очень советую воспользоваться этим предложением в качестве упражнения для второго. Если у Вас нет первого, то, конечно, лучше не мучиться. Подумайте.

Простите меня за то, что я сбиваю Вас с толку то тем, то другим. Это не только доброжелательство, а и серьезная уверенность в Ваших силах. [*От руки*:] И, если угодно, в Вашей нестандартности.

16.3.80

Ваш М. Гаспаров

1 М.Л. говорил мне, что ему бы очепь хотелось когда-нибудь разгадать композицию «Пестрых рассказов» Элиапа. В пре-

амбуле «Записей и выписок» он упомянул этого автора: «Запомнить мне обычно хочется то же, что и старинным книжникам, которых я люблю: Элиану, Плутарху и Авлу Гелию...» Я думаю, что связь «Записей и выписок», во всяком случае, с Элианом, возможно, и с Авлом Гелием, не так «простодушна»: мол, те записывали всякое, и я тоже. Интерес М.Л. к прихотливой и неочевидной композиции реализовался не аналитически — в исследовании структуры античного сборника, а творчески — в создании водоворотной композиции собственной книги.

2 Ср.: Записи и выписки. С. 312.

Б4
[8 августа 1984 года, Москва, от руки]

Дорогая Нина Владимировна,

меня уложили на обследование раньше, чем я прочитал Вашу книгу[1] полностью: начал я ее с выклевывания всех мемуарных фрагментов, а потом продолжал кусками вразнобой с 1920-х годов к концу и началу, так что ранних писем, о которых Вы делали оговорки, еще не знаю. Впечатление оказалось неожиданное и тяжелое: «вот человек, оказавшийся не на своем месте: человек творческий на месте исследовательском». Мне кажется, что «творческий» и «исследовательский» — это два заведомо несхожие человеческие склада: О.Ф. явно была человеком творческим, но по каким-то обстоятельствам не могла создавать ни поэм, ни статуй, ни симфоний, и материалом имела только собственную жизнь и классическую филологию. С ними она и стала обращаться как скульптор с мрамором, сопротивляющимся ее идее. («Разве ты еще не понял, что у меня не жизнь, а биография?» — из письма вокруг поездки к Луначарскому[2]). В науке это означало: не концепция для фактов, а факты для концепции, дорого не то, что было, а то, что могло бы быть, — в точности по Аристотелеву определению поэзии в противоположность науке. (Лотман пишет об утопизме Карамзина: он был за монархию и за разговорный язык не такие, как они есть, а такие, какими должны быть). Отсюда то, что Вы

в статье к однотомнику называете авторитарной наукой: это был дух времени (не только нашего: так трубил и Шпенглер), но это была и внутренняя предрасположенность. Это значит, что доказательность заменяется убедительностью, философичность риторичностью (причем больше всего ценится δεινότης[3] демосфеновского стиля). Концепция, властвующая всем, приходит, как к художнику, вдохновенным прозрением; ее единственный аргумент — «имеющий очи да видит», мир делится на зрячих и слепцов, которые автоматически становятся друзьями и врагами, начинается поиск сопровидцев и сокрушение сомневающихся. (Тогда как для исследователя мир делится не на соисследователей и противоисследователей, а на исследователей и исследуемое.) Отсюда постоянная потребность в самоутверждении, в подтверждении собственной провидческой избранности: «если я этого не скажу, то кто же скажет?» Это тоже художническое самоощущение, без него (и без попрания инакомыслящих) художник просто не выстоит. (Тогда как исследователь скажет: «не поняли сейчас — додумаются потом сами: факты ведь перед нами одни».) Конечно, и самоутверждение выражается по-разному: переписка О.Ф. с Б.П. — как будто переписка гордости с самоуничижением паче гордости[4]. Необязательная ассоциация: читали Вы воспоминания В. Фигнер и Н. Морозова?[5] Вот О.Ф. часто мне напоминала Фигнер с ее мучительным самоутверждением на каждом шагу, а Б.П. — Морозова с его легким и саморазумеющимся «а как же иначе?» Я думал, что среди творческих типов исключений нет, но, может быть, и есть: кажется, человеком исследовательского склада на творческом месте был Джойс, расписывавший «Улисса» на карточках цветными карандашами, не самоутверждавшийся в литературных борьбах, а живший абсолютным обывателем во всем, кроме только музыки и словесности. Может быть, поэтому я к нему и приязнен.

[*На полях второй страницы*:] У меня есть всегдашнее определяющее ощущение «я — званый, но не избранный»[6]: пишу это в оправдание своих невольных интонаций.

Первую редакцию «Поэтики сюжета» О.Ф. называла «Прокридой» потому ли, что этот образ был там чем-то централен, или просто в знак художнической интимности между собой и своим (только своим!) творением?[7] Если второе, то мне трудно не вспомнить гоголевского игрока, который заветную колоду называл Аделаидой Ивановной.

Я пишу Вам об этом с робостью, потому что чувствую, что в Вас есть что-то общее с О.Ф. и что Вы склонны с ней самоотождествляться[8]; но пишу все же, потому что знаю, что в Вас есть и много другого, и что из-за этого-то другого я и смотрю на Вас с тем безмерным уважением и приязнью, о которых Вы знаете. Кроме того, ведь не одна О.Ф. такова: чем дальше, тем больше я думаю, что и Тынянов был таким художником на исследовательском месте, тяготившимся аргументациями очевидного (ему) и нашедшим, наконец, силу отъиздеваться над собственными научными фактами в «Вазир-Мухтаре» (по Левинтону[9]) и уйти целиком из научной доказательности в литературную убедительность. Если будут третьи Чтения[10], постараюсь об этом сказать.

Простите, если я чем-нибудь Вас задел; а если нет, то, может быть, нам еще случится об этом поговорить. Пусть это письмо будет инерцией резекненского соседства[11], о котором я помню с благодарностью, большей всяких слов.

Преданный Вам М. Г.

8.8.84

1 Имеется в виду книга: *Пастернак Б.* Переписка с Ольгой Фрейденберг / Под ред. и с коммент. Э. Моссмана. N.Y., 1981. Экземпляр этой книги, доставшийся мне благодаря Пастернакам, в тогдашней Москве был редкостью, и я давала его читать друзьям и коллегам.

2 Цитата неточная. Письмо от 27 ноября 1924 г. адресовано жене Б. Пастернака, в нем О. Фрейденберг упрекает брата за напрасно поданные ей надежды найти через Луначарского работу: «Разве Боря не понимает, что моя жизнь уже стала биографией? Что ее страдания давно

[*На полях четвертой страницы:*] «Автобиографич. рассказы» Тынянова я у себя нашел, вернусь домой — пришлю.

перешли за норму реальности и сделались приемом искусства? Это уже стало частью эпоса — скажите ему, давать мне обещания — значит не иметь литературного чутья».

3 М.Л. оставляет слово по-гречески, потому что оно плохо поддается переводу. Переводят: *мощь, сила*. Демосфен славился тем, что умел, так сказать, «подавлять» слушателей своим искусством.

4 Ср.: Записи и выписки. С. 349.

5 «Необязательная ассоциация» возникла у М.Л. с двумя тесно связанными и писавшими друг о друге народовольцами, «шлиссельбуржцами», проведшими в одиночном заключении десятилетия. Мемуары В.Н. Фигнер «Запечатленный труд» (1921–1922), переведенные на многие языки, принесли ей мировую известность; «Повести моей жизни» Н.А. Морозова, опубликованные впервые в 1916–1918 гг., переиздавались вплоть до 1960-х.

6 Ср.: Записи и выписки. С. 312.

7 Прокрида, подкупленная драгоценностями, изменяет своему мужу, Кефалу, но после измены узнает, что любовник — это ее старый муж, вернувшийся из долголетнего странствия. В своих воспоминаниях О.М. Фрейденберг объясняла «домашнее» прозвище этой книги так: «Я уже полным ходом писала свою Поэтику, которую назвала Прокридой: я хотела поставить во главу угла мысль о различиях, которые оказываются тождеством (новый возлюбленный Прокриды предстоит перед нею как ее старый муж). Детально изучив литургию, я уделила ей всю первую главу, так как исходила именно из нее. В Прокриде я впервые давала полную систему античных семантик. Я брала образы в их многообразии и показывала их единство. Мне хотелось установить закон формообразованья и многоразличия. Охватив и систематизировав смыслы, я рассматривала их правильную отливку, морфологию. Хаос сюжетов, мифов, обрядов, вещей становился у меня закономерной системой определенных смыслов. ...Я изображала в царе-женихе две сущности, но на самом деле она только одна. Прокрида и Пенелопа всегда в день своей вторичной свадьбы оказываются невестами своих старых мужей». Таким образом, название имело «эмблематический» смысл, связанный с центральным образом, но для печати оно было непригодно, так как не поясняло, а шифровало содержание. Первый вариант книги назывался «Семантика сюжета и жанра», второй — «Поэтика сюжета и жанра». В «домашнем» имени едва

ли содержался знак «художнической интимности», противостоящей научной открытости; но М.Л. был постоянно настороже в охране границ «науки» от вторжений «творчества».

8 Ср.: Записи и выписки. С. 330.

9 *Левинтон Г.А.* 1) Источники и подтексты романа «Смерть Вазир-Мухтара» // Тыняновский сборник: Третьи Тыняновские чтения. Рига, 1988. С. 7–15; 2) Грибоедовские подтексты в романе «Смерть Вазир-Мухтара» // Тыняновский сборник: Четвертые Тыняновские чтения. Рига, 1990. С. 21–34. Ср. в письме Ю.К. Щеглову от 31 августа 1982 г.: «Левинтон делал доклад о технике подтекста в „Пушкине“ Тынянова: как в главах о детстве незаметно нанизываются словечки и образы, которые потом появятся в пушкинских стихах, — „построение подтекста пушкинского творчества“. Я замечал это, но не догадывался назвать „подтекстом“. Теперь я подумал: вот и объяснение тому, как в романе Тынянова убыстряется темп от части к части, — тексту приходится все меньше закладывать слов для будущего, все больше съедать заложенных слов из прошлого. Поэтому же, вероятно, роман с самого начала был обречен на неоконченность...» (Новое литературное обозрение. 2006. № 77. С. 137–138).

10 Первочтение и перечтение: к тыняновскому пониманию сукцессивности стихотворной речи // Тыняновский сборник: Третьи Тыняновские чтения. Рига, 1988. С. 15–23; то же: Избранные труды. Т. II. С. 459–467.

11 За тридцать с лишним лет знакомства лишь однажды довелось провести в обществе М.Л. несколько дней подряд в почти неумолкающей беседе. Это было в Резекне, или, по-старому, Режице, на Вторых Тыняновских чтениях (июнь 1984 г.), куда я была приглашена М.О. Чудаковой.

Б5
[21 августа 1984 года, Москва, машинопись]

Дорогая Нина Владимировна,

вот теперь я буду знать, что это у Пуанкаре с его «хотя потом пригрезившееся и должно быть доказано для других» взял мой Ярхо свое представление о научности. Он прямо пишет (не помню, есть ли это

в опубликованных отрывках), что научность есть не форма познания, а форма изложения: как пришел к своему тезису сам ученый, откровением, интуицией или индукцией, это всегда неизвестно (даже ему самому) и недоказуемо, но чтобы сообщить этот тезис своим ближним, он должен пользоваться только индукцией, т.е. демонстрацией фактов, и дедукцией, т.е. логическими выводами из них, потому что только это более или менее единообразно в психологии разнообразных людей. Конечно, я тоже так думаю, и конечно, даже по своему стиховедческому опыту я знаю, какая не подлежащая обсуждению область — психология творчества. Мое отношение к Ярхо намного проще, чем Ваше аналогичное: просто я его эпигон, вполне в том сознателен (сам смеюсь про себя, когда в разговоре говорю цитатами из него — как только что), и стараюсь только об одном — чтобы не скомпрометировать такой оригинал таким списком[1]. Угрызений совести о том, что мне самому пришлось и приходится писать ненаучного (хотя бы все предисловия и послесловия об античных писателях), у меня очень много и очень сильных; я стараюсь замаливать их тем, что я делаю по стиховедению. Творческих способностей я в себе не чувствую начисто, именно поэтому смолоду сбежал в науку (и в переводы) как в «область изложения», и конечно, именно поэтому боюсь за свое существование, когда вижу, как люди творческие ведут себя не по правилам, предписанным Пуанкаре. От этого страха я и написал то в высшей степени ненаучное письмо, за которое еще раз прошу у Вас прощения: не надо мне было его писать. Но что такие вещи, как у О.М.Ф. и даже Голосовкера[2] не имеют права на существование, — этого, видит бог, у меня не было и в мыслях, и я даже думаю, что не было и в словах: если Вы поняли это так, Вы ошиблись. Переписка ее с БП производит сильное впечатление сопоставлением двух очень несхожих отношений творцов к своему творчеству. Я связал это с разницею предметов их творчества; но, конечно, это может объясняться и тысячею других психологических причин, о которых и рассуждать нечего. Боюсь, что для выявления отношения Тынянова к своему научному

творчеству таких ярких документов не существует — по крайней мере, при нас и для нас. (Я рад, что его рассказы Вам не непонравились; Вы представляете, конечно, с каким напряжением ожидал я Вашего письма.)[3]

Нина Владимировна, а разве над Титом Ливием нужно перевоплощаться именно в его вояк и трибунов?[4] Я, кажется, в таком положении пытаюсь перевоплощаться (простите за гиперболу) скорее в пожилого ритора, который имеет такие-то представления о вояках и трибунах, и это обходится гораздо легче. Боюсь, что скоро мне придется заниматься этим практически над переводами Гусейнова и Поздняковой[5].

Чудакова[6] просила Вас ей позвонить (если Вы еще не звонили): у нее есть «Первые Тыняновские Чтения» (если Вы будете читать там мою заметку, то в ней есть пример, показывающий, что даже наглядная демонстрация фактов не имеет той всечеловеческой доказательности, на которую надеялся Ярхо[7]), и она уже договаривается о сроках представления вкладов во «Вторые Чтения», в том числе и о Вашем. Мы со Смириным позволили себе поставить эпиграфом к своей статье указанную Вами параллель из «Илиады» к строчкам из «Домика»[8], но не сумели вставить сноску с выражением признательности Вам за эту подсказку. Вы позволите ли нам первое и простите ли второе?

Искренне Ваш М. Гаспаров

21.8.84

1 Ср.: Записи и выписки. С. 330.
2 Публикацией работ из архива Я.Э. Голосовкера я также занималась.
3 В начале августа я получила письмо, в котором были перепечатанные на машинке из журнала «Звезда» (1930. № 6) четыре рассказа Тынянова: «Друг Надсона», «Лев Толстой», «Бог как органическое целое», «Цецилия». М.Л. не раз присылал мне свои перепечатки особенно понравившихся ему литературных редкостей. Особенно сильное впечатление произвел на меня рассказ Бориса Житкова «Слово». М.Л. считал его лучшим коротким рассказом в мировой литературе. Рассказ этот мало кто знает. Он был опубликован

в журнале «Москва» в 1957 г. (№ 5), более поздних перепечаток я не встречала (см. об этом рассказе в письме Марии-Луизе Ботт от 15 июня 1996 г.: Новое литературное обозрение. 2006. № 77; ниже ссылки на них даются с указанием даты письма; подробнее о письмах к Ботт см. с. 107, примеч. 2). На листках с рассказами Тынянова было написано: «Это — как материал к теме „Тынянов как режицкий человек в Петербурге". Если Вам не понравится, то можно выбросить». «Напряжение», с которым ожидался мой ответ, вызвано опасениями, что я не разделяю литературных вкусов М.Л. Может быть, сегодня, когда авторитет суждения М.Л. так высок, сильное желание найти, с кем разделить отношение к этим рассказам, выглядит неправдоподобно. Но, как вспоминает Е. Витковский (я наткнулась на его слова во Всемирной паутине), в 1985 г. на юбилей Гаспарова в ЦДЛ пришли вместе с юбиляром и мемуаристом 17 человек... Перепечатки М.Л. были почти всегда на особо тонкой бумаге. Думаю, что М.Л. рассылал их по трем–пяти адресам.

4 Я писала М.Л., что Ливия мне переводить трудновато: чтобы передать речь консула, который призывает без пощады рубить диких галлов, чтобы речь его была зажигательной, надо что-то подобное, «воинственное», впустить в себя.

5 См. ниже примеч. о работе над Ливием.

6 Мариэтта Омаровна Чудакова организовала в начале 1980-х регулярные «Тыняновские чтения» в Резекне, на которые собирался определенный круг историков, теоретиков и социологов литературы. М.О. Чудакова дала ему развернутую характеристику в предисловии «От редактора» в сборнике «Пятые Тыняновские чтения» (Рига, 1990. С. 5–9), и в докладе на XIII Банных чтениях «Нового литературного обозрения» в апреле 2005 г.

7 *Гаспаров М.Л.* Тынянов и проблемы семантики метра // Тыняновский сборник: Первые Тыняновские чтения. Рига, 1984. С. 105–113. М.Л. показывает, что Маяковский пишет не только необщепринятыми размерами, но и классическими ямбом и хореем или вольным хореем. Однако аналитическое понимание, например, хорея как «стиха с ударениями на нечетных слогах» оказывается слабее целостного, «вместе» с его содержанием, восприятия стиха Маяковского, заведомо не идентифицируемого как традиционный хорей.

8 Имеется в виду «Домик в Коломне». М.Л. писал статью о пародии и самопародии у Пушкина в соавторстве с В.М. Смириным, историком

Рима, переводчиком латинских авторов и знатоком русской поэзии («Евгений Онегин» и «Домик в Коломне»: пародия и самопародия у Пушкина // Тыняновский сборник: Вторые Тыняновские чтения. Рига, 1986. С. 254–264; то же: Избранные труды. Т. III. С. 66–75). Со Смирипым М.Л. был дружен. Соавторы взяли эпиграфом ироничные строки из «Домика», которые отнесли к себе: «…Много вздору / Приходит нам на ум, когда бредем / Одни или с товарищем вдвоем». Я предположила, что это перевертыш стихов «Илиады» с противоположным смыслом: вдвоем лучше обдумывать, как достичь успеха. Особенно архаичный в этом месте перевод Гнедича с дательным самостоятельным («Двум совокупно идущим, один пред другим вымышляет, / Что для успеха полезно; один же хотя бы и мыслил, — / Медленней дума его и слабее решительность духа» [X, 224–226]), опубликованный за год до «Домика», видно, просился в пародию. Эпиграфов стало два, каждый со ссылкой, и места для «выражения признательности» просто не было. М.Л. скорее приносил благодарность за небывшие услуги, чем забывал поблагодарить.

Б6
[8 сентября 1984 года, Москва, машинопись]

Дорогая Нина Владимировна,

у меня на стенке висит картинка из детской книжки-раскраски[1] (подлинник давно сносился, это уже вторая перерисовка с нее, сделанная моей дочерью, — до того я не могу с ней расстаться): берег речки, на берегу с удочками и ведерками — зайчик и мишка, зайчик удит из речки и опускает рыбку в свое ведерко, а мишка удит из зайчикова ведерка и опускает рыбку в свое, и оба поглощены своим делом до полного восторга. В небе солнышко, и тоже смеется. Ближним я объясняю: зайчик — это я в качестве стиховеда, а мишка — это я в качестве античника. Материал стиховедения — настолько сырой и непознанный, что с ним чувствуешь себя до некоторой степени первопроходцем и первоупорядочивателем, и это дает некоторое

ощущение своего права на существование. А в античной филологии всегда помнишь, что идешь по тысячам дорожек, выбираешь путь свой сам, но направления все протоптаны уже так давно, что никто и не помнит, какой Эразм[2] протаптывал их первый. Это я пишу в оправдание своих ощущений, чтó у меня «грехи», а чтó «замаливание». Перед публикой у меня угрызений совести нет, видимо, потому, что я знаю: через сколько ведерок рыбка ни пройди, всё равно в конце концов она попадет на сковородку именно к публике и кому-нибудь да пригодится. («Нуллюс эст либер там малюс, ут аликва парте нон просит», — сказал Плиний Старший, который читал все книги.)[3] А вот перед «идеалом научности», вероятно, есть, хотя понял я эту разницу только теперь, прочитавши Ваше письмо[4]. «Большевистский синдром» — слова хлесткие, но, кажется мне, очень точные, и даже более точные, чем хотела М.О.Ч.[5] Когда пролетарская культура начиналась, то у нее было живое ощущение, что история работает на нее, что поэтому бояться истины ей не приходится, ни в естественных науках, ни в общественных, и рвалась к этой истине очень нелицемерно. А когда эта пролетарская культура у нас парализовалась с середины 30-х гг. в тех формах, в которых и посейчас стынет, то, конечно, страх перед истиной и наукой расцвел так, как (изблизи кажется) мало когда бывало. Во мне этот синдром действует еще в допараличном варианте: поэтому мне кажется, что мало-кому-интересные стиховедческие истины, которых я ищу, всё равно идут на пользу «всем». А зачем русские читающие «все» не таковы, какими мы их себе воображаем, — от этого и мне бывает (все чаще) так же неуютно, как и Вам. Когда я начинал писать в своем популярном стиле, то никакую «публику вообще» я, при своей необщительности и неопытности, перед собою не видел, а представлял себе самого себя в возрасте, скажем, 10-го класса или I курса, очень живо помнил, чего мне тогда не хватало и почему, и старался для этого «бывшего себя» написать то, что мне, наконец, удалось понять[6]. Видимо, этот бывший «я» с его интересами находил отголосок и в тех читателях, которым нравились мои предисловия и послесловия.

Но теперь это должно быть уже не так, и Аверинцев уже однажды деликатно спрашивал меня, почему это я пишу так, как будто хочу опровергнуть в читателях какие-то романтические предрассудки, тогда как на самом деле в них таких предрассудков давно уже нет. Он, конечно, преувеличивает, просто круг читателей с такими предрассудками, вероятно, понизился до того уровня, до которого Аверинцев обычно не опускает взгляд, а с ним понизился и я. Но писать мне стало тревожнее, и когда я пишу или делаю доклад, то иногда мне кажется, что это я исследую публику: что ей интересно и что банально из того, что мне под силу ей сказать. Иногда результаты бывают неожиданными до смешного. Но это уж предмет для мелких разговоров, а сейчас мне только хочется сказать, что Ваша фраза, если я правильно ее понял, — «Видимо, когда перестал интересовать вопрос, что я могу, так как потолок достигнут и ощущается, — вопрос „для чего" и „для кого" стал особенно актуален, отсюда и эти рассуждения и вопросы», — меня тоже касается очень близко.

Спасибо Вам, что Вы не обиделись на мои письма: мне тяжело было думать, что вдруг я лишусь возможности говорить и переписываться с Вами об этих трудных предметах. <...> в пятницу 14-го у нас первое заседание сектора, после которого примерно с часу до четырех я надеюсь быть свободным, а если Вам удобнее любое другое время и место, то я к Вашим услугам всегда и с радостью. Заодно верну Вам с благодарностью О.М.Ф. — Б.Л.П.[7] Над этой книгой и помимо ее я не раз вспоминал ту ее статью, о которой Вы докладывали в Резекне: как она могла писать четко и программно, когда хотела и успевала[8]. Насчет пентаметра и прочей метрики я готов говорить без конца, но Вы уже знаете, что именно по античной метрике я сам темнее, чем по всякой другой, так что Вы мне не очень верьте.

[*От руки*:] На машинке я пишу потому же, почему и Вы, и не раз уже был огорчаем упреками, что это невежливо.

Будьте благополучны!

Ваш искренний М.Г.

8.9.84

1 Картинка воспроизведена на с. 92 наст. изд. См также. письмо Б32; Записи и выписки. С. 314.
2 Имеется в виду Эразм Роттердамский.
3 «Нет книги настолько негодной, чтоб хоть в чем-то не быть полезной». Эти слова Плиния Старшего приводит его племянник Плиний Младший в письме, рисующем образ жизни дяди-книгочея (Письма Плиния Младшего, 3.5.10).
4 Усвоившая некогда от М.Л. идею служения «русской читающей публике», я писала, что, мол, я-то, Вами наученная, «грехом» считаю свои собственные исследования, а когда готовлю к публикации и комментирую неопубликованные работы покойных ученых — О.М. Фрейденберг или Я.Э. Голосовкера, или перевожу, или комментирую, в общем, когда делаю какую-то служебную работу, то это я «грехи замаливаю». Дескать, «публика» гаспаровские предисловия-послесловия читает с восторгом, а к стиховедению не подходит на пушечный выстрел. Оказалось, что урок-то был задан другой: занятие собственно научным исследованием и есть самое полное «служение».
5 Мне начинало казаться, что публикация специальных работ в России — это имитация осмысленной деятельности по чужому образцу, что всему суждено кануть без пользы, а «кому-нибудь да пригодится» для меня тогдашней звучало недостаточно «духоподъемно». М.О.Ч., т.е. Мариэтта Омаровна Чудакова, в разговоре характеризовала эти сомнения как «большевистский синдром», имея в виду мое стремление быть полезной «всем».
6 Ср.: Записи и выписки. С. 312.
7 Речь идет о книге переписки Б.Л. Пастернака и О.М. Фрейденберг, см. выше.
8 «Система литературного сюжета», статья-манифест, написана в 1925 г., опубликована мной в кн.: Монтаж: Литература. Искусство. Театр. Кино. М., 1988. С. 216–237.

Б7
[30 сентября 1984 года, Москва, машинопись]

Дорогая Нина Владимировна,

к некоторым, но немногим, карточкам я сделал при замечаниях Кнабе[1] свои приписки, по большей части в стиле «я бы предпочел так-то, но

в коллективном труде, что делать, уступаю». У нас с Кнабе был телефонный разговор; он сказал: «Давайте уточним общий подход, чтобы хотя бы наши с вами переводы могли соседствовать в III томе[2]. Можно стремиться к тому, чтобы все архаизировалось и все слова были русскими, а центурионы сотниками, а можно к тому, чтобы была „медь торжественной латыни“, и тогда не стесняться транслитераций. Вы со Смириным и Брагинской, кажется, за первый путь, а я больше за второй». Я ответил: «Господи! „медь торжественной латыни“ — это хорошо и мне понятно, просто я не мог догадаться об этом ориентире, потому что мне казалось, что „солдат“ вместо „воин“ и „командовать“ вместо „начальствовать“ совсем не звучит торжественной латынью, а скорее учебником Машкина»[3]. На том и взаимопонялись. Я, действительно, представил себе, как можно переводить Ливия в латинистическом стиле брюсовского «Алтаря Победы» (хотя, по-моему, Ливий тут и не лучший объект для перевода — он недостаточно напряжен), разумеется, не допуская ни «солдат», ни «командований», но не пугаясь «примипилариев»[4] и пр. Думаю, что и Вы это себе представляете. Давайте, попробуем. Никаких более практических суждений я не имею, потому что сам еще ничего не переводил и не редактировал: Позднякова только что представила свою книгу, и я надеюсь на следующей неделе сделать пробный кусок из нее, а потом из Гусейнова[5]. Кто будет редактировать Вас, я пока не вступал в пререкания: мне бы хотелось по старой памяти взять на себя все Ваши книги, но если в декабре не окажется на это времени, то, может быть, будет так, как предлагает Кнабе в письме на обороте. Всего Вам самого хорошего, а Диме[6] поклон.

Всегда Ваш М. Гаспаров

30.9.84

В понедельник 8 октября в 3 или 4 часа в неизвестном пока месте будет заседать неизвестная мне секция чтителей Марины Цветаевой, перед которой в числе 6 других докладов мне придется читать разбор стихотворения А. Белого

«М.И. Цветаевой» (1922)[7]. Если Вам захочется и сможется прийти, позвоните мне накануне вечером: наверное, я буду знать, когда и где. Ничего нетривиального я не скажу, но Цветаева, может быть, для Вас небезразлична, а я буду рад нечужому человеку в чужом месте.

1 Свои вопросы по переводу римских реалий я выписала на карточки с указанием места. Времена были докомпьютерные, карточки были нужны, чтобы сквозным образом согласовывать терминологию перевода во всех томах. Историк Рима Георгий Степанович Кнабе, редактор издания, делал на них свои заметки, а Гаспаров дополнял.

2 Над томом III «Истории Рима» Тита Ливия работали двенадцать переводчиков. Гаспарову принадлежат только «Периохи» — краткий пересказ всех сохранившихся и несохранившихся книг, две книги переведены Г.С. Кнабе: *Тит Ливий*. История Рима от основания Города. Т. III / Ред. пер. М.Л. Гаспаров, Г.С. Кнабе, В.М. Смирин; отв. ред. Е.С. Голубцова. М., 1993 (Памятники исторической мысли).

3 Учебник Н.А. Машкина «История Древнего Рима» (М., 1956), как и его монография «Принципат Августа» (М.; Л., 1949), были из лучших книг того периода не только по содержанию, но и в отношении языка и стиля. Я думаю, что М.Л. не хотел ничего дурного сказать о самом Машкине, имея в виду лишь неприменимость метаязыка в языке перевода древнего текста.

4 Римские военные термины не могли быть переведены, так как не существовало соответствующих русских реалий: примипиларий должен был остаться примипиларием.

5 См. примеч. о работе над Ливием.

6 Д.Н. Леонов.

7 Опубликовано значительно позже: Слово между мелодией и ритмом: об одной литературной встрече М. Цветаевой и А. Белого // Русская речь. 1989. № 4. С. 3–10; то же: Избранные труды. Т. II. С. 148–161.

Б8
[15 марта 1985 года, Москва, от руки]

Дорогая Нина Владимировна,
спасибо Вам за письмо. Мне тоже жалко, что я не был на том докладе, где Вы спорили с Розовой[1] (мне показали ее текст, а мне хотелось бы послушать Вас). То, что Вы написали в письме, помогло мне понять некоторые странности в восприятии моего сегодняшнего доклада: я говорил, что комментарий должен быть связан и целен, потому что его организует комментируемый текст, а многие явно понимали: потому что его организует концепция комментатора, да здравствует концептуальность[2]. Может быть, конечно, я сам подал к этому повод и казался голосом комплекса филологической неполноценности. Но на уровне сознания это было иначе. Просто я очень хорошо помню, как я сам постепенно (с детства и, пожалуй, по студенчество) узнавал античность (и многое другое), что вслед за чем, из каких книжек, с какими трудностями, с какими счастливыми и несчастными случайностями и пр.; примечания всякого рода тут играли очень большую роль, и мне хотелось их отблагодарить. Может быть, сказалась и другая знакомая мне черта: перед текстом (и перед человеком) я чувствую себя немым и ненужным, а перед текстом с комментарием (и перед разговором двух людей) понимающим и соучаствующим. А затем я обычным образом переношу неправомерно свой опыт на других, хочу дать им то, чего сам был лишен и пр. Поверьте мне в одном: хоть я и много писал комментариев, но ощущаю себя не писателем, а читателем комментариев, от его лица я и пытался говорить. Не знаю, внятно ли я написал: с Аверинцевым на такие темы я совсем не мог бы говорить, он словно никогда не узнавал того, что знает, а всё в нем было изначально, из воздуха, как в наших Афинах. Спасибо Вам и простите меня. Ваш МГ.

Выздоравливайте, пожалуйста!

15.3.85

1 Речь идет о семинаре по теории текста в МГУ, которым руководил С.И. Гиндин, и о докладе Р.И. Розиной, которая занималась комментарием как типом текста. Спора я уже не помню, а работа Розиной, опубликованная примерно в это время (О комментарии // Проблемы структурной лингвистики: 1984. М.: Наука, 1988. С. 259–267), мне по сей день нравится.

2 См. более поздние публикации М.Л. Гаспарова о комментарии: О переводимом, переводах и комментариях // Литературное обозрение. 1988. № 6. С. 45–48; Ю.М. Лотман и проблема комментирования // Новое литературное обозрение. 2004. № 66. С. 70–74.

Б9
[22 июля 1985 года, Москва, машинопись]

Дорогая Нина Владимировна,

пишу Вам почти тотчас после Вашего звонка, поэтому наши письма могут и повстречаться. Мне кажется, что я сталкивался с Вашей проблемой, когда переводил несколько цитат из Тацита и одну из Саллюстия для примечаний к Светонию и для «Ист. всемир. лит-ры». Эти несколько фраз были едва ли не самыми мучительными в моем опыте (мучительнее, пожалуй, было лишь редактирование Фукидида, и по той же причине). Нужно было передать, что на фоне традиционной риторической гладкости Саллюстий и Тацит звучали нарочито резко и угловато. Но в традиции русских переводов никакой риторической гладкости не было, фона не имелось, и резкость-угловатость рисковала выглядеть обычной халатной небрежностью, к которой давно привык страдалец-читатель русских переводов древних прозаиков. Приходилось вмещать в одну фразу и ощущение гладкости, и ощущение ее нарушения: это была каторга. Мне кажется, что и Вы стремитесь к тому же: дать почувствовать одновременно и традицию (которой по-русски нет), и личные уклонения Ливия от нее (которые тоже приходится открывать напряжением собственных

стилистических чувств). Это, конечно, подвиг, который на пространстве нескольких больших книг кажется фантастичным.

Мне кажется: стоит ли эта игра свеч? На перевод Саллюстия или Тацита и я бы решился принести в жертву остаток жизни. Но Ливий? Так ли уж он отличен от Цицерона, чтобы стараться передать специфику Ливия, когда мы еще не имеем удовлетворительного (навязшего в ушах) русского Цицерона? По моему субъективному впечатлению разница между ними невелика: если бы Цицерон взялся писать римскую историю (что-то такое он подумывал), мне кажется, у него получилось бы похоже. Ливий был многословнее и благодушнее, у него была «млечная полнота», но, полагаю я, и млечная плавность тоже. Пожалуй, редактируя, я представлял себе такого Цицерона на покое, добравшегося до нового для себя жанра. Может быть, я неправ. Но представить себе Ливия не то что антиподом, но даже осторожным исправителем Цицерона я не могу: по-моему, он перед ним благоговел. Смутные воспоминания о том, что я читал о Ливии в историях римской литературы, этому не противоречат.

Мне было бы очень интересно услышать, как Вы сами формулируете своеобразие Ливия и его отход от Цицерона («Цицерон», в конце концов, не конкретное имя, а символ традиционной риторики в целом). И, конечно, я с радостью пойду за Вами, если уловлю Вашу цель. Наводит грусть только то, что это наше старание, скорее всего, останется островом в инородном море. Даже Позднякову я не смог отредактировать так, чтобы это было вполне похоже на Вас, хотя и старался. Гусейнов под редакцией Кнабе будет еще дальше. А второй том с Пуническими войнами будет таким монолитом сергеенковского[1] стиля, который худ ли, хорош ли, но целен и стилистически редактироваться вряд ли будет. Вообще бы надо было подождать его явления и ориентироваться на него, зажав зубами собственные стилистические вожделения: была бы по крайней мере однородность. Но теперь не до того.

Простите за многословие: это от удовольствия беседовать с Вами. Пожалуйста, постарайтесь быть здоровы и благополучны: болеть бывает нехорошо. Низкий поклон Диме.

Весь Ваш М. Гаспаров

22.7.85

1 Тексты Н.А. Поздняковой, Г.Ч. Гусейнова и некоторых других сравнительно молодых тогда переводчиков редактировались мэтрами: Г.С. Кнабе, М.Л. Гаспаровым, В.М. Смирииым; второй том был уже давно переведен ленинградским историком Марией Ефимовной Сергеенко, которой ко времени подготовки издания было за 90 лет; он вышел уже после ее смерти в 1991 г.

Б10
[29 июля 1985 года, Москва, машинопись]

Дорогая Нина Владимировна,

у меня, пожалуй, языковое чувство расходится с Вами только в одном: слово «плебеи», по-моему, не обрусело и осталось только в интеллигентском языке с неопределенно-ругательным смыслом. Поэтому я не стал бы — идя за Вами — от него отказываться: тем более, что в русских словах такого смысла всегда чувствуется нехватка, «простой народ, простонародье» — слова живые, а «простолюдин» — выдуманное и, по-моему, ни в каких памятниках живого языка не зафиксированное. Если я правильно понял, то Вам хочется теперь переводить ауспиции ауспициями, чтобы чувствовалась реалия. Честное слово, я не против (хотелось бы, конечно, выдумать русскую кальку, но она будет еще более останавливающей и раздражающей); но тогда давайте поступимся руссификаторством и дальше, и оставим «плебеев». Тем более, что есть еще и populus, и когда в одном поздняковском месте он столкнулся рядом с plebes, то мне было совсем головоломно. Кнабе на «ауспиции» будет артачиться, но «плебеев» примет, я думаю, с радостью. Труднее с их антитезой — patres: иногда это слово

явно означает «сенаторов», а иногда — «сословие, из которого выходят сенаторы», т.е. патрициев; и здесь, кроме контекстуального смысла, разницу не установишь. Честно говоря, я предпочел бы переводить patres «отцы» (отстаивая это от Кнабе), plebes «плебеи», а auspicia (скрепя сердце) «ауспициями». Будет выдержаннее и, пожалуй, проще. Но правильно ли я Вас понял, и точно ли против «плебеев» у Вас нет иных возражений, кроме русских ассоциаций?*

Передавать специфику ливиевского ритма — дело безнадежное. Если я правильно понял, что читал когда-то у Лёфштедта, то в латинской прозе разница была семантизированная: ораторская проза пользовалась клаузулами из кретиков и хореев и решительно избегала клаузул дактилических, напоминавших о гексаметре; историческая же проза, наоборот, если не предпочитала, то по крайней мере не избегала этих напоминаний об эпосе. Если мы это и передадим, то это никому ничего не скажет. Придется отделываться общей заботой о плавности, в одних местах более настойчивой, в других менее. Я помню, как, когда я перевел речь «За Милона», то Ошеров (заочно) сказал уныло: «ну, вот, конечно, Гаспаров Цицерона стихами перевел» (он был прав, я все время держал в голове ритм верлибра) и потом деликатно подталкивал получившееся поближе к прозе — теперь я вижу, что к лучшему[1].

Больше всего бы мне сейчас хотелось выкроить время и, с опытом этой нашей переписки, попробовать так же тщательно пройти VIII книгу. Но блаженное больничное время кончилось, и силы опять уходят неизвестно куда. Вчера я неприятным сюрпризом обнаружил, что у меня остались неотредактированными 10 страниц Поздняковой — промежуток между двумя моими к ней присестами. Для больницы это — дневная порция, а здесь займет несколько дней.

С благодарностью подтверждаю получение экземпляра Диогена и благодарю Вас за правку Алкидаманта. Скорее все-

[*Внизу страницы:*] * Я говорил по телефону со Смириным о наших ливиевских делах; он воскликнул: «конечно, „отцы“ и „плебеи“!»

го, я бездумно пошел за Хиксом, а ему в этом месте померещилось что-нибудь случайное[2].

Диалог с Вулих[3] в «ВЛ» имел свою историю. Отделом критики там заведует человек по имени Ломинадзе[4] (и по отчеству Виссарионович), я с ним когда-то имел несколько забавных разговоров, когда старый В. Адмони захотел, чтобы я написал рецензию на посмертную книгу Т. Сильман «О лирике», отказать я не мог, а книга мне решительно не нравилась. Я написал так, что это было совершенно понятно каждому (кажется, кроме Адмони), но все слова были только лестные[5]. Ломинадзе кипятился и говорил «почему Вы прямо не выскажете вашего отношения к книге?», а я отвечал: «читателю не интересно мое отношение к книге, а интересно, стоит ли ее читать самому; а Вы мое отношение поняли?» — «Понял». — «Ну, вот, будем думать, что и читатель поймет». Оба мы, кажется, друг друга позабавили, но после этого я туда не показывался. Вдруг он звонит, напоминает о себе, говорит: «мы получили такую-то статью, не напечатать ее мы не можем, но не попробуете ли Вы написать парную к ней, только никому не говорите, потому что неизвестно, как к этому отнесется начальство». Я написал, а начальство отнеслось неожиданно хорошо: думаю, потому, что я написал в полтора раза короче, чем мне было позволено. На журнал я не подписан, видел публикацию пять минут, оценить редакционное послесловие не успел. Одно меня очень огорчило: в подлиннике статья Вулих была подписана Н.В.В., д.ф.н., профессор, председатель междунар. общества «Овидианум» и еще что-то. Я и писал в расчете на такую предшествующую подпись. А теперь там только напечатано: Н.В. Вулих, Ухта, — и любой неспециалист подумает, что это я изничтожаю бедного провинциального преподавателя, а до послесловия с упоминанием зырян и Тютчева, конечно, не дочитает. <...>[6]

И последнее — самое главное, а потому самое короткое. Вы пишете: «я убедилась в своей лит. беспомощности: нельзя питаться всю жизнь запасами начитанного в подростковом возрасте». Дорогая Нина Владимировна, я живу, не

выходя из того же чувства, а последние годы — особенно: чувствую, что и прозаический и (особенно) стихотворный стиль у меня заштамповался, выскочить не могу, а читаю тоже только научную литературу. Ариосто я начал переводить, чтобы выскочить из шаблона, а кончил, сидя в новом шаблоне. Я думаю, что для таких работников, как мы, такое ощущение неизбежно. Я это пишу не для утешения — этим не утешишься, — а только чтобы заверить Вас, что очень хорошо Вас понимаю. Давайте помогать друг другу по-прежнему, — если я смею так говорить.

Постарайтесь, пожалуйста, быть здоровы! Диме низкий поклон.

Весь Ваш М. Гаспаров

P.S. Я уже несколько лет забываю Вам сказать: мне случилось купить мифологический словарь Рошера (полный, кроме какого-то предпоследнего выпуска), и если по Вашим делам он понадобится Вам быть под рукой, то он в Вашем распоряжении. Для чего я сделал такую странную покупку, — в этом, если наберусь духу, покаюсь в какой-нибудь другой раз. Еще раз самого Вам хорошего![7]

29.7.85

1 Сергей Александрович Ошеров редактировал сборник речей и трактатов Цицерона из серии «Библиотека античной литературы» (М., 1975), где была опубликована речь «За Милона». Сергей Александрович и М.Л. очень ценили друг друга, а эти слова я тоже помню, при мне были сказаны, но не я их передавала! Ср.: Записи и выписки. С. 324.

2 Речь идет о переиздании перевода Диогена Лаэртского («О жизни, учениях и изречениях знаменитых философов»). Для контроля М.Л. пользовался английским переводом Р.Д. Хикса в «лебовской» серии («The Loeb Classical Library»). Я принимала участие в составлении научного аппарата издания.

3 Н.В. Вулих написала статью «Поэт без поэзии» (Вопросы литературы. 1985. № 7. С. 176-191) с критикой работы Гаспарова «Поэт и поэзия в римской культуре» (Культура древнего Рима. М.: Наука, 1985. Т. 1. С. 300-335; то же: Избранные труды. Т. I. С. 49-81). Гаспаров ответил на

критику статьей под названием «Поэзия без поэта» (Вопросы литературы. 1985. № 7. С. 192–199).

4 Серго Ломинадзе, проработавший в «Вопросах литературы» сорок лет, заведовал отделом теории, см. о нем: Записи и выписки. С. 328; а также: Памяти Серго Ломинадзе // Вопросы литературы. 2007. Ноябрь–декабрь. С. 342–343.

5 Владимир Григорьевич Адмони и Тамара Исааковна Сильман были супругами. Взаимная привязанность этой пары была общеизвестна, огорчить Адмони, не столько старого, сколько безутешного, М.Л. не захотел. Сильман умерла в 1974 г., а книга, о которой идет речь, вышла в Ленинграде в 1977-м. Рецензия называлась «Лирика науки» (*Сильман Т.И.* Заметки о лирике) // Вопросы литературы. 1978. № 7. С. 263–269). Ср.: Записи и выписки. С. 328. М.Л. и в других случаях высказывал свое мнение о работе, которую не считал относящейся к ведомству науки, так, что ее автор, особенно диссертант, не знал, как благодарить «за столь лестный отзыв». Ср.: Записи и выписки. С. 284. В публикуемых письмах мастерство «лестной критики» продемонстрировано и по отношению ко мне.

6 В Послесловии от редакции сказано о важности полемики между двумя «известными специалистами по античной литературе», что уравнивает Гаспарова и Вулих, а кроме того, с аллюзией на известные строки Фета, сказано, что к зырянам пришел теперь не только Тютчев, но и вице-президент Международного общества Ovidianum (Вулих, ленинградский профессор, переехала в Ухту). Впрочем, и в конце номера, где сообщаются сведения об авторе, полностью перечислены все научные регалии Натальи Васильевны.

7 Хорошо помню, как однажды, задолго до этого письма, М.Л. спросил меня, сто́ящее ли издание Рошер и каких оно размеров, а я молча показала — руками, как рыбак свою чудо-рыбу. Это толсто- и многотомный (6 основных и 4 дополнительных) подробнейший, сделанный с прославленной немецкой тщательностью рубежа XIX — начала XX в., «исчерпывающий», как сказано в его заглавии, лексикон по греческой и римской мифологии: Ausführliches Lexikon der Griechieschen und Römischen Mythologie / Hrsg. von Roscher W.H. Leipzig, 1884–1937. А каяться М.Л. собирался вот почему. Он намеревался заняться новой для себя областью — мифологией, в которой до тех пор научно не работал. М.Л. предвидел неосуществимость замысла: сделать не только новый перевод Аполлодоровой

«Мифологической библиотеки», но и снабдить его систематическим изложением-комментарием греческой мифологии. Работа осталась незаконченной, о чем, года за полтора до смерти, М.Л. высказывал сожаление в интервью студентам РГГУ: «Самое главное, о чем я больше всего жалею, — это мифология, я хотел, начал даже делать большой, компилятивный, разумеется, комментарий к Аполлодору. То, в каком виде Аполлодор в „Литпамятниках" вышел, меня, при всем уважении к Боруховичу [В.Г. Борухович, саратовский историк античности, подготовил издание «Мифологической библиотеки» Аполлодора в 1972 г.], очень огорчило, я решил перевести его заново и приложить к нему конспект исполинского комментария Фрезера [см.: *Apollodorus*. The Library / With an English translation by Sir James George Frazer. London; N.Y., 1921. Vol. 1–2; комментарий не кажется мне исполинским]. Перевел, сделал конспект комментария и вдруг увидел, что, при всей его огромности, там у Фрезера есть пробелы, так что после большого-большого сокращения комментария пришлось заняться постепенным-постепенным расширением комментария. Форму для этого я нашел такую, что если довести работу до конца, то получилось бы что-то вроде мифологической энциклопедии, только не в алфавитном, а в логическом порядке, но сделать эту работу я успел до середины первой книги и боюсь, что дальше уже не успею. Ну вот, если бы мне было дано...»

Б11
[8 июля 1986 года, Москва, машинопись]

Дорогая Нина Владимировна,

Вы, наверное, получите это письмо уже после ленинградской передышки, на благотворность которой я очень надеюсь. Большое спасибо за тезисы об автаркии. Они замечательно интересны, и я думаю, что если по их окончательной версии (по строго античному материалу) напишется статья (неминуемо большая), то материалы предварительного варианта, с всемирно-историческим хвостом, легко войдут туда как более беглый эпилог[1]. Я только подумал, не пропущена ли там одна страница

истории этого термина: не всплывал ли он на поверхность в XVII–XVIII вв., во время меркантилизма и наступающего фритредерства? Или они обходились словами родного языка?

Ваш доклад о «Поэтике»[2] я помню и по-прежнему отношусь к нему с колебанием. Я бы сказал (по-моему, заодно с Вами), что предмет сочинения Аристотеля, конечно, не поэтика в целом, а только сюжет, мютос[3]: это, так сказать, первая в мире работа по сюжетосложению. Все, что прямо к мютосу не относится, им трактуется мимоходом или вовсе отбрасывается (об этом он говорит прямо, поэтому мне и не хочется считать, что он пишет о театральном действе как таковом), а что относится, то привлекается во внимание, будь это даже сценические частности. Конечно, главным критерием истинности вашей гипотезы будет ее способность убедительно интерпретировать текст без конъектур и довчитываний. Но именно такая текстология очень плохо воспринимается с голоса, на докладе она дошла до меня плохо, и убедительней ли она, чем прежние «вчитывания», я остался неуверен. Тут Вам придется писать большую статью с внятным разжевыванием всех частностей. «Вестник древней истории» чем дальше, тем более непредсказуем, но если Вы захотите написать для него, я сделаю все, что могу.

В институтскую нашу библиотеку недавно поступила английская книга (ни автора, ни заглавия не помню) «Аристотель о комическом», с попытками догадок о II книге «Поэтики» и изданием всяких фрагментов, на которые часто ссылаются и редко цитируют[4]. Не хотите воспользоваться?

Если стихи Клары Лемминг все-таки заинтриговали Вас авторством, то почти все Ваши догадки справедливы: то, где Вы «не видите меня», писал или не я, или я, но плохо. Пожалуй, только одним из усомнивших Вас стихотворений я дорожу — про Замоскворечье[5]. Вторая часть, кроме переводов (и, конечно, эпилога), вся написана сыном; только к стихотворению «Елена» я приписал свой конец[6]. [*Приписка от руки:*] Духовный стих об Аллилуевой жене Вы, наверно, знаете[7].

Пишу Вам во время двухдневной побывки из больницы домой; выпишут меня числа 18-го, во второй половине августа я тоже съезжу в Ленинград. О здоровье моем не беспокойтесь, это просто поправление нервов (правда, не очень удачное), в котором одинаково нуждается каждый из нас, — просто я воспользовался более роскошной возможностью и написал там статью и очень плохие переводы фрагментов Эсхила для Литпамятников: буду переделывать. Психотерапевт сказал мне: «попробуйте вспомнить счастливые минуты вашей жизни и восстановить их до мельчайших подробностей». К этому я оказался неспособен; вместо этого я стал вспоминать хороших людей, с которыми мне посчастливилось встречаться, и мне стало легче. За позапрошлогоднюю Режицу[8] я по гроб жизни Вам буду благодарен. Позвольте здесь кончить, чтобы не выбиться из стиля, и пожелать Вам с Димой всего самого хорошего, что еще может быть хорошего на этом свете.

Всегда Ваш М. Гаспаров

8.7.86

1 Тезисы были опубликованы (История слова autarkeia в античности: Тезисы // X авторско-читательская конференция «Вестника древней истории» АН СССР. М., 1987), а спустя много лет — и энциклопедические статьи, но завершить большую работу об автаркии я за 20 лет все еще не собралась.

2 В 80-е годы, когда почти прекратились различные домашние семинары, Комиссия по мировой культуре при Президиуме АН организовала несколько семинаров, связанных с античностью. Их руководителями были Г.С. Кнабе, И.Д. Рожанский, С.С. Аверинцев. В семинаре Рожанского я предложила систематический пересмотр многих ключевых мест «Поэтики», исходящий из того, что Аристотель, хотя и сосредоточивался на драматургическом тексте, имел дело с реальностью не чисто книжной, но театральной. Мои интерпретации при этом противоречили гаспаровскому переводу соответствующих фрагментов «Поэтики». Ниже М.Л. высказывает готовность сделать все, что в его силах, для публикации моей с ним полемики.

3 Мютос — *миф, сюжет* или *фабула*, в переводе М.Л. — *сказание*.

4 *Janko R.* Aristotle on Comedy: Towards a Reconstruction of Poetics II. London, 1984 (2-е изд.: 2002). Редко цитируемый фрагмент — это, в частности, Tractatus Coislinianus. См. об этом письмо Б15 от 23 мая 1987 г.

5 М.Л. родился и рос в Замоскворечье, а «Клара Лемминг» писала: «Я думала, у меня нет родины, / А есть только родной язык. / Оказалось, родина есть — / Замоскворечье, / такие-то углы, / такие-то годы. / В следующие годы / Там все стало другим: / Что казалось большим, сделалось маленьким, / А что было маленьким, выстроилось большое. / Значит, родины все-таки нет: / Родина была. / Хорошо, что она кончилась — / Без нее я не такая отдельная». См. весь цикл Клары Лемминг «Под ступкой» на сайте http://www.utoronto.ca/tsq/02/klaralemming.shtml

6 У Еврипида Менелай с призраком Елены попадает в Египет, где его ждет верная настоящая Елена, он видит подлинную Елену, и призрак исчезает. В стихотворении «Клары Лемминг» сначала, как у Еврипида: «Он увидел, как за его спиною / Тает призрак той, за которую / Перебили друг друга два народа». Но последние строки, написанные М.Л., делают призраком и ту Елену, которая у Еврипида была реальностью: «А опять взглянувши перед собой, / Он увидел, как тает призрак / Той, которая ждала и любила».

7 В распространенном среди староверов духовном стихе об «Аллилуевой жене» говорится о безымянной женщине, которая, спасая младенца Христа от преследователей, взяла его на руки, бросив при этом своего ребенка в пылающую печь, где тот чудесным образом остался невредим (прозвание «Аллилуева жена» от припева стиха «Аллилуя!»). Среди присланных стихов «Клары Лемминг» были и «Женские слезы» — о женщине, шедшей с плачем по Иерусалиму, где совершалась казнь Иисуса: «„Кто эта женщина, / Плачущая об учителе горше матери?“ / А она плакала не о Христе, / Ей просто вспомнилось старое, / И она подумала почему-то: / „А вдруг это он и есть?“ / Она не ошиблась, / Но какое это имело значение — / Ведь она просто женщина, / Даже без имени, / Просто Аллилуева жена, / А что сейчас женские слезы? / И она даже не войдет в Евангелие».

8 Речь идет о пребывании на Вторых Тыняновских чтениях в Резекне (см. письмо Б4, примеч. 11).

Б12
[31 декабря 1986 года, Москва, от руки]

Дорогая Нина Владимировна, Вашего Аристотеля я понимаю по частям, с боязнью и осторожностью: правильно ли я понял, что введение понятия μῦθος[1] и его определение перестроило всю систему понятий, дав ей новый центр? Если так, это мне очень близко: в Аристотеле мне всего ближе не метафизическая сторона, а интерес и зоркость к таким вещам, как моллюски и сюжетные повороты. Есть английская книга (60-х — 70-х гг.) «Аристотель — философ здравого смысла», я ее не пытался читать только потому, что боялся: вдруг плохая[2]. А римлян Вы, кажется (точнее, мое к ним отношение), помогли мне понять: я сам замечал, что римские поэты для меня — вереница трудяг с засученными рукавами, которые строят и строят вавилонскую башню своего языка и стиля, — а Вы мне подсказываете, что это для меня их средство сублимации, укрощения зверя, которого они чувствуют в себе: стихийного буйства и стихийного страха. Наверное, я так и думаю, — по каким внутренним причинам, не хочется задумываться. О «стилизации фольклора»[3] я, пожалуй, думал, но без такой ясности. Собственно, Катулл любую брань делает вымеренным произведением искусства, и «К. влюбленный»[4] — лишь один из многих продуктов этой работы. Но я предпочел сказать о «частушке гексаметром», а не о «Цезаре как односельчанине из-за забора» — это уж по моим идиосинкразиям. А поколение спустя для всего выработались условные стили, и Вергилий мог писать Буколики, не оглядываясь на Приапеи. Вот Петроний и Марциал, где игра этими пластами начнется вновь, должны быть очень интересны, но я до них еще не добрался. — Диодор очень непохож на Ливия, это деловитый пересказчик, и все: может быть, рано ставить крест на переводах историков. А Макробий — это принятая заявка, перспективный план, и как только он будет сделан, его издадут[5]. Только с договорами и авансами в «Памятниках» по-прежнему медлят до последнего дня. — Моему сыну три года назад (в 19 лет) приснился япо-

нец, который вел его по тому свету, учил гармонии внутренней и внешней и, в частности, сказал: «у твоего отца есть внешняя за счет внутренней». Если бы Вы знали, как я Вам обязан за то, что Вы верите, будто «у меня всегда на примете несколько мыслей»! А я так же завистливо смотрю на Вас. Будьте же здоровы! Ваш М.Г.

31.12: еще раз с Новым годом!

Оле Седаковой[6], пожалуйста, самый низкий поклон от меня, с радостью и верой.

1 См. письмо Б11, примеч. 3.

2 Книги, о которой говорит М.Л., найти не удалось. Подозреваю, что М.Л. действительно ожидало разочарование, хотя бы потому, что выражение «common sense» применительно к Аристотелю значит не совсем то же, что обычно значит «здравый смысл». Аристотель различал индивидуальные способности человека и такие, которые присущи всем людям, причем в эти присущие всем интеллектуальные способности входит и способность к правильному рассуждению. «Философия здравого смысла» — тоже не есть нечто эмпирическое и напрочь чуждое метафизике; такое направление существовало в шотландской философии XVIII века, оно опосредованно связано с идеями Аристотеля (мышлению изначально присущи некие общие всем интуитивные схемы, обеспечивающие возможность верного постижения и правильного знания). См.: *Gregoric P.* Aristotle on the Common Sense. Zagreb, 2007, а также: *Kirk G.S.* Sense and common-sense in the development of Greek philosophy // Journal of Hellenic Studies. 1961. Vol. LXXXI. P. 105–117; *Block I.* Three German commentators on the individual senses and the common sense in Aristotle's Psychology // Phronesis. 1964. Vol. IX. P. 58–63; *Block I.* On the commonness of the common sensibles // Australasian Journal of Philosophy. 1965. Vol. 43. P. 189–195; *Block I.* Aristotle on the common sense: A Reply to Kahn and others // Ancient Philosophy. 1988. Vol. 8. P. 235–249.

3 Видимо, цитата из моего письма, как и «Цезарь-односельчанин из-за забора» чуть ниже.

4 Имеется в виду «Катулл влюбленный» в отличие от «Катулла ученого», так принято говорить о разных жанровых ипостасях этого поэта: любовной лирике, с одной стороны, и мифологических эпиллиях — с другой.

5 Речь идет о «Сатурналиях» Амвросия Теодосия Макробия,

ученого язычника (V в. н. э.); М.Л. настойчиво предлагал мне перевести это сочинение для «Литературных памятников». Не собралась.

6 Ольга Александровна Седакова, поэт, мой друг с юности, она переписывалась с М.Л., и в «Записях и выписках» нередко упоминаются ее высказывания и сны. Об этом см. ниже.

Б13
[17 апреля 1987 года, Москва, от руки]

Дорогая Нина Владимировна,

простите, что не буду на вашем докладе — стыдно сказать, почему: в Череповце чествую 100-летие Игоря Северянина[1]. Слушатель я был бы плохой: природное мое религиозное чувство намертво атрофировано, а овладеть антропологией и психиатрией так, чтобы реконструировать его разумом, я не сумел. Поэтому, как важна Ваша тема (в Вашей трактовке), я понимаю не хуже, чем слепой — как важен свет и цвет[2].

Всего и во всем самого Вам хорошего!

Весь Ваш М. Гаспаров

17.4.87. Диме — низкий поклон.

1 См. примеч. 2 к письму А3 от 10 апреля 1987 г.

2 Думаю, речь шла о докладе «Греческая трагедия и ритуал у Вячеслава Иванова», прочитанном в семинаре И.Д. Рожанского при Научном совете по мировой культуре АН. Михаил Леонович, видимо, ожидал тем религиозных или мистических. Эти «обидные предположения» М.Л. упоминает после прочтения текста доклада (см. письмо Б15).

Б14
[30 апреля 1987 года, Москва, от руки]

Дорогая Нина Владимировна,

недавно мне случилось перевести с целью сублимации одно классическое английское стихотворение — верли-

бром, и сократив его в полтора раза, потому что очень уж оно было развесисто. (Копию результата, поглядев на тему, я позволил себе послать Оле Седаковой.)[1] Это раззудило во мне редакторское вивисекторское сладострастие, и, обнаружив у себя пару переводов моего товарища[2] из совершенно неизвестного мне западногерманского поэта, я сократил их так же. Одно из них было про Одиссея (в подлиннике 37 строк) и содержанием напомнило мне те верлибры, которые я посылал Вам на больших страницах[3]: пусть это будет еще одним приложением к ним.

Кр. Меккель

Одиссей
Что мне остается,
если всё уже сказано стихотворцем:
драки, женщины, пути, адреса?
Я остался меж строк
неслучившейся ошибкой поэта,
а когда эти строки истлеют, как люди и боги,
мое имя вернется ко мне
и мы доживем нашу жизнь, какими мы есть, —
безвестными.

Хорошей Вам весны! Вы когда-то говорили: «у меня 15 очередных дел» — у меня, кажется, столько же.

Диме низкий поклон. Всегда Ваш М.Г.

30.4.87

1 Речь идет о «Небесных гончих» мистического английского поэта Френсиса Томпсона, см.: Вопреки размеру подлинника: Мильтон, Донн, Томпсон // Альманах переводчика. М., 2001. С. 201–221; Экспериментальные переводы. С. 46–50. Об этих стихах см. ниже письмо Б15 от 23 мая 1987 г., а также: Записи и выписки. С. 189.

2 Г.И. Ратгауз.

3 Речь идет о цикле стихов и переводов М.Л. и его сына (стихи «Клары Лемминг»; см. выше письмо Б11 от 8 июля 1986 г.).

Б15
[23 мая 1987 года, Москва, машинопись]

Дорогая Нина Владимировна,

прочитав первую же (зачеркнутую) страницу об Иванове[1], я просветлел духом и обрадовался, потому что и я, если бы знал и мог, писал бы о нем с похожим отношением и похожими интонациями. Обидные предположения, по-видимому, возникли оттого, что я неправильно или невнимательно понял какое-то слово в Вашем письме. Статью Рабинович я немедленно возвращаю и уверяю Вас, что, по моему крайнему мнению, никаких оснований для угрызений совести она не дает. У нее нет ничего касательно «мафемат», а у Вас нет ничего касательно катарсиса как «концовки, которой кончается концовка». Остальное — лишь общее здравомысленное отношение к Аристотелю, которое, правда, редко, но не настолько, чтобы в нем усматривать плагиат[2]. Мне хотелось бы сказать, что и я его разделяю, но после моего перевода, который старался держаться нейтральной точности «и нашим и вашим», я вряд ли имею на это право. Что катарсис — это радость от познания и разъяснения, от того, что нечто приобретает из беспорядочности структурную законченность с началом, серединой и концом, — это и я так думаю (видимо, переняв это у Ростаньи, с которого я начинал чтение «Поэтики» и о «Поэтике»; кстати, если он Вам понадобится, то его «Скритти минори» с этими статьями[3] у меня есть, счастливо купленные, а его комментарий к «Поэтике» должен остаться в Ленинке в микрофильме[4]). Требует ли это непременного принятия чтения «мафематон», — не уверен; тут вступают в силу автономные законы текстологии о предпочтении «труднейшего чтения», а которое труднейшее, трудно решить. (Понимание же катарсиса у Рабинович мне кажется натяжкой, хотя я об этом и избегаю говорить: мне кажется, что взять да опустить в разговоре о «люсисе»[5] третий член — не в манере Аристотеля и что искать у него то, что было у Буало и осталось в наших привычках, — не только не стоит, но даже не в манере

самой Рабинович). Обо всем этом я пишу с внутренним беспокойством, потому что по служебному плану этого года мне нужно написать статью о книге Р. Дженко «Аристотель о комедии», где из «Тракт. Койсл.» и пролегомен к разным рукописям комедии делается попытка реконструировать II книгу «Поэтики»; а в «Тракт. Койсл.», как Вы помните, написано:

> τραγῳδία ὑφαιρεῖ τὰ φοβερά παθήματα τῆς ψυχῆς δι᾽ οἴκτου καί δέους· [καί δτι] συμμετρίαν θέλει ἔχειν τοῦ φόβου· <...> κωμῳδία ἐστὶ μίμησις πράξεως γελοίας καί ἀμοίρου μεγέθους, τελείας, <ἡδυσμένῳ λόγῳ> χωρὶς ἑκάστῳ τῶν μορίων ἐν τοῖς εἴδεσι, δρώντων καί <οὐ> δι᾽ ἀπαγγελίας, δι᾽ ἡδονῆς καὶ γέλωτος περαίνουσα τὴν τῶν τοιούτων παθημάτων κάθαρσιν[6].

Называть «патематами» удовольствие и смех кажется странно, и я колеблюсь между собственным ощущением и толкованиями автора, который на все притаскивает параллели откуда угодно — с бесспорной риторической убедительностью, а вот с доказательностью ли, — этого, не читав всего Аристотеля (или хотя бы всего Боница[7]), я сказать не могу. Поэтому на душе неприятно, и полугодовой план к маю я не выполнил, кажется, в первый раз за тридцать лет: даже начать не смог.

Если можно, дайте при случае прочитать мне Вашу статью об Иванове. По зачеркнутой странице мне показалось, что я ей не чужой.

Я всюду искал у себя стихотворение Меккеля[8] (т.е. перевод его, который был передо мной) в пространном виде, чтобы можно было сравнить, улучшил я его или испортил, — не нашел[9]. А что касается религиозности «Небесных гончих»[10], то я вспоминаю, что говорила старая добрая Грабарь-Пассек, когда я переводил вагантов[11], Максимиана[12] и еще что-то: «Миша — в жизни человек целомудренный, вот он и компенсирует это, переводя непристойные стихи». Насчет целомудрия она, вероятно, сильно преувеличивала, не мне судить; но насчет компенсации была совершенно

права, хотя к фрейдизму нимало не была привержена. Вот в силу такой же компенсации и я невольно переводил и «священные сонеты» Донна[13], и это стихотворение, и еще одно, хопкинсовское[14], просится стоять у меня на примете. Если перевод Вам понравился, то, наверное, он и вправду хороший. Может быть, потому, что я уже много лет чувствую, как сам от себя убегаю, — чувство малооригинальное, описанное (с вразумлением) еще Горацием[15]. Тем более что благостная концовка при всей краткости далась мне очень трудно, когда я ее переводил: она мне чужая.

Спасибо, Нина Владимировна, Вам за радость еще раз снизу вверх поглядеть в Ваш «потолок». Говорю без комплиментарности: я и вправду вспомнил, как в давние времена, благодаря Полонской, получил от Вас статью об эоне[16], начисто ничего в ней не понял, но почувствовал, что печатать ее нужнее, чем все наши секторские статьи, и побежал хлопотать к Петровскому и Грабарь, — без всякого, как Вы помните, успеха[17]. Сейчас я прячусь в больницу в несколько худшем виде, чем в прошлом году, поэтому получить почти накануне Ваше письмо — это и есть исполнение Вашего пожелания, «чтобы возле Вас оказывались те, кому Вы рады». Пусть Вам будет получше и полегче.

Рабинович я Вам возвращаю, а Ваши страницы[18] оставил у себя — чтобы легче было подхватить продолжение разговора о «Поэтике», который, я чувствую, будет у Вас с Аристотелем еще долгий. Но если нужно — напишите, и я пришлю. Письма мне в больницу будут передавать. А в июле я и сам выйду.

Диме низкий поклон.

Весь Ваш М.Г.

23.5.87.

1 Работа о трактовке античной трагедии у Вячеслава Иванова (Трагедия и ритуал у Вячеслава Иванова // Архаический ритуал в фольклорных и раннелитературных памятниках. М., 1988. С. 294–329) включала в себя также рассмотрение проблем греческой трагедии и того, что написано о ней у Аристотеля.

Я отправила М.Л. часть об Аристотеле, начинавшуюся со страницы, где заканчивалась часть об Иванове.

2 Елена Георгиевна Рабинович прислала мне свою неопубликованную на тот момент статью, предлагающую трактовку аристотелевского катарсиса как развязки (см.: *Рабинович Е.Г.* «Безвредная радость»: о трагическом катарсисе у Аристотеля // Mathesis: Из истории античной науки и философии. М., 1991. С. 102–114, а также: *Рабинович Е.Г.* Риторика повседневности. СПб., 2000, С. 221–237). В статье об Иванове я предлагала возвратиться к исходному чтению, забытому со времен гуманистов, исправивших рукопись. В рукописном тексте фигурирует «катарсис мафемат/математ», а гуманист и врач Виктор Тринкавелли (1496–1568), исходя из «целительного» понимания катарсиса в «Политике», это чтение исправил на «катарсис пафемат/патемат». Таким образом, бывшее, с моей точки зрения, в тексте Аристотеля «уяснение уроков» превратилось в общеизвестное «очищение страстей».

3 *Rostagni A.* Scritti minori. Torino, 1955–1956. Vol. 1–2.

4 La poetica di Aristotele / Con introduzione, commento e appendice critica di A. Rostagni. Torino, 1928 (2-е изд.: 1945).

5 То есть *развязке.*

6 Фрагмент так называемого «Койслинианского трактата» содержит определение комедии, которое «пародирует» Аристотелево определение трагедии. Оно использует ту же формулу, но подставляет на место *страха* и *сострадания удовольствие* и *смех.* Всякий перевод этого фрагмента есть его трактовка, потому М.Л. и прислал его по-гречески: «Трагедия устраняет испуганное состояние души посредством сострадания и опасения; [и потому что] она стремится к тому, чтобы страх был умеренным <...> комедия же есть подражание действию смеховому и лишенному величия, законченному, <словесно украшенному>, по отдельности в каждой части согласно ее виду, через действия, а <не> через сообщение, через удовольствие и смех достигающее катарсиса соответствующих состояний».

7 По моим воспоминаниям, я ссылалась в письме М.Л. на статью Г. Боница о значении соответствующих слов у Аристотеля (*Bonits H.* Aristotelische Studien V. Über pathos und pathema im Aristotelischen Sprachgebrauche // Sitzungsberichte. Wien, 1867. Bd. 55. S. 13–55). Но, кроме этого, М.Л. мог иметь в виду составленный Боницем исчерпывающий словарь-индекс к сочинениям Аристотеля, входивший как пятый том в классическое издание его трудов (1870).

8 См. «сокращенный» перевод выше (письмо Б14).
9 Позже полный перевод Г. Ратгауза был найден, переписан и прислан мне для сравнения.
10 В письме Б14 от 30 апреля 1987 г. стихотворение Ф. Томпсона было упомянуто, потом прислано, я не была безусловной поклонницей сокращенных переводов, но в этом мистическое волнение было внятно передано, а не стилизовано, и я об этом написала.
11 Поэзия вагантов. М.: Наука, 1975.
12 Римский элегик VI в. н. э. В 3-й, 4-й и 5-й элегиях он вспоминает свои любовные приключения. Переводы Максимиана см.: Памятники латинской поэзии IV–IX вв. М., 1970. С. 128–132; Поздняя латинская поэзия. М., 1982. С. 594–602.
13 *Донн Дж.* Священные сонеты [Заметка, пер.] // Ной. 1994. № 10. С. 150–160; то же: Экспериментальные переводы. С. 159–168.
14 Имеется в виду Джерард Мэнли Хопкинс.
15 *Гораций*, Послания, I. 11, 26: «caelum, non animum mutant, qui trans mare currunt» («небо, не душу меняют те, кто бежит через море»).
16 Клара Петровна Полонская была университетским учителем и для М.Л., и для меня, преподавала в МГУ римскую литературу; именно она рекомендовала меня М.Л.; статья, о которой идет речь, обсуждается в письме Б1 от 28 апреля 1974 г.
17 О хлопотах, вероятно трудоустроительных, я ничего не знала, а заведующим с 1971 г. был не Петровский, а сам М.Л. Но дела это не меняет: за то время, что М.Л. заведовал сектором античной литературы (1971–1981), новые сотрудники поступали туда «мимо» Гаспарова и ни один из них не остался в профессии до сего дня.
18 «Страницы» — это копия моего многостраничного письма с обсуждением проблем «Поэтики», адресованного Е.Г. Рабинович.

Б16
[31 октября 1987 года, Москва, машинопись]

Дорогая Нина Владимировна,

несказанное спасибо Вам за светокопию книжки с исправленным титулом[1]. Мне всегда стыдно, что я не помню Ольги Александровниных стихов на

память — и поэтому даже знакомое читаю всякий раз, как новое, — но я знаю, почему это: у меня патологически гипертрофированное дискурсивное восприятие всего на свете, и телесного, и духовного, а ее стихи обступают меня и проходят сквозь меня нерасчлененно, как одна стихия поэзии. Из авторов, которые наложили отпечаток на ее стиль, я, пожалуй, способен так воспринимать разве что раннего Пастернака. Простите, что отдариваюсь только такой легкомысленной желтой книжкой[2] (Ольге Александровне я, робея, тоже ее послал); может быть, что-нибудь в ней Вас все же развлечет. А о происхождении трагедии я про себя легче всего воображаю картинку, мелькнувшую мне в каком-то серьезном, но отнюдь не специальном английском сочинении: в захолустную Аттику импортировали новомодный жанр дифирамба, его лирическое койнэ было непривычно здешней публике, и рядом с хором поставили человека, который говорил о том же, только на родном диалекте, более разборчивым стихом и в виде разговора с корифеем, а потом и от лица того или другого персонажа. Не знаете ли Вы, где я мог на такое наткнуться?[3] Хорошо понимаю, что вряд ли это научно обоснованная картинка, и нарочно до последней необходимости избегаю поверять ее источниками, — из общей склонности ленивых умов предпочитать ясность истинности, — но теперь, когда наш сектор впрягли в сочинение новой «Истории античной литературы»[4], скоро придется с этой фантазией расставаться. Будьте, пожалуйста, сколь возможно благополучны, кланяйтесь Диме и верьте в неизменные чувства Вашего

МГаспарова. 31.X.87.

1 Речь идет о первом сборнике стихов Ольги Седаковой, изданном YMCA-Press в 1986 г. Авторское название сборника «Ворота, окна, арки» представляло собой стихотворную строку. На обложке значилось в столбик: «ВРАТА / ОКНА / АРКИ».

2 Речь идет о книге: Учебный материал по литературоведению. Русский стих / Сост. и примеч. М.Л. Гаспарова. Таллин, 1987. В дарственной надписи также сказано: «Для легкого чтения».

3 М.Л. отвечает па изложенную в моем предшествующем письме

«теорию гетероглоссии» как универсальной конституирующей черты раннего театра, к гетероглоссии я относила и двуязычие хоровых и речитативных частей трагедии. Ответного письма я не сохранила, но, кажется, мы согласились, что мысли, похожие на «картинку», высказывал в разных своих работах о трагедии и об Аристотеле американский филолог-классик Джеральд Эльс (Gerald Frank Else).

4 Эта новая «История античной литературы» никогда не была написана, в частности потому, что М.Л. и С.С. Аверинцев, уже написавшие однажды значительную часть античных и средневековых разделов Истории всемирной литературы, покинули ИМЛИ.

Б17

[Конец 1987 или начало 1988 года, Москва]

Дорогая Нина Владимировна,

спасибо Вам за письмо: для меня оно пришло очень вовремя. Знаете ли Вы, что мне в ближайшие годы предстоит по плану почти единолично написать Историю античной литературы в 40 л.? Я на этом, конечно, помру, но если не успею помереть до раздела возникновения трагедии, то Ваша помощь будет мне драгоценна.

Б.Ф. Егоров звонил мне о конфликте с ленинградской редакцией. Я очень советую: раскрыть сноски, ничего не сокращать и скорее вернуть рукопись[1]; после этого Егоров и Птушкина[2] добьются договоров. Если Вы скажете «нет», я склоню голову, но мне будет очень жаль.

Переводу на латынь сентенция о мужестве у меня противится: для меня почему-то она пахнет французским языком[3]. Все равно, давайте отталкиваться от дна[4].

Диме низкий поклон.

Любящий Вас М.Г.

Помоги Вам бог 8 января[5].

1 Конфликт я описывать не стану. Недавно нашла в архиве переписку с издательством и порадовалась тому, что забыла все перипетии. Среди прочего сохранилась и копия огромного,

на многих страницах «Отзыва на „Дополнение к редакторскому заключению о рукописи ‘Плутарх. Застольные беседы’ от 25.05.87“» — письма М.Л., в котором он подробно, терпеливо, но тоном, не допускающим возражений, втолковывает, как делаются ссылки на античные источники, что такое пагинация, почему не всегда возможно ссылаться на русские переводы античных авторов — редактор не мог себе представить, что есть античные писатели, никогда на русский язык не переводившиеся, — и так далее. Мои объяснения того же самого не имели успеха из-за моего «никакого» социального статуса, и я в раздражении хотела забрать рукопись.

2 На Инну Григорьевну Птушкину М.Л. всегда полагался и мне советовал, и совет был неложным.

3 Я спрашивала, на какой язык просит перевести себя максима: «Жизнь требует мужества, не обещая взамен ничего, даже его присутствия».

4 Это парафраз из моего письма («Дойдя до дна, ныряльщик плывет вверх»), к которому М.Л. несколько раз возвращался в своих письмах.

5 Черновиков своих писем я не хранила, но тот, который позволил понять, что́ было 8 января, оказался цел: я отправлялась с другими «пикетчиками» инициативной группы «Мемориал» (общества еще не было) в Институт повышения квалификации руководящих работников прокуратуры и Минюста, чтобы произнести «доклад» об антиконституционности подзаконного акта, ограничивающего митинги, демонстрации и прочее. М.Л. не поощрял и не возражал, а только просил Божьей помощи…

Б18
[20 февраля 1988 года, Москва, машинопись]

Ален Боске

ВОПРОСЫ[1]

Пророков спросили:
— Умирают ли боги?
Пророки ответили:
— Откуда нам это знать?

Их спросили:
— Бесконечен мир или конечен?
Они ответили:
— Мы тоже об этом думаем.
Их спросили:
— Тело ли — форма души
Или душа — форма тела?
Они ответили:
— Нам это тоже интересно.
Их спросили:
— Будет ли жизнь после смерти?
Они ответили:
— Мы надеемся, но не уверены.
Их спросили:
— Возмещает ли истина неистину?
Они ответили:
— Мы хотели бы, чтобы было так.

И тогда пророков убили,
А вопросы, еще более странные,
Стали задавать
Реке, баобабу,
Газели, красному камню,
Летучему ветру,
И были рады
Инотолковать
Их большое-пребольшое молчание.

Это стихотворение мне нравилось, и я его перевел, не зная, почему оно мне нравится, а потом одна знакомая, которой сейчас 95 лет[2], мимоходом сказала: «это о тех, кому ясность дороже истины», и я понял: обо мне тоже.

Пусть Вам будет светло. Низкий поклон Диме.

Ваш М. Гаспаров

20.2.88

1 Опубликованный (Экспериментальные переводы. С. 276–277) перевод существенно отличается от приведенного здесь.
2 Знакомая — Н.Вс. Завадская, о ней М.Л. несколько раз упоминает в «Записях и выписках» (думаю, что о ней же говорится в письме к М.-Л. Ботт от 17 июля 1989 г.). Нильс Бор, о котором идет речь в связи с этим стихотворением в «Записях и выписках» (с. 355–356), считал — как, впрочем, и солидная философская традиция — ясность качеством дополнительным к истинности и непосредственно из истинности вытекающим.

Б19
[30 марта 1988 года, Москва, машинопись]

Дорогая Нина Владимировна,

помните, мы издевались над комментарием Боровского к «Доблестям женщин», где было написано, что, прыгая с Левкады, излечивались от любви? Ну так вот, выяснилось, что этот комментарий писал я. Я помнил, что сделал комментарий к «Женщинам», лишь потом узнал, что Боровский тоже прислал таковой, и с сожалением убирал свой (боровскковский казался мне хуже); но каким-то образом в окончательной рукописи оказался все-таки мой. Если Боровский хватится, — не знаю, что буду делать. А Левкада, стало быть, взята все-таки не с потолка, а скомпилирована из американского комментария (упомянутого): мне так не хотелось в сотый раз писать, как Сапфо бросалась в «волны моря и любви», что я рад был случаю позаимствовать что-то новое. Вот моему легкомыслию и урок за насмешки над ботвинниковской сапиенцией. Рукопись отослана, хотя несколько листов (в том числе Греч. воп.) я не успел прочитать. Передайте этот казус и привет О.Л. и И.И.[1]

Диме низкий поклон.

Весь Ваш М.Г.

30.3.88

1 Ольга Леонидовна Левинская и Ирина Игоревна Ковалева, в ту пору молодые филологи-классики, которые составляли комментарий к «Застольным беседам» Плутарха (Л., 1990). В этот том как приложение входили «О доблести женской» в переводе Я.М. Боровского, а также несколько трактатов в переводе М.Н. Ботвинника с комментариями и две мои работы.

Б20
[Дата на конверте: 10 мая 1988 года, Москва, от руки]

Дорогая Нина Владимировна,

нечаянно я узнал, что в эти иды — Ваш день рождения. Я не могу пожелать Вам ничего больше того, что желаю, думая о Вас ежедневно: чтобы дольше хватило сил для Вашего жизненного подвига. Вы знаете, что́ Вы значите для меня: при Вас я чувствую себя как при строгой учительнице, а без Вас — потерянным. У Островского один персонаж в порыве чувств восклицает: «Марья Михайловна, дозвольте ради Вас подлость сделать!» Времена и нравы меняются — мне хочется сказать: «Нина Владимировна, дозвольте ради Вас что-нибудь честное сделать!» Спасибо Вам за всё. Когда-то Вы сказали доброе слово о предисловии Б. Ярхо к его «Методологии», опубликованном в «Контексте»[1]; подложите туда и прилагаемый листок с первоначальным его вариантом — мне стыдно, что я нашел его не сразу и по подсказке. Будьте тем, что Вы есть! Диме низкий поклон.

Ваш М.Г.

1 См. примеч. 2 к письму Б2.

Б21
[1 июля 1988 года, Москва, от руки]

Дорогая Нина Владимировна, спасибо Вам за чудесное письмо, которое Вы величали глупым. Интересно: Вы обра-

щаете внимание на то, что наша установка на первочтение мешает восприятию малых единиц текста (потому что у нас нет привычных стилистических ожиданий), я — что она мешает восприятию больших текстов и групп текстов (отвлекая внимание на проходные места, которые в нем не нуждаются, несмотря на риторическую отделку); думаю, что это не мешает, а дополняет одно другое. У Смирина тоже были интересные afterthoughts по поводу этого — видимо, главное противопоставление, действительно, взывает об исследовании, и я рад, что написал эту статью. Попробую доразобраться и в собственных ощущениях, «почему нормальным людям скучны античные тексты» — мне они тоже знакомы. Кстати, когда я призывал к большим комментариям античных переводов (а Вы были скептичны), мне хотелось, чтобы они именно давали читателю установку внимания на то, что он при нынешних своих привычках упустил бы. Любопытно, что образец «рыхлости и рассыпчатости» греческого прозаического текста — евангельские проповеди. Нет ли в них характерной для устного (вновь и вновь возвращающегося к главному, вопреки логич. композиции) стиля спиралевидной повторности, который Сергеенко нашла у Катона[1], Френкель[2] (кажется) у ранних греков, а я — в последней речи Ленина[3]? Во ВДИ осенью будет конференция по переводам, с моим докладом (ничего нового) — хотелось бы с Вами об этом еще поговорить. Я не смею Вам давать жизненных советов, но если Вам удастся высвободиться из «затягивающего» года βίου πρακτικοῦ[4] ради прежней Вашей βίος θεωρητικός[5] — я буду рад. Мне кажется, это Вам свойственней. У меня никакая работа не идет даже без таких уважительных причин. В июле я — если нужно — в Москве! Низкий поклон Диме.

Неизменно Ваш М.Г., 1.7.88

1 *Сергеенко М.Е.* Катон. «Земледелие». М.; Л., 1950. С. 87–123; кратко: Ученые земледельцы древней Италии / Пер. с лат., примеч. и введение М. Сергеенко. Л., 1970. С. 10–11. Тем, кто хочет понять принцип композиции «Записей и выписок»,

стоит посмотреть характеристику композиции Катонова «Земледелия».
2 Немецкий ученый еврейского происхождения Г.Ф.Френкель, один из лучших классиков в своем поколении, сын классика и археолога Макса Френкеля, эмигрировал в США, работал в Стэнфорде, прославился книгой: Dichtung und Philosophie des frühen Griechentums; eine Geschichte der Griechischen Literatur von Homer bis Pindar. N.Y., 1951; и еще более сборником трудов: Wege und Formen frühgriechischen Denkens: literarische und philosophiegeschichtliche Studien / Hrsg. von Franz Tietze. München, 1955, — где объяснял непонятную современному человеку композицию словесного произведения архаичными представлениями греков о времени.
3 Ср.: Записи и выписки. С. 407.
4 Деятельной жизни.
5 Созерцательной жизни.

Б22
[3 ноября 1988 года, Москва, от руки]

Дорогая Нина Владимировна,

у Тынянова Грибоедов говорит кому-то, у кого жена рожает: «ты скажи ей: все мои желания сбываются! никому легче, чем ей, не рожать». Мне хочется сказать Вам что-нибудь подобное: может быть, тревога моя была не о Вашем прошлом, а о Вашем будущем*. Как перевернется Ваша жизнь в ближайшее время, представляю по опыту: дай Вам бог сил телесных и душевных. Когда сын (или дочь) будут взрослеть, то этих сил Вам понадобится вдвадцатеро; но пока об этом можно не думать. А минувший год — он уже в истории, оставим его ей. «Душою с Вами», как пишут в плохих письмах; если смогу быть полезен чем-нибудь, кроме души, — скажите. Диме желаю того же, что и Вы. А про Вашу статью к осени 1989 в наш сборник о происхождении пентаметра — оставить ли нам всякую надежду или сохранить искорку? Не тратьте доро-

* зная меня, Вы поверите, что я ни о чем подобном не знал и не догадывался[1].

гих сил на ответы, но каждому Вашему слову я всегда буду счастлив.

Всегда Ваш М.Г.

3.11.88

P.S. Сейчас Смирин позвонил Оле Левинской и передал мне, что у Вас родился сын еще вчера. Поздравляю Вас с минованием главного — надеюсь, что обошлось без осложнений — и пусть обходится и дальше! Поправляйтесь, прошу Вас. Ваш М.Г.

1 В письме от 22 октября М.Л. писал: «Все эти полгода я испытывал постоянную и необъяснимую тревогу о Вас (или за Вас), и она не прекращается, — а ведь интуиции я лишен». Я около полугода не видела М.Л., он не знал, что я жду ребенка; мой сын родился 1 ноября.

Б23
[7 июня 1989 года, Москва, от руки]

7.6.89. Нина Владимировна, дорогая, ради бога не беспокойтесь обо мне. Хотя бы чтобы ни капли этого беспокойства не просочилось в молоко, которым Вы кормите Андрея. Я так счастлив, что Вы счастливы, — что уже этим свеиваются любые собственные неприятности. И преклоняюсь перед Вашей готовностью за счастье быть над этим младенчеством — принять все те юности, которые «возмездие». Меня во многом гложет именно то, что я не смог сделать своих детей хорошими — не говорю даже счастливыми — людьми. А в остальном не Вы плохо поняли мои две строчки, а я их плохо написал. Наверное, про свою пустоту я сказал неправильно[1]. Я чувствую в себе свою обычную способность: быть посредником, проводом, переводчиком, объяснителем. Случилось так, что номер ВФ с Вашим Голосовкером[2] я увидел накануне Вашей бандероли, и обрадовался, и позавидовал. Именно такая работа и мне сейчас нужна: я ее делаю. В «Октябре» № 5 только что вышла маленькая подборка

Меркурьевой[3] (на днях получу несколько экземпляров и пришлю, если Вы не подписаны), и сейчас я должен сделать большую, на 4 листа (включая мой текст), но — за полторы недели, а разве это серьезно?[4] Сам виноват: слишком много посредничеств включаю я на свой провод, и от этого временами перегораю. То самое, что Вам, как Вы пишете, несвойственно — безвольно делать то, что просят или чего требуют, — мне было свойственно всегда, от этого и захлебнулся. А о Вашей полноте слов назад не беру — Вы ведь сами ею сейчас счастливы. Я же за последние 4 года если чему и научился, то держаться на плаву мыслями о нескольких хороших людях (почти со всеми — на «Вы»), свет которых мне посчастливилось встретить — Вы знаете, это и о Вас едва ли не в первую очередь. Когда я положил трубку телефона, то смутился — мне показалось, что я по бессвязности мог показаться пьяным, а это только от радости. Вот и не беспокойтесь обо мне (и, конечно, не тратьте сил на ответ), а еще некоторое время буду думать, что Вам хорошо. Поклонитесь от меня сыну и Диме. Целую Ваши руки.

Неизменно Ваш М.Г.

1 Я негодовала на стихи М.Л., присланные мне «К идам мая»: «Как пустота полноту, как путника крик из-под камня, / Просит Вас жить и быть неисповеданный друг».

2 *Голосовкер Я.Э.* Миф моей жизни. Интересное: [Публикация] // Вопросы философии. 1989. № 2. С. 110–142; *Брагинская Н.В.* Слово о Голосовкере: [Предисловие к публикации] // Там же. С. 106–110.

3 Вера Меркурьева. Кассандра [статья, публ.] // Октябрь. 1989. № 5. С. 149–159.

4 Вероятно, за полторы недели было и впрямь не успеть. Большая подборка Меркурьевой вышла несколько лет спустя: Вера Меркурьева (1876–1943): Стихи и жизнь // Лица. СПб., 1994. Вып. 5. С. 5–97.

Б24
[5 января 1990 года, Москва, от руки]

5.1.90. Дорогая Нина Владимировна, под Новый Год мне пришлось для одного справочника по Нобелевским премиям писать заметку о Моммзене[1], и я прочитал в одной книге заключительный параграф его завещания, который произвел на меня впечатление. Он просит родных препятствовать появлению его биографий и во всяком случае не давать для них материалов. «При всех видимых моих успехах я не добился в жизни того, что нужно. Внешние обстоятельства заставили меня быть среди историков и филологов, хотя и мое образование и, вероятно, мои способности к этим наукам были недостаточны <NB по образованию он был doctor juris>, и чувство малости сделанного мною не покидало меня всю жизнь». Далее приблизительно: кроме того, всем своим самым внутренним и, может быть, самым лучшим, я хотел быть гражданином, а в том народе, к которому я принадлежу, можно быть только служащим. Людям об этом незачем знать. «Пусть читают мои книги, пока они нужны, а каким я был или должен был быть, это их не касается»[2]. Мне захотелось поделиться прочитанным, и вдруг оказалось, что не с кем, как с Вами[3]. Простите, если докучливо. Доброго Вам здоровья, а Диме и сыну низкий поклон.

Весь Ваш М.Г.

1 Т. Моммзен получил Нобелевскую премию по литературе в 1902 г. за «Римскую историю». Он был предпочтен Льву Толстому. Заметка о Моммзене под названием «Поэзия истории» (подозрительно напоминает «Лирику науки», см. письмо Б10 от 29 июля 1985 г. и наше примеч.) помещена в альманахе «Круг чтения» 1992 (М., 1992. С. 124–125).

2 Ср.: Записи и выписки. С. 375–376.

3 Спустя две недели М.Л. поделился прочитанным и с Марией-Луизой Ботт (письмо от 18 января 1990 г.). Еще до знакомства с корпусом писем, адресованных М.-Л. Ботт, на вечере памяти М.Л. в Цветаевском центре (8 декабря 2005 г.) я комментировала письмо о Моммзене так: «М.Л. вел большую переписку. Многое

постепенно будет публиковаться, и мы увидим, я уверена, что М.Л. всегда старался написать так, чтобы письмо согревало душу адресата небольшим комплиментом, принятием проблем собеседника как очень хорошо знакомых по собственному опыту и помещением адресата в рамку особости и исключительности».

Б25
[Начало 1990 года, Москва, машинопись]

Дорогая Нина Владимировна, Ваши тезисы я получил на утро после телефонного разговора, верну при встрече[1]. Вчуже думаю, что это было самое умное, что было (или могло быть? я не помню, выступали ли Вы вслух) на конференции. Конечно, Вы правы, для меня идея периодизации (хотя бы по поколениям) ближе, чем для Вас: это потому, что мое усвоение любого материала (часто из вторых рук) сводится к его более компактной и удобной для запоминания переупаковке, после чего я иногда слышу «это оригинально!», хотя знаю, что к генерированию идей я неспособен[2]. Но общее у меня с Вами — недоверие ко «всякому не мной установленному» порядку. Когда я был в 7 классе, я составил полторы тетрадки конспекта 4-х толстых томов средней истории (до XVI в.; дальше и теперь путаюсь), пользуюсь им до сих пор и уже там вижу свои задатки переупаковщика. Весь иллюстративный материал я очень живо представляю: одна коллекция Тойнби чего стоит! Давайте, когда обозлимся, сочиним вместе новую периодизацию прямо с потолка — ну, скажем, по периодам в 317 лет, которые когда-то нравились Велимиру Хлебникову. Потом он перешел на другую систему, рассчитал по ней закономерность мировой революции; хлебниковед В.П. Григорьев (чудесный человек) продолжил эти подсчеты, получилось, что следующий оптимум условий мировой революции пришелся на Карибский кризис при Хрущеве, а до следующего мы уже не доживем. А помните фразу, открывающую

статью Поляковой в сб. «Византийский сатирич. диалог»: «Византийская культура никогда не достигла истинной медиевальности»? Она достойна апокрифической реплики из неизвестной исторической пьесы: «Мы, люди средних веков...»[3] У одного турецкого поэта было четверостишие (названия зверей помню приблизительно): «Гиппотерий был предок лошади. Мегатерий — предок слона. Мы — предки людей. Предки настоящих людей». Показывал ли я вам молитву, которой Тойнби в 1952 (кажется) году закончил свой 10-томник?[4] Это квинт-эссенция XIX века, но меня неисправимо трогает.

1 Речь шла о неопубликованных тезисах, посвященных идее периодизации как раздела научной «мифологии» (позже опубликовано как статья: Идея периодизации: миф–наука–учебник. Фельетон на теоретическую тему // Одиссей 1998: Человек в истории. Личность и общество: проблемы самоидентификации. М., 1999. С. 255–264).

2 Ср.: Записи и выписки. С. 313.

3 «Византия ведь ни в одном из жанров своей литературы не достигла подлинной медиевальности и только сделала первые шаги навстречу ей». Эти слова Софьи Викторовны Поляковой, ленинградского филолога-классика, переводчика и византиниста, не открывают статьи, а находятся на 13-й ее странице, завершая первую часть; см.: Византийский сатирический диалог / Изд. подгот. С.В. Полякова и И.В. Феленковская. Л., 1986. С. 141. Ср.: Записи и выписки. С. 263.

4 Тойнби, которого М.Л. перечитывал и на смертном одре, написал «A Study of History» в 12 томах, но тома 11 и 12 содержат вспомогательный материал и дополнения. Речь идет, по-видимому, о конце тома 10 (1954), в котором Тойнби поместил небывалое многостраничное перечисление благодарностей и признательностей людям и книгам начиная с Марка Аврелия, который научил его выражать благодарность своим благодетелям. Тойнби называет не только авторов, но и страницы книг, откуда он узнал особенно важные для него факты или мысли, он вспоминает также самых разных людей, включая мать, друзей и случайных встречных, которым он был обязан чем-то хорошим как интеллектуально, так и нравственно. Масштаб признательной памяти, тща-

тельность, с которой Тойнби помнил и перечислял все хорошее, превращает традиционные aknowledgements в подлинную благодарственную молитву.

Б26
[8 мая 1990 года, Москва]

Дорогая Нина Владимировна,

от всей души — хорошего Вам нового года[1]. Вот книжка, о которой я позволил себе предположить, что что-то в ней может быть Вам интересно. Для меня ключ к ней на стр. 211–212[2]. Не сердитесь на меня, если придется некстати. И пусть за мной будет еще худлитовская «Римская сатира», если Маркович не обеспечила Вас еще этим сборником.

Поругайте меня на счастье — перехожу из ИМЛИ в Ин-т русского языка, в сектор Григорьева, по стилистике и языку худож. литературы. Прослужил в ИМЛИ ровно 30 лет и 3 года. Совесть больше не позволяет состоять при античности после того, как я по ней так дисквалифицировался[3]. Чувствую, что на новом месте будет не лучше, а потом, может быть, и хуже, но мне вроде бы нужно за что-то наказать себя. Вот напишу за две недели два листа, уже третий год, как просроченные, спрячусь обычным образом в больницу и буду между переводами и статьями соображать, за что же именно.

Мне перед Вами совестнее, чем перед Олей Седаковой, оказывается: я ей послал тартускую газету с моим интервью (и стихотворением!!![4]), а Вам — рука не поднимается. Но если посмотрите и что-нибудь скажете — с робостью приму.

Спасибо Вам. Будьте благополучны, и с сыном, и с Димой!

8.5.90

Всегда Ваш М.Г.

Составитель написал мне на этой книге: «М.Г., единственному мною встреченному, кто любил С.Д. Крж. без моей подсказки»[5], поэтому я чувствую себя как бы вправе дарить ее. В «Октябре» № 3 была моя на нее рецензия[6].

1 Судя по дате, подтверждаемой содержанием письма, в котором упоминаются переход в Институт русского языка (33 года отсчитываются от лета 1957 г., когда М.Л. пришел работать в ИМЛИ), мартовское интервью в тартуской газете и мартовский же номер журнала «Октябрь», М.Л. имеет в виду не календарный новый год, а новый год жизни адресата: письмо написано незадолго до моего дня рождения.

2 *Кржижановский С.* Воспоминания о будущем. М., 1989. На указанных страницах 12-й «шов» «Метафизика без бутерброда». Она вся о боли. А начинаются «Швы» так: «Всем дано забыть. Одному не дано — забытому. Это во мне давно: от виска к виску. Знаю: выключен из всех глаз; из всех памятей; скоро даже стекла и лужи перестанут отражать меня: я не нужен им. Меня нет — настолько, что никто даже не сказал и не скажет обо мне: нет». Потом автор пишет о том, как его не замечают прохожие и только на окраинном кладбище «я вижу слова, зовущие меня: „Прохожий“ и „Остановись“. И я останавливаюсь, иной раз даже присаживаюсь у креста и решетки и беседую с теми, которые не отвечают. В сущности мы одинаковые — и они и я» (с. 190–191). Ср. выше дистих про крик из-под камня (письмо Б23, примеч. 1).

3 Ср.: Записи и выписки. С. 312.

4 Интервью называется: «Я не имел намерения переводить Ариосто... я хотел его просто прочитать». Опубликовано: Alma mater: Студенческая газета. Тарту, 1990. № 2, — как и стихотворение «Калигула», помещенное также в «Записях и выписках» (с. 377).

5 Вадим Гершевич Перельмутер, составитель первых книг Кржижановского, изданных в период «перестройки» — спустя четыре десятилетия после смерти писателя.

6 Мир Сигизмунда Кржижановского (*Кржижановский С.* Воспоминания о будущем. М., 1989) // Октябрь. 1990. № 3. С. 201–203.

Б27
[28 августа 1990 года, Москва, от руки]

28.8.90. Дорогая Нина Владимировна,

это смешно, но мне хочется поблагодарить Вас за то, что Вы мне приснились. Обычно я снов не вижу (хоть и собирался изучать их сюжетосложение), а тут ко мне залетел сон

прямо по Андрею Белому[1]. У меня раскрылась грудь, и в нее с небес сошла одним концом радуга: и я знал, что ее лучи — это добрые ко мне отношения лиц, которыми я дорожу. Я старался разглядеть в высоте их лица, но это было очень трудно, потому что лучи, как спицы, быстро менялись местами, словно тасуясь. Но Вас я успел увидеть. Потом, уже просыпаясь, я силился довообразить, кто там был, хотя бы до семи цветов радуги, — но нет, семерых на мою жизнь не нашлось. Этот сон не должен Вас обижать — ни следа вожделения в нем не было, это я чувствовал достоверно. Но до него мне было очень нехорошо (дела мои сгромоздились в такие долги, что по офицерскому этикету мне пора бы уже стреляться), а после него стало полегче. Вот я и решился написать Вам это письмо в надежде, что Вы мне его простите. Пусть у Вас, сына и Димы все будет хорошо, насколько мыслимо в этой жизни, и верьте в самые добрые к Вам чувства Вашего

М. Гаспарова.

1 В третьей главе «Петербурга» в главке «Второе пространство сенатора» говорится о том, как раскрывается темя Аполлона Аполлоновича Аблеухова и из него открывается «коридор в неизмеримость».

Б28

[4 сентября 1990 года, Москва, машинопись]

Дорогая Нина Владимировна,

на этот раз пишу Вам волею Аверинцева, который сегодня, видимо, до Вас не дозвонился, а завтра уезжает с Наташей в просветительский круиз по Средиземному морю (программа «Истоки»). Сказал он мне следующее; стараюсь передать ближе к тексту.

Сегодня он говорил с Ф.Ф. Кузнецовым[1] о том, что сектор нуждается в пополнении свежими силами, а именно (в порядке желательности), Вами, Ол. Нестеровой[2] или некоторым По-

ляковым[3], которому он оппонировал по Плутарху. «И» или «и/или», я с его слов не понял. Директор не заставил себя уговаривать, не выразил даже (к его, аверинцевскому, удивлению) удивления насчет того, что человек без степени предлагается на должность старшего научного сотрудника, — и обещал объявить положенным образом конкурс. По-видимому — после того, как Аверинцев вернется в середине октября.

Далее, сказал он, в МГУ на кафедре культуры (которая как-то повысилась в определенности существования — кажется, перестала зваться «филиальною») продолжается борьба за официальное открытие лаборатории по изучению мировой культуры, начальником которой должен быть он, Аверинцев. Если это увенчается успехом, то он уйдет из ИМЛИ и будет работать только там. Там тоже поданы списки желаемых сотрудников, и в них давно числитесь Вы.

Таким образом, сказал он, перед Вами два зайца, и он, вопреки пословице, посоветовал бы гнаться за обоими. Все-таки пословица имеет в виду реальных зайцев, а тут то ли один, то ли оба зайца — мнимые, и пословица к такому случаю неприложима. Лаборатория пока не существует ни де юре, ни де факто, а сектор существует де юре и вряд ли существует де факто. (Продолжаю от себя). Гасан за границей[4], бедная Попова[5] доживает последний предпенсионный год, Рубцова[6] открытыми словами сказала по телефону Журенко[7], что вот теперь, когда Гаспаров ушел, она уж свое возьмет, Григорьева отключилась от мира и переписывает свою монографию про Платона[8], Журенко находится в смятении чувств, но, кажется, науку бросать не собирается (как хотела было) — я с нею на днях разговаривал. О кафедре и лаборатории не знаю ничего; я дочитаю там курс по истории русской поэзии (это года на два) и уйду: читать лекции мне не по силам. Надеюсь, что к тому времени кафедра достаточно крепко встанет на ноги и мое дезертирство ее не подорвет, как (уверяет Валерий[9]) подорвало бы сейчас.

Я не решаюсь добавлять к этому какие-нибудь советы от себя, Вашему внутреннему голосу и здравому разуму я верю больше, чем своим. Как всегда, повторяю молитву Сократа:

пусть боги пошлют Вам лучшее, хотя бы Вы о том не просили, и не посылают худшего, хотя бы Вы о том просили. Всем, что есть во мне человеческого, я хочу, чтобы Вам жилось получше и полегче (боюсь, что это разные вещи), — но Вы и так это знаете.

Я сейчас, несмотря на радужное осенение[10], в плохом виде, малоработоспособен, но не хотел бы утомлять Вас своими жалобами; буду держаться за Ваш луч. В ближайшие месяцы мне предстоят две каторги: во-первых, участие в круизе общества «Мир культуры» (в котором я состою)[11] от Одессы до Рима (оттуда с полдороги возвращаюсь) с международными конференциями на борту на непонятные мне темы, в каждой из которых есть все более пугающее меня слово «культура»; и, во-вторых, командировка в Америку с делегацией на пастернаковскую конференцию[12], потом без делегации на конференцию по поэтике и с докладами к славистам двух-трех университетов. Вы можете поверить, что ноги моей не было бы ни там, ни там, если бы в первом случае Але[13] не хотелось повидать Средиземное море, а во втором мне не хотелось бы встретиться со старой подругой, лбом пробивающей в Америке научную поэтику[14], и с еще более старым (без году 80 лет) коллегой по стиховедению и мандельштамоведению, которого я люблю и больше, вероятно, не увижу[15]. Постараюсь проездить, внутренне зажмурившись; но Вы, пожалуйста, помяните меня незлым тихим словом в третью неделю сентября и вторую половину октября.

Простите за такой затянувшийся довесок к аверинцевскому сообщению. До 14 сентября и между 25 сентября и 11 октября я в Москве, и низко кланяюсь Диме и сыну.

4.9.90, вечером. Преданный Вам М. Гаспаров

1 В это время С.С. Аверинцев говорил с директором ИМЛИ Ф.Ф. Кузнецовым не только как заведующий и ученый с мировым именем, но и как депутат Верховного Совета. В 1990 г. и особенно после путча 1991-го настал краткий период, когда самые густопсовые начальники, проявив свой главный навык — умение держать нос по ветру, — развернулись в небывалом ни до, ни после направлении.

2 О.Е. Нестерова, автор книг и статей об Оригене, Августине и др., работает в ИМЛИ.
3 А.Н. Поляков, окончил МГУ в 1982 г., работает в Университете дружбы народов по своей специальности.
4 Г.Ч. Гусейнов, работал в ИМЛИ, классической филологией, переехав в Германию, вплоть до недавнего времени не занимался.
5 Т.В. Попова, окончила МГУ в 1958 г., в ИМЛИ занималась византийской литературой.
6 Н.А. Рубцова, работала в ИМЛИ, классическую филологию оставила.
7 Н.Б. Журенко окончила факультет журналистики, работала с 70-х в секторе античной литературы ИМЛИ, классическую филологию оставила.
8 Н.И. Григорьева, работала в ИМЛИ, защитила философскую диссертацию о Платоне, из России уехала в начале 1990-х, классическую филологию оставила.
9 В.Я. Саврей, тогда студент классического отделения, переведенный в 1988/89 г. на философский факультет и по обстоятельствам революционного времени ставший там, несмотря па свой студенческий статус, практическим организатором кафедры и научного центра истории и теории мировой культуры, существующих по сей день. На этой кафедре я работала с осени 1991 по весну 1993 г.
10 Под «радужным осенением» имеется в виду избрание членом-корреспондентом АН СССР.
11 Общество «Мир культуры», по-видимому, в настоящее время более не существует.
12 Речь идет о конференции к 100-летию Пастернака (Стэнфорд, октябрь 1990 г.).
13 А.М. Зотова.
14 М.Г. Тарлинская.
15 К.Ф. Тарановский.

Б29

[21 декабря 1990 года, Москва, от руки]

21.12.90. Дорогая Нина Владимировна,

я спросил Олю Седакову: «Как Нина?» — ответила: «когда я ее видела, кажется, была радостна». — «Благодаря сыну?» — «Кажется, да». Позвольте пожелать Вам того же и в Новом году — кажется, это единственное доброе пожелание, которое можно высказать, не впадая в злую иронию. У меня кончающийся год был неудачлив, несмотря на бегство в Ин-т

рус. языка и на поездку к американским коллегам. В первые месяцы — неожиданная «выручательная» работа на сторону, в средние — доделка двух старых научно-популярных книг, в конце скопилось столько несделанных плановых работ, что уже не плакать, а смеяться хочется — как в анекдоте о сиракузских налогах[1]. А главное, наверно, другое. Рахманинов говорил: «я на 85% музыкант, на 15% человек»[2]; я, казалось мне, тоже мог бы сказать: «я на 85% ученый...»; но в последние годы этот процент ученого во мне начинает быстро сокращаться, а процент человека (надеюсь) расширяться, но гораздо медленнее: в зазоре остается душевный вакуум, и от него очень неприятно[3]. В «Комс. правде» написано, что в Чите явилось общество «За выживание» — в поддержку бедствующей советской медицине: я предлагал расширить смысл заглавия и вступать туда поголовно[4].

Будьте только здоровы, Нина Владимировна, а Диме и сыну — поклоны.

Неизменно Ваш М.Г.

1 «Дионисий наложил на сиракузян побор; они плакались, взывая к нему, и уверяли, что у них ничего нет. Видя это, он приказал взять с них и второй побор и третий. Но когда, потребовав еще большего, он услышал, что сиракузяне над ним смеются и издеваются у всех на виду, то распорядился прекратить побор: „Коли мы им уже смешны, — сказал он, — стало быть, у них уже впрямь ничего больше пет“» (*Плутарх.* Изречения царей и полководцев, 20.5 (175 E); пер. М. Гаспарова).

2 Слова С. Рахманинова приводятся в воспоминаниях: *Добужинский М.В.* [Воспоминания о С.В. Рахманинове] // Памяти Рахманинова. N.Y., 1946. С. 177–178.

3 Вариант этого фрагмента вошел в «Записи и выписки» (с. 229), по там оп жестче и пессимистичней: «...процент человека пе нарастает». А в письме к М.-Л. Ботт (14 декабря 1998 г.) — новый вариант: хотя в целом «человека» больше не стало, по во время короткой встречи в Париже с Марией-Луизой «я чувствовал себя человеком больше, чем па 15%, — а это со мной бывает очень редко».

4 Ср.: Записи и выписки. С. 130; газета была от 15 декабря 1990 г.

Б30
[1992 год, Москва, машинопись]

Дорогая Нина Владимировна,

помните, когда-то я Вам что-то написал, а Вы ответили: «Вы меня, должно быть, спутали с Олей Седаковой[1]: я не религиозный человек, а скорее агностик»? Теперь вдруг и я оказался в таком положении: в «Лит. газете» 17.6. в большой статье И. Золотусского против нигилистов от культуры[2] я прочитал, что были все-таки и светлые пятна: «книги А. Лосева, С. Аверинцева, М. Гаспарова, П. Гайденко, С. Семеновой помогли восстановлению религиозного идеала русской литературы и философии». Вот в какой я оказался компании. Думаю, что П. Гайденко от соседства с С. Семеновой тоже испытывает похожие чувства.

Отзыв мой оказался на страницу длиннее прошлого: отчасти оттого, что поля больше, а отчасти от моей бездарности. Простите за все глупости, которые там прибавились[3].

А еще в том же номере «Лит. газеты» в большой статье Марины Новиковой, доктора филологических наук (так и написано), слово «анамнез» употреблено явно в значении «амнезия»[4]. Давайте жить дальше!

Ваш М.Г.

1 М.Л. «путал» нас не раз. Так, в печати мне была высказана однажды благодарность за подсказку не мою, а Ольги Седаковой, были, кажется, и обратные случаи.

2 *Золотусский И.* Наши нигилисты // Литературная газета. 1992, 17 июня. № 25. С. 4.

3 Речь идет об отзыве на мою диссертацию. Она защищалась сперва как кандидатская, но была квалифицирована как докторская и защищалась еще раз уже как докторская. Поэтому М.Л. писал разные отзывы оппонента для двух защит с интервалом в полгода.

4 *Новикова М.* Есть многое на свете, друг Горацио... О популярных моделях национального развития // Литературная газета. 1992, 17 июня. № 25. С. 7. Ср.: Записи и выписки. С. 221.

Б31
[16 февраля 1993 года, Лос-Анджелес, от руки]

Дорогая Нина Владимировна,

мы с Вами увидимся или хотя бы услышимся в Москве, но мне хочется оставить Вам это письмо[1], чтобы оно было как будто знакомым приветом на незнакомом месте. Спасибо Вам еще раз за новогоднее письмо через Иванова[2]. Вы не можете себе представить, как оно меня тронуло. Почти так же, как много лет назад, когда Вы мне прислали письмо, начинавшееся «Пользуясь новогодней лиценцией...», которого я век не забуду. Жил я здесь без всякой связи с Москвой, кроме ежедвухнедельных звонков домой; никаких чувств не испытывал, вертел свое беличье колесо и о своем полушарии не думал; и Ваше письмо, такое добровольное и неожиданное, было радостью большей, чем от кого-нибудь. Наверное, к тому времени, когда Вы будете читать это письмо от меня, Вы уже будете услышавши от меня, что свои полгода здесь я отбыл исправно, по сторонам не смотрел, сидел в библиотеках, в поте лица читал лекции и даже слышал добрые слова, потому что американцы люди вежливые; иногда от этого мне даже казалось, что я, как тот дядя, уважать себя заставил и лучше выдумать не мог. На добрых людей мне везло, и в частности на Нину Перлину; я ведь ее знал еще хуже, чем Вы, и боялся, как боюсь всякого нового человека, а оказалось — совсем не страшная и очень хорошая. Завидую Вам, что Вы здесь будете с английским языком: я так и прожил, как приехал, — говорил ломано, а со слуха не понимал ничего. Можно было попривыкать к языку целенаправленно, но я был так убежден, что я здесь по недоразумению, больше сюда не попаду и язык мне не понадобится, что вместо этого я сидел в библиотеках и делал ксероксы с малодоступных статей. А бывалые люди говорили: «ничего, мы в первый приезд тоже такими были». Мне очень хотелось написать это письмо, как полагалось по римскому этикету, с точки зрения читающего: не «я пишу», а «я писал»; но не получилось. А античников

здешних не бойтесь: им даже мой старый доклад о симметрии и незаконченности Геродота[3] показался интересным, а уж Ваш-то! Только рассказывайте попроще, а то не поймут. Будьте благополучны, Нина Владимировна, на всю Америку и на всё потом, и если это Ваши добрые чувства издали мне помогали здесь существовать, то и мои Вам помогут. Целую Ваши руки.

Ваш М.Г.

А Нине Моисеевне от меня передайте еще один поклон.

16.2.93.

1 Письмо дожидалось меня у профессора университета Индианы в Блумингтоне Нины Моисеевны Перлиной, в чьем доме М.Л. жил месяца за полтора до моего там появления.

2 Письмо было послано на адрес Вяч. Вс. Иванова в Калифорнийском университете в Лос-Анджелесе, куда был приглашен М.Л.

3 См.: *Гаспаров М.Л.* Неполнота и симметрия в «Истории» Геродота // ВДИ. 1989. № 2. С. 117–122; то же: Избранные труды. Т. I. С. 483–489.

Б32

[11 января 1996 года, Москва, от руки]

Дорогая Нина Владимировна,

спасибо Вам за статью[1]. Я хотел послать Вам аллегорическую картинку, которая стоит у меня возле стола, но не мог найти ксерокса. Картинка — из очень старой детской раскраски. Берег речки, удят рыбу зайчик и мишка. Зайчик закинул удочку и тянет рыбку из реки, а мишка закинул удочку и тянет рыбку из ведерка у зайца. И у обоих на лицах блаженство. Я объясняю: зайчик — это я, когда занимаюсь стиховедением, а мишка — это я, когда занимаюсь античностью. Мне кажется, об этой картинке я Вам не рассказывал, но положение мое Вы описали замечательно точно[2]. И не только здесь. Мне очень дорого было видеть, как Вы запомнили некоторые мотивы из наших с Вами разговоров и переписок (я и сам

храню их в памяти), но вместе с ними Вы упоминаете и такие, которых я не называл, но о которых думал. Такое внимание и, главное, такое понимание — это больше, чем счастье. Как мне повезло быть Вашим современником, я знал всегда. (Ну, может быть, не с того первого раза, когда прочитал статью про эон[3], но уж с того второго, когда Вы встали кого-то оспаривать на беспорядочной конференции в институте информатики[4]). Но сейчас от вашей статьи у меня чувство, что (выражаясь ненаучно) теперь я уверен, что в мире ином мы с Вами друг друга узнаем. Мир иной, вероятно, я представляю себе вроде птичьего рая из элегии Овидия на смерть попугая[5] (переоборудованного для филологов), но это уже неважно.

На стр. 89 Вы пишете: «А Ярхо мог иметь в виду (и я тогда ему вслед)...» Ярхо, точно, имеет в виду именно это: «Никакого научного познания (в отличие от ненаучного) не существует: при открытии наиболее достоверных научных положений интуиция, фантазия, эмоциональный тонус играют огромную роль наряду с интеллектом. Наука же есть рационализированное изложение познанного, логически оформленное описание той части мира, которую нам удалось осознать, т.е. наука — особая форма сообщения (изложения), а не познания» («Контекст-1983», с. 205; у меня это место заложено Вашей открыткой со словами «помимо всех понятных чувств, которые вызывает этот текст и его давно покойный автор, остается еще что-то не совсем понятное — м.б. это называется „трогательным“?»). Вчера я в ИВГИ[6] заполнял сумасшедшие анкеты (как и Вы), где был вопрос: «считаете ли Вы себя принадлежащим к какой-то научной школе?» Я написал: «нет». «Кого Вы считаете своими учителями?» Я написал: «заочно, загробно: Б.И. Ярхо»[7]. Простите за такой цветаевский стиль.

Спасибо за оттиски Фрейденберг[8]. Я читал это, когда это было опубликовано (не помню, где), и радовался. Сейчас я перечитал, уже не второпях, Ваше предисловие и еще больше обрадовался его глубине и нужности. Всей душой желаю Вам сил сделать как можно больше. А в остальном — давай-

те в Новый год пожелаем друг другу, как Сократ: пусть боги пошлют нам все к лучшему, хотя бы мы о том не просили, и не посылают ничего к худшему, хотя бы мы о том просили. И нашим ближним тоже.

Целую ваши руки.

Бесконечно Ваш М.Г.

11.1.96

1 *Брагинская Н.В.* Академик Михаил Леонович Гаспаров (к 60-летию со дня рождения) // Известия РАН. Сер. лит. и яз. 1995. Т. 54, № 4. С. 86–91.

2 На самом деле М.Л. писал мне об этой картинке в письме Б6 (см. подробнее примеч. 1 к нему).

3 См. письмо Б1, примеч. 2.

4 Конференция проходила в институте Информэлектро (в 1977 или 1978 г.), где тогда служили опальные лингвисты-структуралисты. Как вспоминается сейчас, там был, хоть и «в беспорядке», весь цвет отечественной филологии и истории культуры: Ю.М. Лотман, Е.М. Мелетинский, Б.А. Успенский, А.Я. Гуревич, А.К. Жолковский, М.Л Гаспаров и Б.М. Гаспаров, Н.И. Толстой и др.

5 Любовные элегии II, 6, 49–62.

6 Институт высших гуманитарных исследований РГГУ, где М.Л. работал с 1992 г. и до смерти. Анкеты предлагалось заполнять для науковедческих исследований.

7 Ср.: Записи и выписки. С. 338, где добавлено: «В следующий раз напишу Аристотель». Это добавка из разговора: я сказала, что если загробно-заочно, то написала бы Фрейденберг и Аристотеля. Вздохнул-улыбнулся и сказал на выдохе: «В следующий раз напишу Аристотеля».

8 *Фрейденберг О.М.* О неподвижных сюжетах и бродячих теоретиках [Публикация, с. 272–289 и комментарий, с. 289–297] // Одиссей. Человек в истории. Т. 7. М., 1995. С. 272–297; моя статья: Siste viator! [Предисл. к докл. О.М. Фрейденберг «О неподвижных сюжетах и бродячих теоретиках»] // Там же. С. 244–271; публикация в первом Лотмановском сборнике: *Фрейденберг О.М.* Paraklausi/quron. Этюды по семантологии литературных форм; Паллиата: главы из монографии // Лотмановский сборник. Вып. 1. М., 1995. С. 704–713 и 714–718 — с моими предисловием «De Vita memoriae» (с. 701–703) и сопроводительной статьей «Песнь горизонта» (с. 719–731).

Б33
[1997 год, Москва, компьютерный набор]

Дорогая Нина Владимировна,

я купил книгу Гилилова[1], прочитать подряд не смог, пролистал по разным местам, по существу судить не имею права, но задумался о вариантах психологии иконоборства. У Гилилова ее механизм откровенен: Шекспиру поставлены памятники, а я терпеть не могу «бронзы многопудья», так я ж докажу, что все эти памятники — не тому и по недоразумению. У меня эта психология — с другим механизмом: по классовому воспитанию моего возраста мне неприятно думать, будто писать хорошие драмы мог только лорд и не мог плебей, и я предпочитаю плебея. Оба варианта — не лучшие. Гораздо лучший был у Льва Толстого, который спросил: а чего хорошего в этих самых ваших драмах? — и стал доказывать их ничтожество совершенно неубедительно, но зато и неопровержимо. Гилилов же поминает драмы Великого Барда с таким ахающим умилением, что весь интерес его иконоборства утрачивается[2]. У него Ратленд с Ратлендшей творят сразу для вечности, т.е. для нас, и не для каких-нибудь нас, а для нынешних, постмодернистских, для которых мир — игра итд. А так как у меня априорная уверенность, что писатели прошлого, даже прямо рассчитывавшие на вечность (вроде Горация), писали для кого угодно, только не для нас, то меня Гилиловский подход расхолаживает. У Аксенова Шекспир (и прочие) выглядел театральным работягой-практиком, и это нравилось мне больше[3]. Мне случилось на днях говорить по телефону со Смириным, я стал ему излагать эти рассуждения об иконоборчестве и еще не дошел до Льва Толстого, как он сам решительно сказал: «Шекспир был мастером коммерческого кинематографа, вот и все!» — после чего я и сам задумался: а впрямь, больше ли у Шекспира пресловутой учености, чем у сценариста, писавшего Де Миллю «Частную жизнь Генриха VIII»? и не нам ли, античникам, помнить, сколько всего писатели берут из

третьих рук и третьих уст? — итд. — Я сказал, что предпочитаю Шекспира-плебея из-за моего классового воспитания; не настаиваю на этой мотивировке, потому что у других то же воспитание вызывало, наоборот, лютое отталкивание — может быть, и у Гилилова. Так Олжас Сулейменов из ненависти к школьным учебникам выдумал, что «Слово о полку Игореве» — это перевод с половецкого (если не путаю)[4]. А Николай Морозов и за ним Фоменко отменили мировую историю[5]. (А античники, как всегда, были впереди: про наших предков-гиперкритиков мы все читали[6]). Логика же всюду была одна: в отрицательной части — «этого не может быть, потому что этого не может быть никогда», а в положительной части — нагромождение мелких атомарных наблюдений, бессмысленных вне структуры: точь в точь по привычкам атомистического позитивизма 19 века. (Я не пристрастен, мое доброе отношение к позитивизму вообще Вы знаете). — Всем этим я ничего не хочу сказать худого о Гилилове, я не шекспировед. Я хотел только лучше понять, почему ему приятнее думать так-то, а мне так-то.

Из конкретных же загадок для меня любопытнее всего фолио 1623 г.: это оно выделило 37 из нескольких сотен елизаветинских драм и преподнесло их потомству в золотой рамке. Какая литературная ситуация побудила актерскую компанию к этому изданию? Я нигде не мог узнать. Но когда мне говорят: это добрые друзья почтили десятилетие со дня смерти своего друга, — то я тоже не верю в такую прочность нежных чувств. И еще: если бы я был мистификатором, я работал бы в одиночку, а не коллективом, и тем более не брал бы для фиктивного автора фамилии живого человека, от которого интересанты в два счета все узнают в первом же кабаке. Боюсь, что личной практики мистификаторства у Гилилова мало.

Все равно, сердечное Вам спасибо за всё интересное. Пусть Вам будет хорошо, и Гамлету, сыну Рюрика[7], тоже.

Неизменно Ваш М.Г.

1 Книга (*Гилилов И.М.* Игра об Уильяме Шекспире, или Тайна Великого Феникса. М., 1997) посвящена проблеме авторства шекспировских произведений. Гилилов, в числе некоторых других исследователей, считает Роджера Мэннерса, графа Рэтланда, и его жену Елизавету главными авторами в коллективе мистификаторов, выступивших под именем Шекспира.

2 Не могу удержаться от комментария: М.Л. приписал «иконоборческий интерес» Гилилову безосновательно, взявши его из собственного вкусового репертуара. Гилилов, как и другие сторонники гипотезы Псевдо-Шекспира, не иконоборец, он поклоняется *другой* иконе.

3 Иван Александрович Аксенов издал сборник статей о Шекспире под таким названием, какие М.Л. нравились: «Гамлет и другие опыты, в содействие отечественной шекспирологии, в которых говорится о медвежьих травлях, о пиратских изданиях, о родовой мести, о счетных книгах мистера Генсло, о несостоятельности формального анализа, о золотой инфляции в царствование королевы Елисаветы, о тематическом анализе временной композиции, о переодевании пьес, о немецком романтизме, об огораживании земельной собственности, о жизни и смерти английского народного театра, о классовой сущности догмата о божественном предопределении, а также о многих иных любопытных и назидательных вещах» (М., 1930).

4 Речь идет о книге «Аз и Я», содержание которой М.Л. несколько упростил: автор считал, что Степь и Русь в дохристианские времена были культурно очень близки.

5 Академик математик А.Т. Фоменко, автор сенсационной «новой хронологии», следует за народовольцем Н.А. Морозовым, пришедшим во время многолетнего заточения в Шлиссельбургской крепости к мысли о сознательном искажающем удлинении хронологии историографами. См.: Записи и выписки. С. 179.

6 М.Л. имеет в виду господствовавшее в прошлом гиперкритическое направление в изучении древностей, в рамках которого было принято считать подложным практически любое свидетельство древних источников. Каждый отдельный гиперкритик «разоблачал» что-нибудь, но все вместе они отказывали в доверии всему корпусу древних источников, приближаясь тем самым к теории тотальной подделки.

7 Я переводила фрагмент «Истории датчан» Саксона Грамматика о прототипе принца Гамлета Амлете и сказала как-то М.Л.,

что *дедом* Амлета был Рёрик, предание о котором вошло в раннюю историю Руси, и мы посмеялись, что таким образом Гамлет становится «рюриковичем». См. об этом: Записи и выписки (с. 116), причем без ошибки, как здесь.

Б34
[3 ноября 2000 года, Москва, компьютерный набор]

Дорогая Нина Владимировна,

так ведь с анаграмм в прозе, кажется, и началось их изучение: помнится, религиозные тексты, с которыми работал Соссюр, были в значительной части прозаические[1]. Но я так и не собрался в свое время прочитать книгу Старобинского[2], поэтому могу ошибиться. Нарочитым случаем анаграммы можно считать акростих (акролог?) в прозе, когда, читая слова по первым буквам, вычитываешь какой-то новый текст; пример из фельетона Амфитеатрова цитируется в книжке «Русские стихи 1890–1925» в параграфе «акростих»[3]. Больше, пожалуй, мне с анаграммами в прозе встречаться не приходилось[4].

Мне очень совестно за печальные мысли и чувства, которые я Вам доставил — тем более, что сам я по гамме этих чувств так и не прошел, опасность моего положения обнаруживалась постепенно, и мне до сих пор не верится, что она была так велика. Самым неприятным было то, что несколько дней после операции мне не давали очков, уха и челюстей, то есть я был почти неконтактен и общающимся, по-видимому, казался идиотом. Поэтому некоторое время мне казалось, что я — это брикет мыслящего творога, неподвижно лежащий в коробочке на полочке, но в то же время я — претендент на итальянский престол в черном сюртуке, и между этими двумя ипостасями должна произойти очная ставка. По счастью, это длилось полдня, не больше.

Подводить жизненные итоги и жалеть о несделанном и недоговоренном мне, таким образом, не случилось. Но знаете, то ощущение, с которым я Вас храню в себе, — уверен-

ность, что есть человек, способный на общий язык с тобой, хотя бы разговоры были редкими и распечатывался бы этот язык не всегда мгновенно, — это тоже очень много для меня и помогает мне жить.

Спасибо Вам за сфинкса в музейной клетке[5]. Постараюсь поскорее заново научиться ходить по лестницам и таскать тяжести, чтобы снова быть у Вас под рукой. Ольге Александровне, пожалуйста, самый сердечный привет: «спасибо за сон»[6].

Неизменно Ваш М.Г.

3.11.2000

1 Имеются в виду работы Ф. де Соссюра, посвященные анаграммам имени воспеваемого божества в гимнах Ригведы. М.Л. действительно ошибается: это стихи.

2 Речь идет о книге историка литературы и критика женевской школы Жана Старобинского: *Starobinski J.* Les mots sous les mots: Les anagrammes de Ferdinand de Saussure. Paris, 1971.

3 Русские стихи 1890–1925-х годов в комментариях. М., 1993. С. 24.

4 Я писала о том, что мне видится анаграмма имени Левкиппа в первом пассаже романа «Левкиппа и Клитофонт» Ахилла Татия.

5 Я послала М.Л. понравившееся мне изображение сфинкса из музея в Дельфах, где побывала, и писала, что сфинксов надо видеть лицом к лицу и что в музее он один отрешен и не знает, что он экспонат.

6 В «Записях и выписках» есть целый раздел «Серия снов О. Седаковой» (с. 137–138). Записи своих снов Ольга Александровна передала М.Л. во время семинаров по поэтике, которые проходили в конце 70-х годов дома у А.К. Жолковского. «Я рассказала ему однажды по свежим следам сон про Пушкина, Кольриджа и Вордсворта. Он спросил: а еще у Вас такие есть? И уговорил записать. Он сказал, что ему нужно это в исследовательских целях: он коллекционировал сюжетные сны и хотел выяснить законы их композиции и вообще поэтики. Я записала ему выборочно сюжеты с писателями. Некоторые он поместил, а самое интересное, про Пушкина, почему-то нет». Это Ольга Александровна написала мне 6 апреля 2006 г. в ответ на мою просьбу вспомнить, какой ее сон я пересказала М.Л. И вот что она мне написала непосредственно о сне

во время первой операции М.Л.: «А сон с больницей был необычаен. Я его тебе рассказала, а ты ему. Я позвонила тогда его жене (это наяву) и она сказала: „Пожалуйста, молитесь о нем! У нас теперь нет другой надежды, как молитва“. На другой день я уехала в Азаровку и там видела следующее: Я на каком-то складе или в конторе, среди множества накладных и других бумаг. Это подвал и освещение плохое. Ко мне приехала Смерть со своим Шофером — точно из фильма Кокто „Орфей“ (фильм этот я видела не меньше чем 20 лет назад). Элегантная, стройная, модно одетая молодая гречанка. Оказалось, что я у них на службе (неизвестно, с каких пор) и очередной раз должна представить списки тех, кто готов, кого они берут. Мы вместе пересматриваем списки — и на ком-то (совсем не помню, на ком, потому что последующее было для меня совершенно неожиданным) я сказала: „А этого не отдам“. Они сказали, что я превышаю свои служебные полномочия (разговор шел в очень бюрократической стилистике). Но я почему-то настаивала. Тогда они сказали: „Ну что же. Тогда Вы за это и платите. Время пошло“, — и показали на часы. Тут кадр изменился. Свет, широкие окна, лестница, как в казенных заведениях типа больницы. По окнам понятно, что мы где-то высоко над землей, на верхних этажах. И тут я увидела М.Л. на лестнице, на площадке между этажами, направляющегося вверх, с какой-то кроватью вроде раскладушки под мышкой. Он ее должен был перенести на другой этаж. Кровать была явно не по его росту, для ребенка лет 10–12. Он сказал: „Меня переводят в сердечное отделение, оно этажом выше“. На этом я проснулась. Вот и все. Про маленькую кровать ты тогда комментировала: это потому, что у него вес сейчас как у ребенка. А почему он ее несет — „Возьми свое ложе и ходи“. Как ни странно, я этого не поняла. Но я думала, что „время пойдет“ гораздо быстрее. А все еще идет».

Б35
[19 сентября 2001 года, Москва, от руки, на обороте двух бланков читательских требований]

Мне приходилось видеть переводы моих статей на английский и самому пытаться себя переводить — это было

отвратительно, тяжелый переводческий стиль. Мне приходилось раза два писать прямо по-английски (доклады, не для публикаций) — это было (и мне казалось, и редактировавшие говорили) гораздо лучше. И это при моем ничтожном владении языком! Переводы из нас, боюсь, будут не очень удобочитаемы — даже лучшие.

(Моя подруга[1] двадцать пять лет пишет и печатает по-английски об английском стихе (три монографии!), она сделала для английского стиха столько, сколько для русского — три научных поколения. Никто ее не читает и не слушает — настолько западное стиховедение отстает от нашего. Но это сегодняшней проблемы не касается).

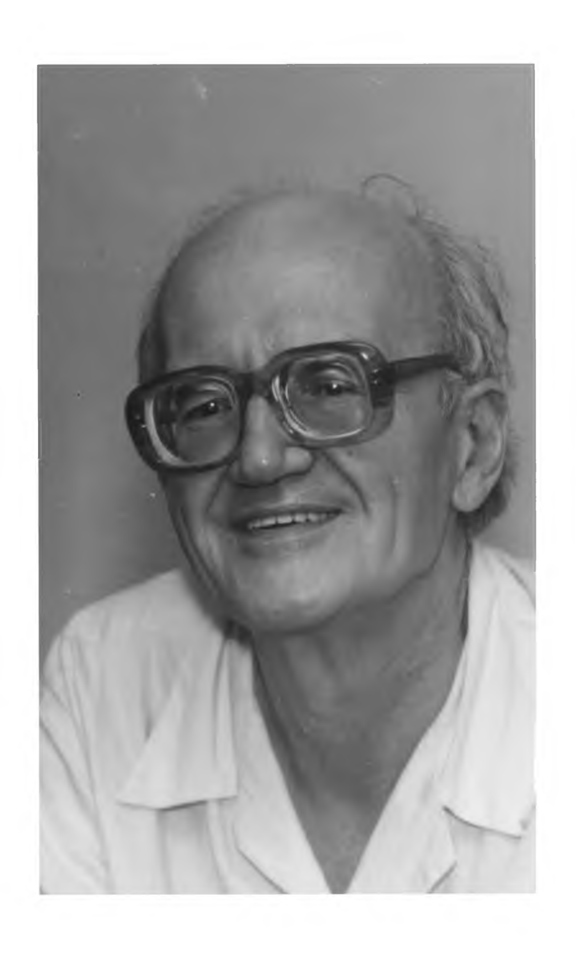
P. S. Как мы будем выглядеть по-английски, мы можем вообразить по тому, как выглядит иностр. ученые по-русски в «прогрессовских» (и, боюсь, в послепрогрессовских) переводах. (Вы это только что сказали сами).

(Я сказал было, что Ваш проект[2] — это вроде Slav. Rundschau, когда славяне заговорили от лица собств. науки[3]. Точнее было бы сказать: это как если бы черви из-под микроскопа заговорили с червеведом от лица червей).

1 М.Г. Тарлинская.

2 Записка была получена после изложения мною в ИВГИ 19 сентября 2001 г. моего утопического, как показала практика, проекта «открытия» русской гуманитарной науки западному миру; проект был опубликован: Профессия — русский, или Entdeckung des Geistes постсоветского интеллектуала // Новое литературное обозрение. 2001. № 50. С. 70–88.

3 Имеется в виду «Славянское обозрение» (Slavische Rundschau: Berichtenden und kritische Zeitschrift für das geistige Leben der slavischen Völker), издававшееся в 1929–1940 гг. в Берлине–Лейпциге, затем в Праге как орган сначала Немецкого общества славянских исследований, затем Славянского института. Цель журнала — информировать Запад о научной и культурной жизни славянских стран, быть трибуной обсуждения проблем западной славистики. Р. Якобсон заведовал в нем восточнославянским разделом.





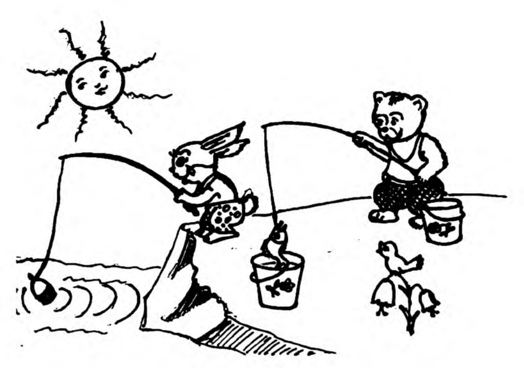
Елена Александровна, мать М.Л.

Ср.: Записи и выписки. С. 75.



Володя Смирнов на Рижском взморье

1954 (незадолго до гибели)



Любимая М.Л. картинка из детской книжки-раскраски

См. о ней письма Б6 и Б32



Перед защитой кандидатской диссертации
1962



1970-е годы



С сыном Димой
1964



С дочерью Аленой
Начало 1960-х годов



Нина Брагинская

Около 1970 года



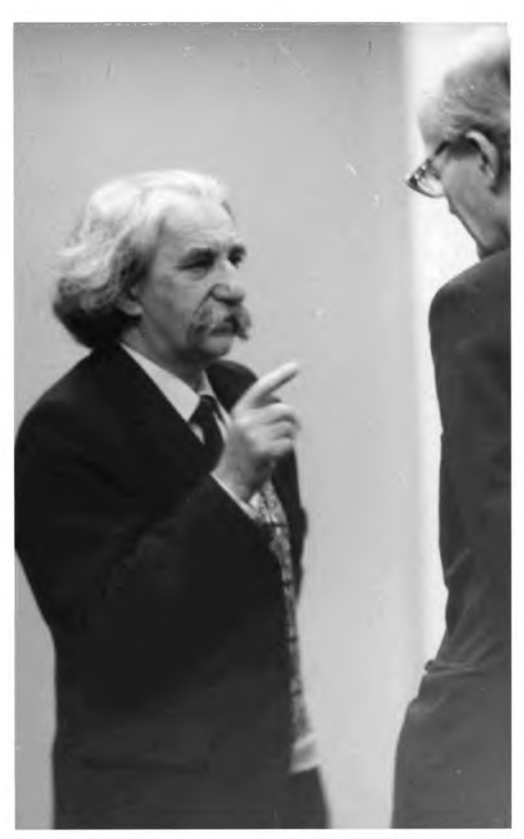
Нина Брагинская с сыном Андреем

1988



Нина Брагинская

Вилла Сербеллони, озеро Комо, Италия, 1999. См. письмо Б36



С Юрием Лотманом
Ноябрь 1983 года



Вторые Тыняновские чтения, Резекне, 1984

Слева направо, сверху вниз: В.П. Руднев, Л.М. Щемелева, Б.В. Дубин, Л.Д. Гудков, Ю.А. Молок, М.Л. Гаспаров, ?, С.С. Шведов, М.Б. Ямпольский, Ю.Г. Цивьян, Л.Г. Степанова, Р.Д. Тименчик, А.Ф. Белоусов, А.Е. Парнис, Н.В. Брагинская, С.Я. Чернoброва, Т.Л. Никольская, М.О. Чудакова, А.П. Чудаков, А.Л. Осповат, В.Н. Сажин, Г.А. Левинтон



С Мариэттой Чудаковой

Резекне, 1984



С Романом Тименчиком

Резекне, 1984



Ирина Юрьевна Подгаецкая
Марбург, июнь 1991 года



И.Ю. Подгаецкая, М.Л. Гаспаров, С.Л. Иванова
Стэнфорд, октябрь 1990 года



К.М. Поливанов и И.Ю. Подгаецкая
Кассель, июнь 1991 года



Е. Фарыно, И.Ю. Подгаецкая, М.Л. Гаспаров, К.М. Поливанов, С. Дорцвейлер
Марбург, 1991



М.О. Чудакова, М.Л. Гаспаров, И.Ю. Подгаецкая, М.К. Поливанов, К.М. Поливанов
Марбург, 1991

Б36
[9 декабря 2001 года, Анн Арбор, от руки]

9.XII.01

Дорогая Нина Владимировна,

пишу Вам без уважительной причины — так, как Вы когда-то писали мне из Комо[1], и даже, может быть, с похожими чувствами. Я здесь наслаждаюсь одиночеством: три дня в неделю работаю один, лишь ненадолго выползая в библиотеку, и четыре дня по немногу разговариваю с Роненом. Результаты поразительные: за два месяца (день в день) я написал 7,5 листов комментария к Мандельштаму и для отдыха перевел 3,5 листа стиховедческих статей одного знакомого[2] и сделал довольно много подготовительной механической работы по стиховедению. Конечно, отчасти это стахановская липа: как Стаханов бил рекорды потому, что подсобную работу при нем выполняли подсобники, так и я управлялся только потому, что по Мандельштаму у меня были подготовительные материалы, а переводимые статьи были легкие. Однако с уверенностью могу сказать, что в Москве я и при таких заготовках не выдал бы в месяц больше двух листов. Вместо того, чтобы радоваться, я загрустил. Я давно привык объяснять, что в Москве работать труднее, потому что четверть душевных сил приходится держать в резерве на случай внезапных научных и ненаучных отвлечений. А тут вдруг оказалось, что я недоиспользовал себя не на четверть, а на две трети! За такую ненаучную организацию труда я бы осудил себя очень строго. И что же будет дальше? Таких привольных условий, как сейчас, у меня больше не будет; я привык себе говорить, что я уже постепенно теряю научную форму и лучших условий, чем в Москве, и не заслуживаю; а теперь что же, получается, что я схожу с дорожки досрочно? Вот от этих неприятных мыслей я вспомнил, как Вы ездили в Комо, и подумал, что у Вас, наверно, были похожие трудности (Вам легче с возрастом и состоянием умственных способностей, но куда труд-

нее с жизненными обстоятельствами) и что Вы меня бы поняли. Оттого и написал Вам. Никакого совета или ободрения, избави боже, я не спрашиваю, а просто animam levo[3]: написал, и вроде бы стало легче. Может быть, еще все будет к лучшему и окажется, что количество количеством, а на качество моей продукции радоваться не приходится. Но суровый Ронен вроде бы тем, что он читал, доволен. Его нелегкий характер известен по трем частям света, и я торопился с этой работой отчасти потому, что ожидал, что он и со мной поссорится, как со всем миром, так чтобы что-то успеть до этого: наши мандельштамовские интересы и способности очень уж хорошо дополняют друг друга. Но вроде бы пока он ко мне хорошо относится. Простите за такое эгоцентрическое письмо, и пусть оно, сколь можно, будет свидетельством, что я помню Вас, тревожусь о Вас и вечно буду благодарен Вам за Ваше существование, понимание и доброе отношение. Я приеду 30-го декабря, но надеюсь, что это письмо придет раньше и успеет Вас заранее поздравить с Новым годом. Если правда успеет, то передайте мои лучшие новогодние чувства Шумиловой[4], а из остальных коллег — кому сочтете нужным.

Преданный Вам М.Г.

А у меня здесь развлечение: музыкальные галлюцинации. Я уже много лет время от времени слышал, как будто за стеной или за окном смутный хор поет вторую строфу гимна Советского союза. Откуда я знаю, что вторую, не могу сказать. Так вот, теперь это не гимн, а бесконечно тянущаяся последняя каденция неизвестно чего: на дальнем фоне низкие голоса тянут одну ноту, а поверх этого более высокие частят что-то более дробное. Но гораздо громче и постояннее: вот сейчас пишу, а за американской стеной, все равно как за московской блочной переборкой, он звучит и звучит[5]. На время разговоров, слава богу, замолкает, а вообще утомляет и иногда мешает спать. Но по сравнению с тем, что могло бы быть, это, конечно, еще благодать. Поэтому будьте, пожалуйста, здоровы!

Ваш.

1 В конце 1999 г. я около месяца жила на озере Комо в Итальянских Альпах.
2 Речь идет о работах, вошедших в книгу американского стиховеда Дж. Бейли: Избранные статьи по русскому народному стиху / Пер. с англ. под общ. ред. М.Л. Гаспарова. М., 2001.
3 Облегчаю душу (*лат.*).
4 Елена Петровна Шумилова была, выражаясь по-старинному, «добрым гением» М.Л. в последние годы его жизни: редактировала некоторые его труды, входила во все бытовые и медицинские проблемы, была среди тех немногих, кого М.Л. семь больничных месяцев постоянно хотел видеть, и ей выпало закрыть его глаза.
5 Ср.: Записи и выписки. С. 347.

Б37
[1 ноября 2002 года, Москва, компьютерный набор]

Дорогая Нина Владимировна,
я решаюсь побеспокоить Вас по двум поводам. Во-первых, прочитайте, если можно, прилагаемые три страницы. Вы помните, что в «Записях-выписках» в статье о конспективных переводах приводились с извинениями три конспективных переложения верлибром из Лермонтова, Баратынского и Гнедича. Сейчас (для книжки «Экспериментальные переводы») я сделал еще семь таких переложений. И мне стало душевно нехорошо: собственно, этим я признаюсь, что в элегиях пушкинского времени я активно воспринимаю только четверть текста, а остальное для меня балласт, для восприятия которого я должен произвести, хотя бы в голове, некоторую научную работу. Головой я это понимал и раньше, и писал об этом, но тут почувствовал это более внутренне, и это было очень неприятно. Я подумал: собственно, то, что я сделал, это демонстрация модного понятия: читательского сотворчества. На меня эта демонстрация произвела более удручающее впечатление, даже чем я думал раньше. Я подумал даже: а не предложить ли об этом доклад в ИВГИ, где любят говорить о механизмах преемственности культуры. Не уверен, что это разумно; если Вы

меня отговорите, я скажу Вам спасибо[1]. Простите, что советуюсь именно с Вами; я боюсь, что другие не поймут.

Во-вторых, помогите, если можно, «Литературным памятникам». Ими стал командовать Н.И. Балашов, сочинивший им новый перспективный план, говорить о котором у меня не хватит сдержанности. Античности в этом плане нет вообще. Тут только я хватился, что пока я ее «курировал», старые переводоспособные античники вымерли или почти вымерли, а новые не народились или мне не видны. 11-го будет редколлегия, я буду заступаться за античность и скажу, что я им сделаю хорошо комментированного Горация («через год после того, как откроются библиотеки») и что Вы с Протопоповой[2] им сделаете давно заявленные греческие романы. Если не хотите или не можете, то не делайте, пусть это останется моей демагогией. Но если хоть сколько-нибудь можете — умоляю, постарайтесь. «Памятники» чуть не погибли в начале рыночной эпохи и опять будут на грани гибели через год-два балашовского управления. Хотелось бы, чтобы они выжили. Очень нужно было бы издать Вергилия с хорошим комментарием — компилятивным, но умным и подробным хотя бы в такой степени, как когда-то у Фета; не знаю, найдется ли достаточно заинтересованный человек. «Метаморфозы» с пространным мифологическим комментарием я, к сожалению, обещал в другое издательство, тоже страждущее. На что из этого у меня хватит сил, не знаю.

Вот и все; как всегда, я буду благодарен за каждое Ваше слово.

Преданный Вам М.Г.

1.XI.02

1 Я отговорила.

2 Ирина Александровна Протопопова, моя бывшая аспирантка, защитившая диссертацию и выпустившая книгу по античному роману (Ксенофонт Эфесский и поэтика иносказания. М., 2001). М.Л. был оппонентом на защите. Характерно, что он рассматривал Протопопову как рекомендуемого им автора, несмотря на то что относился к ее концепции с известным скепсисом.

Когда началась семиотич. мода, я горько жалел, что рано родился и плохо ее понимаю: по своему душевному складу я тянулся к ней как к упорядоченности = защите от опасного хаотического мира. Теперь (может быть, присмотревшись к более семиотически искусным ближним) она мне кажется диктатом и стеснением — не то, чтоб хуже хаотического мира, но хуже, чем казалось раньше. [redacted] (Обычное формирование невроза.) Может быть, у других что-то похожее — простой симптом повзросления или постарения? А метафизич. оппозиция структуры и истории ни при чем.

Адресованная Нине Брагинской записка М.Л. о семиотике (б.д.)

POST SCRIPTUM

Главные вещи. Трех главных вещей у меня нет: доброты, вкуса и чувства юмора. Вкус я старался заменить знанием, чувство юмора — точностью выражений, а доброту нечем.

Записи и выписки. С. 231

Внимательный читатель не мог не заметить, что во второй половине 80-х М.Л. было как-то худо. Пожалуй, он даже жаловался на себя и на то, в какие ловушки и капканы он себя загнал. Это был период, когда его самооценка падала навстречу растущей известности и авторитету. Правда, слава М.Л. ширилась неспешно. Десять лет назад статей Гаспарову не посвящали: было напечатано лишь несколько рецензий на книги и несколько интервью. Действительно «знаменитым» он стал благодаря двум книгам, абсолютно разным, но сопоставимым по своей заметности, замеченности и по тому, что Гаспаров в них прятался: в «Занимательной Греции» (1995) он пересказчик, в «Записях и выписках» (2000) главным образом выписывает и записывает чужое. Но именно эти книги вызвали интерес к их автору, после их появления сразу же стали писать и о самом Гаспарове, так что многочисленные его переводы, работы по античной литературе и русской поэзии стали служить чем-то вроде солидного пьедестала для Гаспарова-литератора. 70-летие вызвало серию поздравлений, но откликов на смерть, конечно, было больше, чем на его жизнь за всю эту жизнь. И многие

писали о необыкновенных письмах Гаспарова, которые надо напечатать. В «Записях и выписках» Гаспаров сам поместил, например, удивительные письма к Ирине Юрьевне Подгаецкой с описаниями заграничных впечатлений[1]. Когда-нибудь эпистолярный архипелаг поднимется над поверхностью, и станет виден как его масштаб, так и то, что «Записи и выписки» полны цитатами из писем Гаспарова и Гаспарову[2]. И еще обнаружится, что цитаты «неточные», что в контексте книги они немного редактируются с определенной тенденцией.

Мне кажется, что беспощадность к себе в «Записях и выписках» — не просто суровость, а даже несправедливость — смягчается тем, каким Гаспаров представляет себя в письмах к людям, в чьих добрых чувствах он уверен. Но, публикуя свой автопортрет, пусть и сложенный из того, что читал и отчеркивал, слышал и считал нужным запомнить, М.Л. открывал себя вообще миру, от которого не ждал снисхожденья. И превращал самопрезентацию в род покаяния.

Так что же, у Гаспарова действительно не было ни вкуса, ни чувства юмора, ни доброты? Я думаю, что М.Л. смотрел в се-

1 Записи и выписки. С. 126–128, 237–239.

2 Я не предполагала, что мой прогноз так быстро и, главное, так точно оправдается, пока я готовила публикацию для «Отечественных записок». В «Новом литературном обозрении» (№ 77) было опубликовано более сотни писем к Марии-Луизе Ботт. Она оказалась тем человеком, которому М.Л. посылал автобиографические, и не только, части будущих «Записей и выписок». Ей как адресату они обязаны неожиданной для знавших М.Л. открытостью: «Я все время думаю о том, как написать о себе, — трудно потому, что я не могу представить, какому читателю это интересно; но после Вашего последнего письма решил: буду писать, не думая ни о каких читателях, кроме Вас, и тогда, может быть, что-то и получится» (письмо от 18 января 1990 г.). Думаю, что благодаря такому корреспонденту, иностранке, горячо заинтересованной в России, М.Л. высказал — теперь и для нас — свое отношение к происходившему в стране в постсоветский период. С соотечественниками он говорил о политике мало и в духе Кохелета; представить М.Л. у телевизора, скажем, во время знаменитого Съезда народных депутатов у меня бы не хватило воображения (см. письма от 26 мая 1989 г. и 20 февраля 1991 г.).

бя глубоко, или «научно», как он любил говорить. Он не был «богато одаренной натурой», счастливой улыбкой природы, человеком, которому все было дано судьбой от рождения. Скорее, ему многих обычных вещей, например, зрительной памяти или музыкального слуха, не было дано вовсе, а заикание, когда-то очень сильное, отгораживало от сверстников и съеживало общение. Как врач, который наблюдает ход собственной болезни или выздоровления, Гаспаров наблюдал собственное самосозидание, в том числе нравственное. Он воспитывал свой вкус, оттачивал иронию, а эгоизм, с которым рождается живое существо, сознательно вытеснял самопожертвованием. И отдавал себе отчет в том, что он вытесняет, что надо оттачивать, что приходится воспитывать. М.Л. развил собственную технику аскезы, позволяющую ясно видеть глубины своего сердца, и стал походить на аскета. В последние годы готовность М.Л. служить другим людям стала особенно бросаться в глаза, потому что это был уже немолодой знаменитый академик. М.Л. словно переплавил свое стремление ото всех отгородиться и уединиться в жертвенное этим всем служение. Это была «победа культуры над природой» — тема, которая так сильно занимала М.Л., когда он писал о римских поэтах, о Брюсове, о Мандельштаме...

...Однажды, сравнительно недавно, на каком-то заседании Михаил Леонович передал мне записку. Среди своих бумаг я ее не нашла: наверное, написала ответ на том же листе и передала обратно. В записке была просьба, которая заставила меня похолодеть. М.Л. написал мне, что чувствует убыль своих способностей и знает, что наступает такой момент, когда человек становится не творческим, бесплодным, окостеневшим, но сам уже не в состоянии этого понять[3]. Он попросил меня «об одной услуге»: когда такой момент наступит в его жизни, сказать ему об этом. Просил ли М.Л. о таком еще кого-то? Не знаю. Но худшего смерти с ним не случилось...

Нина Брагинская

3 Ср. отголосок этой мысли в «Записях и выписках» (с. 290): «Старость».

ИЗ ПИСЕМ К ИРИНЕ ЮРЬЕВНЕ ПОДГАЕЦКОЙ
1990–2001

«Два дня назад умерла от стремительно развившегося рака моя подруга и коллега по Пастернаку: та, которой были адресованы в „Записях и выписках“ письма из Вены, Венеции и пр. Мы с ней учились на одном курсе, но близко подружились только на старости лет. Она была очень хороший и сильный человек», — писал Михаил Леонович своей многолетней корреспондентке М.-Л. Ботт в октябре 2002 года после смерти Ирины Юрьевны Подгаецкой.

После окончания филологического факультета Московского университета Подгаецкая и Гаспаров много лет работали в соседних отделах Института мировой литературы, в 1981 году вместе подготовили сборник «Классическая басня», но возникновение близкой дружбы, к годам которой относятся публикуемые письма, было связано с началом в 1989 году работы над подготовкой академических собраний сочинений Мандельштама и Пастернака, затеянных тогда в Институте. Мандельштамовское собрание было поручено Гаспарову с С.С. Аверинцевым, а пастернаковское — с Ириной Юрьевной.

С подготовкой академического собрания были связаны и поездки на Пастернаковские конференции — в октябре 1990 года в Стэнфорд, а в мае 1991-го — в Марбург. Обе конференции и оба города Михаил Леонович часто упоминает в письмах, которые писались во время его многочисленных и длительных в 1990-х годах поездок, — из Америки, Италии, Австрии.

С начала 1991 года почти каждый вторник, если М.Л. бывал в Москве, встречаясь в Институте мировой литературы,

они обсуждали не только составлявшиеся выпуски «Пастернаковских чтений», комментарии и к Пастернаку, и к Мандельштаму, но и другие свои работы, задумывавшиеся в эти годы. В ходе этих встреч возникла, например, их совместная статья о «праздничных стихах» В. Маяковского. Особенно часто предметом разговора становилась французская поэзия, прежде всего в связи с работами Ирины Юрьевны об «Определении поэзии» Пастернака и Верлене и с оставшимся, к сожалению, недописанным исследованием традиции Малларме в стихах Пастернака, в частности, о стихотворении «Стихи мои бегом, бегом...».

В эти годы М.Л. чрезвычайно занимала проблема возможности «пересказа» содержания стихотворения, здесь ему виделся необходимый исследовательский прием, без которого полноценного анализа «сложной» поэзии XX века быть не может. В Ирине Юрьевне он нашел и единомышленника, и соавтора. Непосредственным результатом обсуждения этих вопросов в связи со стихами Пастернака стали две статьи «Сверка понимания», в которых предлагалось «прозой» пересказать сложные стихи «Сестры моей жизни». М.Л. надеялся, что эта работа будет продолжена («...нашим с Вами перечтениям и пересказам стихов Пастернака не миновать продолжения», — писал он в 2001 году после разговора с Нэнси Поллак о стихотворении «Елене»), и в результате сложится небольшая книжка для любимой им серии трудов ИВГИ РГГУ «Чтения по истории и теории культуры»: «Мне с детской глупостью хочется, чтобы мы успели написать две-три порции „сверок понимания“ стихов из „Сестры моей — жизни“, и тогда я постараюсь их издать под нашими именами в желтой серии брошюр ИВГИ-РГГУ — просто для того, чтобы мое имя где-то стояло рядом с Вашим. Когда мне было 35 лет, „середина странствия земного“, мне по разным причинам было очень нехорошо, и я сказал себе: вот я издам три книги — Маршака в „Б-ке поэта“, чтобы значиться на нем рядом с В.В. Смирновой, матерью моего утонувшего товарища; Диогена Лаэртского, чтобы он вышел под редакцией Т.В. Васильевой, которую я издали любил и которая теперь

тяжело умирает; и Историю русского стиха, это уж для самого себя, — а больше ничего в жизни не буду планировать».

Но естественно, что планы совместных работ не могли не возникать и не обсуждаться. Их обоих привлекала тема поэтики заглавия, для разработки которой М.Л. предлагает в одном из писем конкретную программу накопления необходимого материала: «Вообще-то начинать нужно было бы с массовой продукции. В советское время в „Книжной летописи" регистрировались все выходящие книги стихов — „Светлый путь", „Счастливый путь", „Радостный путь"... — и это выглядело так, что уже тогда об этом писались фельетоны, у меня где-то есть вырезка. Или рассортировать по десятилетиям заглавия Тарасенковской библиографии стихотв. книг 1900–1955. А если уж брать Ваших французов, то сперва по любому библиографич. справочнику выписать заглавия всех книг всех символистов — хорошо бы еще увидеть их оглавления, ведь стиль был тот же! У Вас записано, конечно, что „Кипарисовый ларец", в котором Анненский — вероятно, вправду — хранил рукописи итд., скопирован с „Сандалового ларца" не то Кро, не то Роллина».

Ирина Юрьевна обладала даром создать рядом с собой атмосферу исключительно благоприятную для непринужденных и содержательных бесед. Внимательное профессиональное обсуждение текстов Пастернака, Мандельштама, Маяковского сопровождалось разговорами на самые разные филологические и не филологические темы. Ирина Юрьевна была замечательной рассказчицей и одновременно умела быть очень внимательной слушательницей. Она горячо и заинтересованно отзывалась на все, с чем сталкивалась (возвращаясь домой в троллейбусе, она могла яростно вступить в спор о предстоящих выборах, оценке происходящего вокруг или ушедшего прошлого, и при этом умела убеждать, казалось бы, самых агрессивных собеседников). Их беседы с М.Л. касались арабской и румынской поэзии, Пушкина, ценимого обоими Сигизмунда Кржижановского, политики, путешествий, работ коллег по институту. Ирина Юрьевна замечательно рассказывала о Москве своего детства — о комму-

нальной квартире на улице Грановского, где она выросла, поездках к деду — сельскому священнику на Дон, елках в Доме литераторов, впечатлениях военных лет, музыкальных занятиях у сестер Гнесиных, выборе после школы между химией и филологией, поступлении в университет и многом, многом другом. Разговоры, начинаясь в Институте, продолжались в буфете Центрального дома литераторов за кофеем с любимым Ириной Юрьевной горьким пористым шоколадом, плитку которого М.Л. всегда приносил с собой. К этим встречам и разговорам присоединялись московские коллеги и приезжавшие в Москву А. Жолковский, Л. Флейшман, К. Барнз, П. Йенсен, К. Харер, А. Устинов, С. Дорцвейлер, С. Гардзонио, сейчас уже трудно вспомнить всех. Отголоски всех этих встреч и разговоров можно найти в публикуемых письмах.

Я убежден, что при всей значимости профессиональных разговоров и общих работ несравнимо более важным для Ирины Юрьевны и Михаила Леоновича было то ощущение человеческой опоры, которую они находили в общении друг с другом, даже цитировавшаяся выше мечта о совместной книжке была одновременно мыслью о взаимной поддержке. Ирина Юрьевна в последние годы часто болела, проблемы со зрением не давали ей возможности много работать, читать и писать она могла только несколько часов утром. Вот продолжение того же письма: «Мне очень хотелось бы, Ирина Юрьевна, помочь Вам в Вашей трудной жизни, но я не знаю, как — ничего не могу, кроме вот такого соавторства в память нашей с Вами старческой дружбы. Как она важна и дорога для меня, Вы знаете. Иногда мне кажется, что в последнее время она стала Вам слишком навязчивой тягостью, но я отгоняю эти мысли. Мы уже в том возрасте, когда нужно годы считать с конца, „грядущей смерти годовщину меж них стараясь угадать“, я боюсь за Ваше сердце и Ваше зрение (Вы ведь до сих пор не были у врача?), а Вы за меня, пожалуйста, не бойтесь — я даже тяжелый чемодан таскал по аэропортским лестницам, как молоденький, и ничего».

О глубине, о важности их дружбы невозможно сказать точнее, чем сказано в самих письмах, многие из которых

М.Л., подчеркивая значимость для него поддержки Ирины Юрьевны, завершал подписью: «Ваш взаимоопорный столб». Приведу только еще одну его характеристику их отношений: «Мы с Вами друг другу не то чтоб опорные столбы — и стоим далеко, и опираться совестно — но оглянешься друг на друга, и легче становится».

Кончина Ирины Юрьевны была для Михаила Леоновича тяжелым ударом. Думаю, что никто из бывших на похоронах никогда не забудет его фигуру, когда он, согнувшись, может быть полчаса, если не дольше, неподвижно стоял у гроба, непрерывно как будто разговаривая с ушедшей. А потом он исчез.

Константин Поливанов

П1
[12 июля 1990 года, Москва, от руки]

12.7.90. Дорогая Ирина Юрьевна, помните, я жаловался на многословие писем Пастернака, а Вы заступались? На одном из тех же зимних сборищ Л. Озеров[1] мне сказал: если его о чем-нибудь спрашивали, он начинал говорить с самого начала, как будто этого вопроса никто не ставил и никто о нем не думал. Тогда я понял, что этому нет большей противоположности, чем я, которому кажется, что все вопросы давно поставлены, а ответов выставлено еще больше, чем вопросов. (Я себя давно поймал на том, что стараюсь говорить цитатами и, по возможности, со ссылками на источники). Вот поэтому, наверное, Пастернак мне так внутренне чужд. Я читаю его и как будто присутствую при чуде, как всегда в настоящей поэзии, но это чудо от меня — как за стеклянной стеной, дышать им я не могу. Пожалуй, не могу назвать ни одного большого поэта, которого бы так чувствовал. (Случайно попавшаяся выписка из Ю. Сидорова, рано умершего маленького символиста: «вот перевести бы Бодлера на церковнославянский, и он зазвучал бы по-настоящему». Вам виднее, справедливо ли это). Это я расписываю его по строчкам для американского доклада о его стихосложении[2]. Ужасно много он написал даже по сравнению с Ахматовой. Двухтомное издание Баевского в «Б-ке поэта»[3] с очевидностью показывает, что в два тома нам его стихов не уложить: видимо, первый придется делить на две части. Боль-

ница на меня хуже действует, чем обычно: делаю, конечно, много больше, чем на воле, но угрызений совести о несделанном это не заглушает. Плюс угрызения о том, что Але приходится суетиться по моим командировочным делам, я к этому не привык. Ради бога, не считайте себя обязанной отвечать на это письмо, успеем поговорить при встречах, а как Вам сейчас приходится, я очень хорошо понимаю. Будьте жизненны со всеми поколениями Вашего дома. По-марсиански это будет ἐναι divinée, по свидетельству одной швейцарской визионерки[4], о которой писал «Вестн. иностр. л-ры» 1900 г. — Всегда Ваш М.Г.

1 Зимой 1990 г. конференции, посвященные 100-летию Бориса Пастернака, проходили в Москве в Государственном музее изобразительных искусств им. А.С. Пушкина, в Центральном доме литераторов и Институте мировой литературы. Л.А. Озеров — составитель первого издания «Стихотворений и поэм» Пастернака в Большой серии «Библиотеки поэта» (1965).

2 М.Л. готовил доклад для конференции к 100-летию Пастернака (Стэнфорд, октябрь 1990 г.). Доклад Гаспарова «Эволюция стиха Б. Пастернака» опубликован в «Stanford Slavic Studies» (Vol. 4); то же: Избранные труды. Т. III (под заглавием «Стих Бориса Пастернака»). И.Ю. Подгаецкая выступала с докладом «Пастернак и Верлен».

3 *Пастернак Б.Л.* Стихотворения и поэмы в двух томах / Вступит. статья В.Н. Альфонсова; сост., подгот. текста и примеч. В.С. Баевского и Е.Б. Пастернака. Л., 1990 (Библиотека поэта. Большая серия).

4 М.Л. цитирует записи «марсианских» фраз медиума Елены Смит, приведенные в статье: Спиритические странствования на Марс // Вестник иностранной литературы. 1900. Кн. 4. С. 273–286. Ср.: Записи и выписки. С. 69. «Ενaι divinée» — «будь счастлива» (по-марсиански).

П2

[22–23 августа 1990 года, Москва, от руки]

22.8.90. Дорогая Ирина Юрьевна, позвольте на пять минут выпасть из тематики. Видел я сон, заблудившийся ко мне

от кого-нибудь вроде Андрея Белого[1]. У меня раскрылась грудь, и в нее сошла одним концом радуга, другим упираясь в небо. Мне было очень хорошо, и я знал, что ее лучи — это хорошие ко мне отношения хороших людей. Я старался рассмотреть на другом, небесном конце радуги их лица, но лучи все время мелькали, как спицы, и это было очень трудно. Уже просыпаясь, я угадал среди них Ваше лицо. Потом очень хотелось угадать семерых человек по семи цветам радуги, но стольких у меня в воображении не нашлось. Вот и все: спасибо, что Вы мне приснились, хоть это и смешно звучит. Это не должно быть для Вас обидно: что никаких вожделений сон не содержал, и все чувства в нем только чистые, я знал твердо. Посмейтесь и забудьте. Вчера Парнис сказал мне, что достал для Вас билет в Америку[2] — поздравляю! И жалею только о том, что мне лететь раньше и отдельно, так что если и полечу, то с моим короленковским безъязычием меня могут завезти хоть в Японию. О делах не пишу: все мы в одной проруби. Помните определение невроза? Это когда человек воздвигает душевные укрепления против какой-то опасности, а потом оказывается, что поддержание этих укреплений обходится дороже, чем сама опасность. Для меня наука всю жизнь была такой оградой против всего, а сейчас оказывается, что уже и ограждать нечего. Вот в таком нехорошем самочувствии мне (вообще не видящему снов) и блеснул этот сон радугой, и стало полегче. Поэтому я и позволил себе злоупотребить Вашим позволением и побеспокоить Вас этим письмом. Отвечать на него не надо, а что мои к Вам лучшие чувства — такие же, Вы ведь и сами знаете. Если бы был верующим, сказал бы: дай бог вам сил, и телесных и душевных. Поклон Павлу Александровичу, который больше всех страдает от моих неврозов, и всем младшим Вашего дома.

23.8.90 Ваш М.

Не помню, писал ли я, что Флейшман прислал мне книгу «Б.П. в 30-е гг.», и я ее даже успел прочесть: замечательно хорошо. При встрече давайте поменяемся: я Вам ее, а Вы мне «Б.П. в 20-е гг.»[3], которого я тогда отдал Вам, не читавши.

1 Ср. письмо Б27.

2 Речь идет о готовящейся поездке в Стэнфорд на конференцию к 100-летию Б. Пастернака. Покупка авиабилетов в США в 1990-м была крайне сложным делом — почти вся группа летевших москвичей и ленинградцев получила билеты усилиями А.Е. Парниса; см. в письме М.Л. к М.-Л. Ботт: «В нашей делегации нашелся человек такой бешеной энергии, что сумел добыть билеты через океан, несмотря на совершенно такие же, как в прошлом году, ответы во всех инстанциях: „билетов нет и не будет", „доставайте сами, как знаете", „летают же люди"» (Новое литературное обозрение. 2006. № 77. С. 166).

3 Упоминаются книги Л. Флейшмана «Борис Пастернак в 1920-е годы» (Мюнхен, 1981) и «Борис Пастернак в 1930-е годы» (Иерусалим, 1984).

П3
[1 октября 1992 года, Стэнфорд, от руки]

Дорогая Ирина Юрьевна,

1 поклон Вам от Флейшмана[1].
В Стэнфорде я, действительно, оказался с ним в одной квартире — Вы помните, разговор о таком варианте начинался еще при Вас на Костиной кухне[2]. Я очень стараюсь не быть ему в тягость, а он — мне; со стороны это, наверное, выглядит даже немного забавно. Я спросил его, чем он сейчас занимается, — он ответил: во-первых, философскими занятиями Пастернака, разбирая с Дорцвейлером светокопии его учебных бумаг[3]; во-вторых, томом публикаций «Русский эмигрантский Париж»; в-третьих, современной русской культурной ситуацией — для этого он в Москве скупал всю уличную периодику как этнографический материал. (Другой здешний коллега, мандельштамовед Г. Фрейдин (два Гаспарова, два Фрейдина...) и вовсе стал специалистом по пере-
2 стройке, брал интервью у Горбачева итд.). Поэтому о Пастер-
наке у меня с ним разговоров еще не было. <...> Описывать

[*Внизу страницы:*] Может быть, мне и придется встретиться со здешними античниками — у меня с собой одна моя античная статья в английском переводе, пригодная для доклада, а кафедре хочется показать начальству, что она пригласила не узкого слависта-стиховеда,

3 мои собственные языковые переживания не буду. В одном
английском докладе на цветаевской конференции[4] были
большие французские цитаты, и мне с горя показалось, что
я уже и по-французски понимаю легче, чем по-английски,
потому что у французов хоть слова не редуцируются до та-
кого безобразия. Но увы, только показалось. Кажется, это
был доклад с родными Вам средневековыми параллелями:
у Цв<етаевой> есть берлинское стихотворение, начинающе-
еся «Ночные шопота — шелка...» и кончающееся: «И в эту су-
ету сует — сей меч: рассвет»; докладчица усматривала в этом
традицию провансальской альбы. А еще в каком-то докладе
в связи с Рильке упоминалась Луиза Лабе[5], которую он пере-
4 водил. Я уже не помню, о чем успел и о чем не успел Вам на-
писать в прошлый раз; конференция была с таким фемини-
стическим уклоном, что даже странно, что Луиза упоминалась
только раз. Когда единственный раз хватило времени на пре-
ния, то заключались они в том, что Викт. Швейцер кричала:
«у нас конференция по филологии, а не по сексопатоло-
гии!» — а молодые голоса кричали в ответ: «а вы — ретро-
грады!» — а с двух сторон зала пытались говорить умиротво-
ряющие слова положительный литовский человек Томас
Венцлова (которому у Бродского посвящен цикл[6], кажется,
в «Урании»; я о нем слышал еще от моей аспирантки[7], кото-
рая с ним училась) и я; а Бродский, откинувшись на диване
располневшим неврастеническим демоном, восклицал, какие
5 все монстры. Простите, если я это уже описывал: больно уж
врезалась в память такая картина[8]. Кстати, по цветаевской
текстологии у них такие же проблемы, как у нас: разрознен-
ные поздние поправки в ранних стихах; но тут, по крайней
мере, редактор американского ее издания — смирный чело-
век, похожий на худую потрепанную птицу[9], — честно ска-
зал, что за основной текст они брали те варианты, которые
им больше нравились, и все тут. Нам бы так. Вы помните,

а великого человека на все руки. Тогда попробую поговорить. Если будет такой доклад — смешно будет: читает человек по-английски, а задаваемые вопросы понимает через переводчика.

в 1915–35 гг. в русской текстологии была мода класть в основу не последние, а первые редакции — только потом явился культ последней авторской воли; у меня ощущение, что сейчас, когда нам хочется того же, это такая же реакция на советскую догматическую текстологию, как тогда была на царскую. Лучший аналог текстологии Пастернака — текстология Бенедиктова, который тоже так перелицовывал свои ранние стихи, что оба издания «Б-ки поэта» вопреки всем принципам предпочитали ранние редакции; но если сослаться на такой прецедент — ведь пастернаковеды оскорбятся![10] Это только Эткинд — кажется, в серизийском сборнике — написал очень хорошее сближение Пастернака с Бенедиктовым[11], но, кажется, не касаясь текстологии; проверьте, не ошибаюсь ли. — А где-то по дороге я видел книжечку «Межнаркниги» для сбора заграничных заказов, и там уже анонсируется пастернаковский сборник «Быть знаменитым некрасиво»[12].

6 Я обнаружил, что развил в себе угоднические — даже не способности, а инстинкты. Один перегон я ехал вместе с С. Карлинским, биографом Цветаевой[13], малосимпатичным человеком, похожим на пенек с розовой лысиной и неуемным самохвальством («Когда я начал заниматься Цветаевой, Якобсон сказал: зачем заниматься такой дурой, которая верила в „сына Блока — Сашу" и посвящала ему стихи» [«Вифлеем»]?)[14] — пришлось разговаривать. Помянулся Чехов, я сказал: «Была к какому-то юбилею статья об отвергателях Чехова — от Михайловского до Ахматовой и Цветаевой». — «А вы помните автора?» — «Нет». — «Это я». Самое замечательное, что я и вправду не помнил. Если он теперь пришлет оттиск (и он будет не по-английски) — то Вы прочитаете, статья вправду была интересная.

7 Я с робостью начинаю осваивать здешнюю библиотеку; каталог — в компьютере, компьютер называется «Сократ», это меня ободряет, но только это. И его, машинного, можно переспрашивать дольше, чем хватило бы совести переспрашивать человека — только нужно умеючи, а я не умею. Когда у нас в булочных собирались ставить продающие автоматы, то Таня Миллер из нашего сектора возмущалась, что ее

лишают человеческого контакта с продавцом. А я думал: за человеческим контактом я, наверное, пошел бы не в булоч-
8 ную. Работаю я плохо; сделал только для здешнего словаря русских писательниц статью о Вере Меркурьевой[15] (не помню даже, показывал ли я Вам ее стихи и большой очерк о ней[16] или не решился) и на этом впервые понял, чем она мне нравится: пафосом самоотрицания (слово «пафос» здесь очень неуместно: она очень была непатетична). А читая старую статью С. Маковского о Случевском[17], я впервые понял смысл одного стихотворения Случевского, которое всегда любил: восемь строчек, четкостью похожих на перевод с английского; не знаю, помните Вы его или нет.

Упала молния в ручей,
Вода не стала горячей;
А что ручей до дна пронзен,
Сквозь шелест струй не слышит он.

Зато и молнии струя,
Упав, лишилась бытия;
Иного не было пути —
И я простил, и ты прости.

Маковский пишет: это ручей просит прощения за то, что неспособен любить. Смотрю: и правда. Умом я этого не понимал, но один раз, и не понимая, почувствовал правильно. Моя литовская аспирантка <...> в студенчестве дружила с Флейшманом и Тименчиком. В последнем письме она писала мне, что всегда мучилась от литовской провинциальности (она переводчик — Джойс, Вирг. Вулф, Бернанос — и явно талантливый), а теперь, когда провинциальность стала государственной, то ещё больше. (Когда я пересказал это Томасу Венцлове, он сказал: «Да, когда я эмигрировал — это ведь тоже было не только от тоталитаризма, но и от именно этой провинциальности»). Я отвечал, что понимаю: у нас самих сейчас провинциальность стала не только государственной, но даже великодержавной. — А что касается запоздалого понимания смысла стихов, то все равно это не сравнится с тем, как я много лет знал наизусть стихи Тютчева про ночные зарницы — «как демоны глухонемые, ведут беседу меж собой» — и только уже взрослым вдруг впервые представил себе это зрительно и воскликнул про себя: «ах».

9 Простите меня за такое длинное и докучное письмо (и такое бессвязное, что понадобилась нумерация параграфов, как в античном авторе) — это фатическая речь[18]. Низкий поклон Павлу Александровичу и Коле. И той работе, которую Вы так мучительно сшиваете из новых и старых страниц. Целую Ваши руки.

Ваш М.

1.10.92,
завтра у меня первая лекция.

1 По приглашению Л. Флейшмана М.Л. несколько раз бывал в Стэнфорде.

2 К.М. Поливанов.

3 Л. Флейшман вместе с Сергеем Дорцвейлером подготовил издание студенческих философских рефератов и конспектов Б. Пастернака: *Fleishman L., Harder H.-B., Dorzweiler S.* Boris Pasternak Lehrjahre: Неопубликованные философские конспекты и заметки Бориса Пастернака: В 2 т. Stanford, 1996 (Stanford Slavic Studies. Vol. 11, 1–2).

4 Конференция к 100-летию М. Цветаевой в Амхерст-колледже (шт. Массачусетс) 18–20 сентября 1992 г.; ср. более подробное описание в письме от 26 сентября 1992 г. к М.-Л. Ботт (Новое литературное обозрение. 2006. № 77. С. 184–186). Доклад Гаспарова «Рифма Цветаевой», как и доклады упоминаемых в письме Иосифа Бродского, Томаса Венцлова, Виктории Швейцер, были опубликованы в сборнике трудов конференции: Marina Tsvetaeva: One Hundred Years: Papers from the Tsvetaeva Centenary Symposium, Amherst College. Amherst, Mass., 1992 = Столетие Цветаевой: Материалы симпозиума / Comp. and ed. by Viktoria Schweitser et al. Berkeley, CA, 1994 (Berkeley Slavic Spec. Vol. 32).

5 Ирина Юрьевна подготовила издание стихотворений французской поэтессы XVI века Луизы Лабе в серии «Литературные памятники» (М., 1988).

6 Томасу Венцлова посвящен цикл 1971 г. «Литовский дивертисмент». В сборнике «Урания» (1987) появился другой цикл — «Литовский ноктюрн Томасу Венцлова».

7 В.В. Настопкене.

8 Реакция М.Л. на амхерстскую конференцию зафиксирована в «Записях и выписках» (с. 228).

9 Имеется в виду А. Сумеркин и его издание: *Цветаева М.* Стихотворения и поэмы: В 5 т. / Сост. и подгот. текста А. Сумеркина; предисл. И. Бродского. Нью-Йорк, 1980–1990.

10 Ср.: Записи и выписки. С. 283 («Разврат»).
11 Замечание Е.Г. Эткинда о Пастернаке и Бенедиктове см.: Boris Pasternak, 1890–1960 / Colloque de Cerisy-la-Salle. Paris, 1979. P. 114.
12 Имеется в виду книга: «Быть знаменитым некрасиво...»: Пастернаковские чтения. Вып. 1 / Отв. ред. И.Ю. Подгаецкая. М., 1992.
13 С. Карлинский был автором первой монографии о Цветаевой: *Karlinsky S.* Marina Cvetaeva: Her Life and Art. Berkeley, 1966.
14 Речь идет о двух стихотворениях цикла «Вифлеем» (1921) с посвящением «Сыну Блока — Саше».
15 Имеется в виду статья М.Л. в изд.: Dictionary of Russian Women Writers / Ed. M. Ledkovsky, Ch. Rosenthal, M. Zirin. Westport, CT, 1994. P. 420–423.
16 Кроме статьи для американского словаря, М.Л. опубликовал две другие работы о Меркурьевой — см.: Русские писатели, 1800–1917: Биограф. словарь / Под ред. П.А. Николаева. М., 1999. Т. 4.
17 Речь идет о словах С.К. Маковского: «Один из возможных смыслов — биографический: поэт прощает — жену? дочь? — за нелюбовь. Он не сумел грозовым своим лучом зажечь ее души, ему чуждой, и за это сам присужден роком больше не любить» (*Маковский С.К.* Случевский: Предтеча символизма // Новый журнал (Нью-Йорк). 1960. № 59; вошло в книгу: *Маковский С.* На Парнасе серебряного века. М., 2000. С. 110, примеч. 6).
18 То есть контактоустанавливающая речь. См. также письмо П12, примеч. 8.

П4
[12–18 октября 1992 года, Стэнфорд, от руки]

«А какой самый большой грех, по-вашему?»
«Самосовершенствование, — сказал гнутый, — без боли другому не обходится».
А.М. Ремизов, «Мартын Задека»

Ты что ж, говорю, волк, неужели съесть меня захотел? А волк молчит, разинул пасть.
Не ешь, серый, я тебе пригожусь. А сам думаю: на что я пригожусь?

И пока я так раздумывал, волк меня
съел. С приятным сознанием
исполненного долга я проснулся.
Там же

Еще в Петербурге я спросил К., как он
к человеку относится.
«Ничему не удивляюсь, — ответил К., —
жду от всякого самой
последней подлости, но верю в добро.
Такая у меня повадка».
Он же, «Учитель музыки»

Дорогая Ирина Юрьевна, когда я попал в здешнюю библиотеку и у меня разбежались глаза, то почему-то я начал просматривать труднодоступные книги, начиная с Ремизова. Отсюда и эпиграфы. Потом отложил его, и даже почувствовал неприязнь; но запомнил, как он умер: заснул под чтение «Соборян» и не проснулся.

Я уже прочно освоил треугольник: жилье — библиотека — кафедра, не сбиваюсь, не отвлекаюсь, но успевать ничего не успеваю — как, вероятно, и Вы. Каждый день делаю по пачке ксерокопий, потому что внутренний голос мне твердо говорит: не отделаться мне редактированием чужих комментариев, придется писать свои. По Пастернаку хоть надеюсь не столько писать, сколько дописывать других, и поэтому не чувствую себя обязанным запасать всё, что о нем напечатано; а по Мандельштаму я уже своих соседей знаю, и вижу, что должен иметь под рукою всё. Например, целую книгу Р. Дутли «Мандельштам и Франция»[1]; впрочем, лелею надежду, что она пригодится больше Вам, чем мне, хоть и написана на неприятном нам обоим немецком языке. А по Пастернаку я буду ксерокопировать, с Вашего позволения, только то, что по-французски, если оно покажется стоящим; на других языках — только если уж очень хорошо. Как я все эти папки отсюда повезу, ума не приложу. Письма на служебные адреса отсюда кафедра отсылает за свой счет; если бандероли — тоже, то не удивляйтесь, пожалуйста, если я что-нибудь заранее пошлю на Ваше имя и институтский адрес. Вскройте тогда,

полюбопытствуйте и сохраните до меня. Но постараюсь, конечно, Вас не обременять.

За этими заготовками, которые неведомо когда прочту, и за подготовкой к лекциям я почти не успеваю делать свое дело. О французском стихе Цветаевой все подсчеты я сделал, а писать не решаюсь: не с кем посоветоваться по произносительной части. А там есть странности: например, она рифмует vite — butent, mur — avenir, nourrisse — suce: как будто по-немецки, где можно рифмовать dick — zurück. И даже:

Trognes rouges, rires laids.

— Oignons le! Aspergeons le!

Подборку текстов праздничных «стихов на случай» Маяковского я сделал; даже восторженный Устинов, видя это, не удержался от вопроса: «Вы собираетесь специально писать о плохих стихах Маяковского?»[2] Но даже думать над ними еще не начинал. Кстати, у этого молодого человека, что ни разговор, то обнаруживается новая область интересов: он и по кино занятия ведет, и албанскому языку в Ленинграде учился. Он напросился писать у меня одну из полугодовых курсовых; я дал ему три стихотворения для комментария по поэтике, как у нас к «Воробьевым Горам»; авось, проверяя его, сам чему-нибудь научусь.

Я забыл Вам рассказать о неожиданном разговоре. Когда я был в Ванкувере, то гостеприимица-феминистка, жена* моего коллеги-стиховеда[3], вдруг стала сильно ругать Аверинцева, которого слышала в Оксфорде: «поверхностно и самовлюбленно». Я спорил, давал даже ей мои (известные Вам) «Разговоры С.С. Аверинцева»[4], благо были при себе, — но безуспешно. Это не стоило бы воспоминания, если бы не одна фраза: «Почему он думает, что в Англии его все так любят?» Дело в том, что когда-то почти буквально то же сам Аверинцев сказал о М.Е. Грабарь-Пассек: «Почему она так

[*На полях слева:*] * Я только что получил письмо от нее, где, между прочим, сказано (перевожу буквально) «Ваша мирная интенсивность делает Вас хорошим гостем». Чувствую, что комплимент, а понять до конца не могу.



А это вместо автопортрета: ксерокопия руки, которой я придерживаю книгу. Мне это больше всего напоминает кадр из кинофильма «Дракула»: пустой каменный пол и из-под плит — костлявые пальцы карабкающегося упыря. Было воспроизведено в пушкинодомском издании русской «Повести о Дракуле» XVI в., считавшейся памфлетом на Ивана Грозного — помните, в хрестоматии Гудзия?[5]

уверена, что Тахо-Годи к ней хорошо относится?» Я-то знаю, почему: потому что она сама к Тахо-Годи хорошо относилась.

Я начал это письмо 12 октября, в «Колумбов день» 500-летия открытия Америки — я думал, здесь это будет праздник с фейерверком, а здесь это отмечалось покаяниями и поминаниями жертв испанского завоевания[6]. По-моему, это хорошо. Я эту дату знал, потому что это день рождения моего товарища[7] — того, в лето смерти которого мы с Вами случайно встретились в Риге, и я от отупения не понимал, с кем я говорю. Кончаю неделю спустя. За неделю эту ничего нового не сделал — это меня уже пугает. При моей педагогической бездарности много сил уходит на подготовку (и исполнение) лекций. Если останусь в Лос-Анджелесе, где можно будет читать по готовому, — тогда хорошо <...> но может быть, и не останусь — там не могут найти на меня денег.

Я попробую вложить в это письмо светокопию первой книжки Флейшмана[8], которой у нас нет. По поводу статьи «Автобиографическое в „Августе“» я спросил его: «А Вы не думаете, что Пастернак мог моделировать начало своего творчества от падения с лошади — взяв за образец автобиографию Бальмонта?» Бальмонт в 20 лет выбросился из окна (кажется, от первой жены) и после этого, лежа в гипсе, стал бурно писать, выучил испанский язык итд. Но Флейшману этого очень не хотелось. Решили, что скорее они оба следовали общему архетипическому источнику — скажем, мифу о Тиресии, который ослеп и стал пророком.

Читаю американскую биографию Бахтина[9], о которой много слышал. Очень хорошая. Конечно, в жизни у него все было наоборот взглядам: несмотря на культ романа, любил («авторитарную») поэзию и зачитывал собеседников наизусть; и несмотря на культ диалога, не замечал своих собеседников и не всегда отличал их друг от друга.

Только написав Вам «не буду копировать английские статьи о Пастернаке!»[10], наткнулся на статью: P.A. Jensen, B. Pasternak's «Opredelenie poezii», «Text a<nd> context: Essays to honor N.Å. Nilsson», Stockh.1987. Он отмечает перекличку с «Это утро...» (с. 106) и допускает — с концовкой «Нет, лучше голосом ласкательно-обычным...»: «Ведь это — прах святой затихшего страданья! Ведь это — милые почившие сердца!..» (с. 110): по-моему, ничего общего. В остальном — прослеживает перекличку образов внутри стихотворения и со стихами других футуристов («место глухое» ~ конец Облака в штанах: «Глухо. Вселенная спит... с клещами звезд...»; «свист» ~ Бобров, «Завертелась центрифуга... Оглушительные свисты...»; «садок» — «Садок судей»; «флейты» — от Маяковского, итд., совсем уже ни к селу, ни к городу). О Верлене молчит. А в другой статье мне мелькнуло, будто «со сна.. с крыш.. топтался дождик у дверей, и пахло винной пробкой» — от «O bruit doux de la pluie Par terre et sur les toits...» из Ch<ansons> s<ans> paroles (В. Александрова в альм. «Возд. пути» 1, 1960, с. 128)[11] — по-моему, тоже малоубедительно.

Целую Ваши руки и низко кланяюсь Павлу Александровичу. Мне совестно надоедать Вам письмами, но не получается иначе.

12–18.10.92 Ваш М.

1 Имеется в виду книга, изданная в Швейцарии: *Dutli R.* Ossip Mandelstam: «als riefe man mich bei meinem Namen»: Dialog mit Frankreich: ein Essay über Dichtung und Kultur. Zürich, 1985.

2 Речь идет о работе, написанной совместно с И.Ю.: Грядущей жизни годовщины: Композиция и топика праздничных стихов Маяковского // Избранные труды. Т. II. С. 241–271.

3 Коллега-стиховед — Джеральд С. Смит. Его жена, славист Барбара Хельдт — специалист по женской поэзии и прозе,

в особенности мемуарной; автор книги «Terrible Perfection: Women and Russian Literature» (1987); в «Записях и выписках» М.Л. приводит ее высказывания о поэтессе М. Шкапской (с. 35).

4 «Из разговоров С.С. Аверинцева» — включено М.Л. в «Записи и выписки».

5 «Хрестоматия по древней русской литературе», составленная профессором МГУ Н.К. Гудзием, вышла в 1934 г. и неоднократно переиздавалась.

6 Ср.: Записи и выписки. С. 29 («Колумбов день»).

7 Володя Смирнов, утонувший на Рижском взморье. См.: Записи и выписки. С. 78.

8 Речь идет о сборнике Л. Флейшмана «Статьи о Пастернаке» (Бремен, 1977) и вошедшей в него статье «Автобиографическое и „Август“ Пастернака».

9 *Clark K., Holquist M.* Mikhail Bakhtin. Cambridge, Mass., 1984.

10 М.Л. в этом и следующих письмах пишет о статьях, посвященных стихотворению Пастернака «Определение поэзии», поскольку И.Ю. писала работу, в которой прослеживалась связь содержания и формы этого стихотворения со стихотворением П. Верлена «C'est l'extase langoreuse» и стихотворением А. Фета «Это — утро, радость эта...» (см.: *Подгаецкая И.Ю.* Пастернак и Верлен // Pasternak Studien I / Hrsg. von S. Dorzweiler, H.-B. Harder. München, 1993).

11 Статья В. Александровой «По литературным адресам».

П5
[12 ноября 1992 года, Стэнфорд, от руки]

12.XI.92

Дорогая Ирина Юрьевна,

наконец-то оказия: это письмо перешлет Вам Светлана Иванова. Она приезжала в Стэнфорд, у нас было два трехчасовых разговора о ее рифме, не считая телефонных и писем. Знаете, мне кажется, что я — не то, чтобы сказал ей волшебное слово, но, пожалуй, извлек его из нее. Она всегда начинала говорить о рифме, переходила к божественным голосам, которые диктуют поэтам стихи, разделяла поэтов на настоящих, которые слышат, и ненастоящих, которые притворяются, и говорила: «Если правда, что в стихах 99% искусства и 1% таланта, то Жирмунский

говорил о 99% искусства, а я об 1% таланта»; но на вопрос: «А как Вы отличаете талантливых от неталантливых?» отмахивалась: «это неважно». Я ей сказал: «Вы ошибаетесь, — и этим сами себе мешаете, — когда думаете, что Ваша тема — рифма: Ваша цель — не рифма, а талант, рифма же только средство». Она не соглашалась. Я спросил, что такое, по ее мнению, талант. Она сказала: «Способность не считаться ни с какой традицией, ни с каким общим мнением, а верить только тому, что чувствуешь и слышишь». Я ахнул про себя и стал утроенно убеждать ее именно об этом и писать, причем помнить, что суждения о таланте (в отличие от суждений о рифме) не могут быть научно доказательны, а могут быть только художественно убедительны, пусть она на этом и сосредоточится, преодолев неуверенность в себе, — итд. Она от неожиданности даже не очень возражала; конечно, после этого она мобилизует всю свою неуверенность в себе и продолжит сопротивление, но, мне кажется, всё главное уже сказано и понято. Вы чувствуете: это она сама чувствует в себе талант, может быть, даже разговаривающий с небесными голосами (я ее не раз спрашивал в острые моменты разговора: «Вы ведь когда-нибудь да сочиняли стихи; скажите, что Вы тогда слышали, и это будет для меня убедительнее ссылок на высказывания любых Лермонтовых и Блоков», — но она всякий раз уклонялась), — но не решается следовать этому всецело, старается стилизоваться под научность Вяч. Вс. и поэтому очень собой недовольна. (Она проговорилась, что вежливая отстраненность Вяч. Вс. ее обижает: видимо, так же, как Алю — моя: она пишет прозу и признается, что ей тяжело, потому что она знает: эта проза мне не понравится; а я говорю: плохо, если ты пишешь для меня, — пиши для людей и для себя). Если от этого ей станет легче — если она или сознательно дерзнет, или сознательно сдержится, — то я буду считать себя достойным медали за успехи в кухонном психоанализе.

Почта ходит медленно, к Вам плывут уже несколько моих писем и три или четыре бандероли с оттисками, в которых мы потом разберемся. В последнем письме был очень забав-

ный пересказ беседы о Пастернаке между Бродским, Флейшманом и мной[1]. Среди попавшихся мне статей об «Определении поэзии» одна неожиданно оказалась хорошая[2]: без Верлена и Фета, но с более аккуратным и систематическим анализом образного строя, чем, напр., у Вяч. Вс.[3] Даже затрудняюсь ее конспектировать: приеду — переведу Вам с листа. Любопытно: это «Определение» иногда анализируется в паре с «Определением творчества», но ни разу не привлекалось стихотворение «Поэзия, я буду клясться...» — а оно ведь очень похоже. Подумайте о нем между делом: нам ведь надо готовить темы ко всяким будущим пастернаковским конференциям. Меня больше всего (и давно) интригуют строчки, что поэзия — это «Шевардина ночной редут», но я до сих пор не собрался с духом для этого перечитать «Войну и мир».

Мои перспективы здесь определились: я в Стэнфорде до 15–20 декабря, потом переезжаю в Лос-Анджелес. 20 дней пассивно живу в пустой квартире Ивановых, потом с 10 января по 7 февраля читаю лекции в их университете, потом еду домой, заезжая с докладами в еще два университета. В Лос-Анджелес нагрузка будет большая, а зарплата малая, я бы отказался, если бы не надежда на те самые промежуточные 20 дней без лекций и, я надеюсь, без библиотек: постараюсь написать хоть что-то из того, что должен. В частности, нашу с Вами статью о календарно-праздничных стихах Маяковского. В Стэнфорде я этого явно так и не успею. Вернусь в Москву, наразговариваюсь с Вами (если Вам хочется что-нибудь возразить на мои письма — записывайте для памяти!) и спрячусь в больницу писать остальное.

Если мои письма Вам надоели или надоедят, выбрасывайте их хоть не читая, а на меня не сердитесь. Мне они здесь помогают жить; мне очень хотелось бы надеяться, что они хоть немного помогают жить и Вам.

Низкий поклон Павлу Александровичу.

Ваш помощный зверь.

У меня здесь неожиданное соприкосновение с одним знакомым Вам языком. Секретарь кафедры здесь[4] — румынка, ее энергии я очень многим обязан; чтобы сделать ей прият-

ное, я сказал, что сочинил параграф о румынском стихе и перевел для него с подстрочника 4 отрывка стихов; она захлопотала, себе сняла светокопию, а мне дала книжку Эминеску с параллельным португальским (!) переводом. Читаю перед сном и иногда что-то понимаю на скрещении двух непонятных языков.

Если бы я был умный, я ходил бы, скажем, на лекции Флейшмана и привыкал бы к английскому языку. Но я так уверен, что больше я за границей не окажусь и живой язык мне не понадобится, что вместо этого сижу в библиотеках.

Целую Ваши руки.

М.

1 Письмо к И.Ю. о разговоре с Бродским и Флейшманом или не дошло, или не сохранилось; впрочем, разговор, о котором писал М.Л., видимо, описан в «Записях и выписках» (с. 265–266).

2 Имеется в виду статья П. Йепсена — см. предыдущее письмо.

3 Для готовившегося собрания Пастернака Вячеслав Всеволодович Иванов должен был написать комментарий к стихотворениям книги «Сестра моя — жизнь».

4 Секретарь славянской кафедры в Стэнфордском университете — Каталина Илеа. И.Ю. как романист учила в университете, кроме французского, румынский язык.

П6
[Декабрь 1992 года, Стэнфорд, от руки]

Дорогая Ирина Юрьевна, недавно я видел Вас во сне (не ночью, а над работой). Я пришел к Вам в ИМЛИ, Вы даже обрадовались, спрашиваете: «Откуда?», а я отвечаю: «Я вам приснился».

15 декабря я еду в Лос-Анджелес (час полета), а 16 декабря Флейшман едет в Москву (много часов полета: сами помните). Я попрошу его отдать или переслать Вам это письмо. Чем дольше я здесь оглядываюсь по сторонам, тем лучше вижу, какой это был подвиг с его стороны: пробить мою сюда ко-

мандировку. Не знаю, насколько я его разочаровал... Думаю, что хотя бы одним я должен был ему понравиться: леностью и нелюбопытностью. В первые же дни он мне добросовестно сказал: «Вы, наверное, захотите посмотреть Сан-Франциско?» Я ответил: «Знаете, я близорук, природу не воспринимаю» итд. Но когда приехал Дорцвайлер[1], он-таки захотел посмотреть Сан-Франциско. Показывать город взяли Андрея Устинова, потому что Флейшман города не знал, водить автомобиль в такую даль не привык и бывал там редко. На вопрос «зачем же Вы нас повезли?» Флейшман ответил: «А я люблю делать то, чего не люблю». Города Сан-Франциско я так и не видел, потому что смотрел только за тем, чтобы не потерять спутников. Дорцвайлера я спросил, будут ли в Марбурге следующие пастернаковские конференции. Он ответил, что непременно, но так как готовить их, кроме него, некому, то будут не раньше, чем он сдаст свою диссертацию. Боюсь, что это будет не очень скоро.

На днях я буду писать Окутюрье. Я прочитал его переводы в плеядовском Пастернаке[2] и ахнул, потому что они силлабо-тонические: весь французский «Спекторский» — ямбом. Не миновать мне вслед за французским «Молодцем» Цветаевой просчитывать французского «Спекторского» Окутюрье: буду его в письме спрашивать, как к этому отнеслись французские читатели и критики. (По-моему, еще 30 лет назад в якобсоновской двуязычной антологии[3] Гильвик им переводил Кольцова размером подлинника: «Уж ты горюшко, Горе горькое, Где ты сеяно, Где ты выросло? = O malheur, malheur. O malheur amer, дальше не помню; пора бы привыкнуть, но французы консервативны). Храбрости на письмо мне прибавило неожиданное известие: племянница[4] из Парижа пишет, что встретилась с Ок. у общих знакомых, и что он ей сказал, будто смотрит на меня снизу вверх. Это он, конечно, от вежливости, но я подумал: а вдруг за это он изыщет способ на маяковскую конференцию с нашим общим с Вами докладом пригласить не только Вас, а и меня? Вот только доклада еще нет. Если смогу сделать чудо, напишу его в Лос-Анджелесе.

Но мало что я успею сделать в Лос-Анджелесе, потому что из декабрьских, свободных недель у меня выпадет пять дней: на рождество поеду опять в Сиэтл к Тарлинской. Мы давние друзья и я ей многим обязан, но душевного напряжения для этого потребуется много. А в январе будут лекции и вернутся Ивановы, а для разговоров с Светланой о рифме душевного напряжения требуется еще больше. Сейчас она должна быть в Москве и передавать Вам мое письмо с оказией. Пишу я Вам регулярно, но доходят ли письма, не знаю, и иногда беспокоюсь, не обидел ли я Вас каким-нибудь нечаянным словом. А постоянно беспокоюсь о Вашей жизни и Вашей подотчетной монографии. Если можно, с обратной оказией напишите мне десять строчек, не больше, о том, в каком виде Вы ее свалили с плеч.

Поклон Вам от аспирантки, которая в позапрошлом году помогала Вам здесь делать покупки: длинная, узкая, с тонким голосом, по имени Джуди[5], пишет «Рим в русской литературе начала века», устно об этом разговаривает очень наивно, но отрывки, которые пишет, — умные. Мне она здесь помогла еще больше, чем Вам: отредактировала английский перевод (посредственного ленинградского производства) того доклада, который я делал перед античниками. Ну, а я, видно, буду ее неофициальным руководителем, как уже много у кого был.

Вы простите, что письмо это такое бессодержательное, и всё о моих неинтересных обстоятельствах. Это оттого, что лекции в Стэнфорде кончены, отметки выставлены, четверо осчастливленных студентов будут сегодня поить меня кофеем и уверять, будто я хороший человек, вся бездна задуманного и не сделанного уже просматривается до дна, и опускаются руки. А когда думаешь, что вам в Москве еще того гораздо хуже, то совсем невесело. Получил я от немецкой цветаеведки[6] статью в полный газетный лист о цветаевских днях в Москве, куда она ездила журналистом[7]. Из всей конференции в ИМЛИ на нее произвело впечатление только вступительное слово Феликса Кузнецова; спрашивала сотрудников, как они такое допускают, а они отвечали: — «директор есть директор».

Я хотел переснять для Вас место из воспоминаний А.Л. Пастернака[8], брата, но не сумел: по содержанию там о Борисе слишком немного, а стиль приятный, однако многословный, и обрываются они на революции, так что главную часть там составляет светлое детство, а я про светлое детство понимаю плохо. Запомнилась о Борисе одна вещь: когда они с товарищами во что-нибудь играли, и Борис оказывался очень проигравшим, то он бросал эту игру и больше никогда в ней не участвовал. Это так же, как потом он бесповоротно бросал и музыку и философию. После этого мне стало легче представить, что и роман он стал писать от ощущения, что стихи у него перестали получаться, хотя о таком ощущении он прямо никогда не говорил.

Зато переснял избранные страницы из толстого сборника «Русские романсы и песни», на который ссылался Щеглов[9], цитируя в комментариях к Ильфу «Оружьем на солнце сверкая», «Ах зачем эта ночь» и другую анонимную классику. Вы оцените. Все тексты — в алфавитном порядке, как в Александрии, так что подряд идут «Не шуми, мати зеленая дубравушка», «Ничего не говорила, Только рядом до речки прошла», «Ночь надвигается, фонарь шатается», «Ночь темна, лови минуты», итд. В предисловии посвящается эмигрантской молодежи, чтобы она не забывала русский дух.

А еще случайно наткнулся в библиотеке на натуральное первое издание «Parnasse contemporain»[10] и подивился, как это молодые непризнанные новаторы издавали себя сразу на веленевой бумаге и толщиной в 500 страниц.

При пролистывании книг попалась цитата из Ренана: «Люди идут на муку только за то, в чем не совсем уверены». А в другой, гораздо менее серьезной (повесть 1936 из одесской жизни начала века, автор В. Жаботинский, тот, перед которым Флейшман преклоняется за то, что он был герой сионизма, а я — за то, что он переводил Бялика русскими стихами с замечательной силлабикой итальянского образца) раскрылось определение интеллигента: как у настоящего джентльмена могут быть очень скверные манеры, настоящий интеллигент может не знать ни Мопассана, ни Гегеля:

«Дело тут не в реальных признаках, а в какой-то внутренней пропудренности культурой вообще»[11]. Тут мне стало яснее, почему я не интеллигент: культура в моих внутренних складках лежит пылью, а не пудрой[12]. Вспомнил свое сочинение «Разговоры с Аверинцевым», которое Вы читали, и вспомнил определение, которое туда не вошло, а могло бы заменить все остальное: года три назад при случайной встрече Падучева меня в упор спросила: «Что такое Аверинцев?», а я ответил: «Он лучше, чем может показаться со второго взгляда». Она поняла.

Будьте здоровы, Ирина Юрьевна, и простите, что на оказию пришлось такое пустое письмо. Хочется воображать, что те предыдущие, которые ползут к Вам обыкновенной почтой, содержательнее; но вряд ли. Низкие поклоны Павлу Александровичу и Коле. Целую Ваши руки.

Ваш М.

С зимним Вас солнцестоянием!

[*Листок приклеен*:] Начал я цитировать Жаботинского, а главного не процитировал. Есть там мимоходом притча. Жил-был рыцарь, у которого вместо сердца была часовая пружина. Совершал подвиги, спас короля, убил дракона, освободил красавицу, обвенчался, отличная была пружина. А потом, в ранах и лаврах, отыскал того часовщика и в ноги: да не люблю я ни вдов, ни сирот, ни гроба Господня, ни прекрасной Вероники, — это всё твоя пружина, осточертело: вынь! Вот такие ощущения и мне иногда портят жизнь: может быть, помните, я об этом в анкете писал салонной, которую Вам в самолете из Марбурга показывал. Выругайте меня заочно, а когда приеду — очно; а прискриптум этот отклейте и выбросьте.

1 Сергей Дорцвейлер — организатор Пастернаковской конференции в Марбурге весной 1991 г., в которой участвовали И.Ю. и М.Л.

2 *Pasternak B.* Œuvres / Trad. Michel Aucouturier. Paris, 1990 (Bibliothèque de la Pléiade).

3 Речь идет об издании: La poésie russe / Édition bilingue publiée

sous la direction de Elsa Triolet... Trad. par Aragon, Charles Dobzynski, Claude Frioux, Guillevic, etc. Notes préliminaires, par Roman Jakobson. Paris, 1971.

4 Н.С. Автономова.

5 Джудит Кальб, аспирантка Стэнфордского университета, которая консультировалась с М.Л. по поводу своей диссертации; см.: *Kalb J.E.* Russia through the Roman Prism: Merezhkovskii to Bulgakov (1890–1940) (Dmitrii Merezhkovskii, Valerii Briusov, Aleksandr Blok, Mikhail Kuzmin, Milhail Bulgakov). Stanford University, 1996.

6 Мария-Луиза Ботт — письма М.Л. к ней опубликованы: Новое литературное обозрение. 2006. № 77. В конце письма упоминается анкета, которую М.Л. заполнял по ее просьбе; анкету с вопросами см.: Там же. С. 172–173, а также в письмах к Н.С. Автономовой (А17).

7 Речь идет о статье М.-Л. Ботт: Flaschenpost, in die Zukunft geworfen. Moskau feiert den 100. Geburtstag der Dichterin M. Zwetajewa <Письмо в бутылке, отправленное в будущее: Москва отмечает 100-летний юбилей поэтессы М. Цветаевой> // Die Zeit (Hamburg). 1992. 30 Oktober.

8 «Воспоминания» младшего брата Б.Л. Пастернака Александра были впервые опубликованы отдельной книгой в 1983 г. издательством Wilhelm Fink Verlag (Мюнхен).

9 Упомянута работа Юрия Щеглова «Романы И. Ильфа и Е. Петрова: Спутник читателя» (Wien, 1990–1991. Т. 1–2).

10 Речь идет о знаменитых коллективных стихотворных сборниках «Le Parnasse contemporain; recueil de vers nouveaux» (1-3 sér. Paris, 1866–1876). «Толщиной в 500 страниц» — значит, М.Л. держал в руках 3-й выпуск, в котором 456 страниц (предыдущие — более тонкие).

11 Цитата из романа В. Жаботинского «Пятеро» (Париж, 1936). Большое собрание стихотворных произведений В. Жаботинского «Я — сын своей поры» вышло в Одессе в 2001 г.

12 Ср.: Записи и выписки. С. 245–246 («Интеллигент»).

П7
[26 декабря 1992 года, Лос-Анджелес, от руки]

Дорогая Ирина Юрьевна,

помните наше импровизированное совещание по комментариям к Пастернаку[1], и как Жолковский быстро сочинял перечень заслуживающих упо-

минания эротических мотивов в «Воробьевых горах» — принятый нами, кажется, без восторга? Оказывается, для него это была тема не случайная. Он прислал мне целую статью под названием, приблизительно, «Грамматика любви», с похожим разбором шести стихотворений — от «Шестого чувства» Гумилева («Прекрасно в нас влюбленное вино» — вот и установка задана: «И добрый хлеб, что в печь для нас садится» — хлеб, «он», в печь, в «нее»; итд.: что хлеб и вино связаны через причастие, это к его теме не относится) и до наших «Воробьевых гор». Как всегда у него — балансирование на грани: придраться нельзя, в каждом стихотворении есть прямые слова, допускающие установку на ловлю эротических мотивов, но каждый раз впечатление, что допущение это немного превышено. Собирается давать эту статью в какой-то сборник в честь Лотмана: Лотман, говорят, фрейдизма не переносит, но Ж. твердо стоит на том, что он не фрейдист. Рассказал случай из жизни. Год или два назад была конференция по Пастернаку в Англии, доклад как раз о «Воробьевых горах» делал Нильссон. (Едва ли он уже не напечатал этого доклада, и может быть, я уже послал Вам с него ксерокс). Добротный и нравственный. Ж. сидел, как на иголках, сразу вызвался в прения и стал по-английски излагать свои добавления. Аудитория слушала все живее, а когда он кончил, шумно попросила повторить по-русски. Он повторил. Нильссон невозмутимо сказал: «Абсолютно не согласен». Явно требовалось как-то закруглить ситуацию, но Евг. Бор.[2] молчал, не снисходя до такой темы («а то он обычно после каждого доклада встает и говорит: Папочка решительно ничего такого не думал, а просто в той комнате было окно с видом на Москва-реку»). Выручил Вяч. Вс., сразу возведя тему к заоблачным обобщениям. Заседание пошло своим чередом, но когда в антракте Ж. подошел к Вяч. Вс. за каким-то уточнением, тот побагровел и прямо-таки на него накричал. Некоторое время они не разговаривали, но на следующей конференции помирились, и Вяч. Вс. даже извинился за вспыльчивость. Ж. рассказал мне это по телефону очень живо. Любопытно, что в сверхтонких интерпретациях у него оказалась одна странная оплошность: в стихотворении «Дик

прием был, дик приход» есть строчки «Ты молчала. Ни за кем Не рвался с такой тугой» (= тоской, слово из Сл. о полку Игореве); он принял «тугу» за прилагательное без существительного и доосмыслил в своем духе.

Поздравьте меня (а если можно, то нас): я уже написал половину нашей статьи про праздничные стихи Маяковского. К сожалению, именно статьи: для доклада придется делать более сжатый и броский вариант. А пока получается просто описание поэтики, типового строения стихотворения (композиция и топика), аналогии с Пиндаром и латинскими гимнами — лишь самые заурядные. Как ни странно, даже таких описаний в литературе о Маяковском, кажется, нет: и у нас и на Западе писали всё больше про его идеи и символику. Только это меня и ободряет. — Паралич своей способности к писанию я преодолел (пока) неожиданно. Я писал Вам, что на рождественскую неделю я ездил опять в Сиэтл к своей старой подруге[3]. Наши матери были знакомы: 30 лет назад она пришла ко мне советоваться о диссертации по английскому стиху, я думал: «зачем такой красивой женщине стиховедение?» и старался понять слово «релевантный». Сейчас она автор двух единственных на свете научных книг по английскому стихосложению, одна сухая, другая увлекательная, но ни ту, ни другую не читают, потому что здесь такая же тимофеевщина наизнанку[4], как была у нас, концепции дороже фактов; а она огорчается и нервничает*. Когда я приехал, она была удручена тем, что какой-то молодой энергичный автор новой псевдостиховедческой теории[5] не хочет ее понимать; для ободрения я за один день написал пополам с ней отмежевательно-полемическую статью, которую она тут же послала в журнал, а потом по инерции сел и стал писать нашу с Вами собственную, так что, как видите, усердно соавторствую. Только бы не размагнититься здесь, в Лос-Анджелесе, в пустой ивановской квартире.

[*На полях справа:*] * Хотя женщина она умная и сильная: своего мужа одним уходом вытащила из рака и держит несколько лет. От этого ей тоже трудно.

Начал я это письмо в обратном из Сиэтла самолете, кончаю в Лос-Анджелесе. Из аэропорта меня вез Жолковский и за полчаса рассказал мне очередную свою работу: о Бабеле (Вы помните, что его юбилей грозит в 1994 — надеюсь, что не нам с Вами?), вокруг рассказов «Мой первый гонорар» и «Гюи де Мопассан», хоровод подтекстов и перекличек от Горького до пророка Даниила («...и 29 томов <«шиповниковского»> Мопассана упали на пол, а я...» — а что значит по-еврейски число 29?..), получится увлекательное и, возможно, утомительное художественное произведение, которое многие примут за научное. «В том нахальном стиле, который я усвоил в последние годы: не могу дописать, потому что не всё пока укладывается в стиль. Пополам с М. Ямпольским». А он как пишет? «По-другому, как нынешние тридцатилетние: символика тела и так далее. Будет собранье пестрых глав». Я подумал: мы еще вздохнем о стиле Жолковского.

По газетам и по Алиным телефонным недоговоркам, в Москве очень трудно. Мне совестно, что я здесь сижу на приволье и вдобавок почти ничего не делаю. Иногда мне кажется, что Вам от моих писем может быть немного веселее, а иногда — что я Вам только надоедаю. Я уже недолго буду надоедать: напишу на второй неделе января, когда приедут Ивановы (и наступят разговоры с Светланой), и в конце января, а потом приеду — хорошо, если не раньше последнего письма. Командировка у меня до начала марта.

Целую Ваши руки и низко кланяюсь Павлу Александровичу и Коле. Не сердитесь на меня.

Ваш помощный зверь.

26.12.92. В московский новогодний час буду Вам желать всего самого хорошего.

1 Это совещание состоялось летом 1991 г. в ИМЛИ, к нему был подготовлен пробный вариант комментария к стихотворению Пастернака «Воробьевы горы». В обсуждении принял деятельное участие А. Жолковский, его статья «Грамматика любви», в частности с разбором «Воробьевых гор», была папеча-

тана в сборнике под редакцией И.Ю. и М.Л. «Пастернаковские чтения» (М., 1998. Вып. 2). Работа Жолковского о рассказе Бабеля «Мой первый гонорар» вошла в книгу: *Жолковский А.К., Ямпольский М.Б.* Бабель/Babel. М., 1994. Доклад Н.О. Нильссона о «Воробьевых горах» см.: *Nilsson N.Å.* "It is the World's Midday": Pasternak's poem "Sparrow Hills" // Russian Literature. 1992. Vol. 31(1). P. 27–36.

2 Е.Б. Пастернак.

3 М.Г. Тарлинская.

4 См. из письма к М.-Л. Ботт от 11.7.1993: «Исходный пункт, позднесталинское время — „Теория литературы" Л.И. Тимофеева (неск. изданий). Тимофеев был человек умный и серьезный и старался хоть сколько-нибудь сохранить наукообразность литературоведения в то душное время; но это плохо ему удавалось, а в руках преподавателей-практиков эта „теория" примитивизировалась до невообразимости (я поступил в университет в 1952)» (Новое литературное обозрение. № 77. С. 192).

5 Имеется в виду Ричард Кюртон, автор книги «Rhythmic Phrasing in English Verse» (1992).

П8

[6 января 1993 года, Лос-Анджелес, от руки]

Дорогая Ирина Юрьевна,

начинаю это письмо в первый день нового года с тем, чтобы доложить Вам: накануне я дописал наше сочинение «Грядущей жизни годовщины: композиция и топика праздничных стихов Маяковского». Получился целый печатный лист довольно скучного (хотя и впервые сделанного) описания поэтики как частотной структуры: «читатель, привычный к стихам Маяковского, испытывал на таких-то местах ожидание таких-то приемов или поворотов темы, и подтверждение/неподтверждение этих ожиданий воспринимал эстетически». К сожалению, объем материала невелик (28 стихотворений), поэтому дать индивидуальную иерархию этих ожиданий (такое-то вдвое сильнее, чем такое-то) не удалось. Зато набрались некоторые рассуждения о семиотике советского праздничного цикла, о праздниках, обращенных в прошлое и в будущее, о пере-

осмыслениях их у Маяковского и пр. (отсюда заглавие; интересно, все ли поймут реминисценцию из «Брожу ли я вдоль улиц шумных»). Думаю, что отобрать из этой кучи материал на 20 минут удобовоспринимаемого доклада будет возможно. Но это уже потом, когда из Парижа подтвердят, что нас или Вас там вообще хотят видеть.

А еще я встретил Вашего географического тезку: населенный пункт Подгайцы. Вы мне сказали в свое время (с незабываемыми сенкевичевскими интонациями), что исконные Ваши Гайцы есть в Силезии; а ПодГайцы обнаружились в Галиции, заштатное еврейское местечко, заезженное I мировой войной. О них написано в воспоминаниях Ф. Степуна, «Бывшее и несбывшееся», которые, кажется, переизданы уже и у нас, но в Москве я их ни разу не видел. Мой отец тоже был откуда-то с Юго-запада, но откуда именно, мать точно не говорила, а может быть, и не знала. В Москву он приехал из города Ромны, но это был у него пункт промежуточный. Происхождения он был, по ее словам, смешанно-южнославянского, но все его держали за еврея, что и мне кажется естественней. «Еврей» в России — понятие не расовое и не вероисповедное, а полицейское, «студенты и прочие жиды»: если я (по возрасту) не студент, значит, я — прочий жид. Лицом он казался мне похож на портрет Дельвига; а другим я сам казался похож на портрет Дельвига. Из этого я мог бы сделать вывод, что он мне отец, но, видимо, я прочно запретил себе об этом думать, пока мать после его смерти не сказала мне сама. Теперь я уже старше, чем был он, когда умер.

Вы не сердитесь, пожалуйста, что я так стараюсь спровадить Вас в Париж с нашим докладом. У себя в записной книжке я нашел выписку из «Синего журнала» за 1915: японский рецепт долголетия — один день в неделю ничего не делать. Для нас с Вами долголетие пределом желаний не является, но рецепт этот мне кажется все-таки актуальным; а что для Вас это недостижимо иначе, как в Париже, это уже не наша вина. Из того же «Синего журнала» выписаны две строчки стихов: «В этом мире горя, слез / Ву сере зерёз...» и эпиграмма: «Вот вам виньетка — Живет поэт К. — И этот К. — поэт — Стихами капает».

Продолжаю через несколько дней: только что получил от Окутюрье ответ на мой запрос о его метрических экспериментах. Пишет, что все остались к ним абсолютно равнодушны, даже не возмущались: верлибр у всех отбил ощущение стихотворной формы, и даже традиционные стихи столетней (всего лишь) давности ощущаются как глубокая архаика. Он боится, что из-за этого и Пастернак в его метрическом переводе может показаться французам архаистом, чего не хотелось бы. О конференции по Маяковскому пишет, что еще не выбили нужных денег и поэтому не подтверждали приглашений, но надеются. Входит ли в эту надежду понимание, что нам, русским, проезд за свой счет — дело невозможное, я не понял. Но наши имена он перечисляет совокупно, так что вроде бы поедем/не поедем мы с Вами вместе.

У меня за эти дни была маленькая рабочая радость, первая за эти бесплодные месяцы. После нашей с Вами статьи я торопливо сел за свою — о семантике русского 5-ст. хорея (к 25-летнему юбилею понятия «семантический ореол размера»[1]) и над ней вдруг обнаружил, что знаменитое тютчевское «Вот бреду я вдоль большой дороги... — Ангел мой, ты слышишь ли меня?..» (а заодно два стихотворения 1911 г. на конкурсную тему «А Эдмонда не покинет Дженни даже в небесах» — Ходасевича «Голос Дженни», и его товарища Киссина-Муни) происходит от стихотворения Шиллера «Текла»: тот же размер и тот же загробный образ. Было очень приятно. Но подумалось: господи, сколько очевидностей я не вижу оттого, что не знаю европейских поэзий. И сколько можно было бы увидеть в том же русском модернизме, если бы знать французских символистов по-настоящему, а не так, как я: только Верлена, и то вприглядку. И так далее. Давайте не оставлять хотя бы тему французских чтений Пастернака: у меня сильное подозрение, что за стихами «Поверх барьеров» 1917 присутствует и Рембо.

Когда я был на Рождестве у Тарлинской, в Москве как раз смещали Гайдара. Она меня спрашивала: Почему в России сейчас всё так трудно и болезненно? Я отвечал: когда драматургу Островскому сказали, что его переводят во Франции,

он при всем своем тщеславии удивился: «зачем? ведь для них наш быт — все равно, что их XIV век». А в 1910-х и английский славянофил Ст. Грэм, журналист, мистик и, вероятно, шпион, носивший в Лондоне косоворотку и пешком ходивший от Москвы до Тифлиса, объяснял свой восторг перед Россией: «она — как Англия при Эдуардах», т.е. в том же XIV веке. Будем считать, что мы теперь уже в XV в.: порог нового времени, первоначальное накопление, развал цехового равенства и страх Жакерий. Впрочем, Вяч. Вс. как опытный политик говорит, что перестановки в правительстве никаких перемен не означают. Я ждал, не привезет ли он письмо от Вас, но Вам, видимо, было не до того. Еще раз простите меня за надоедливость: теперь уже недолго.

Я здесь по-прежнему без языка: меня понимают, но я не понимаю. Я подумал, что это лишь доведение до предела моего давно привычного ощущения: я, как на ладони, понятен миру, но мир непонятен мне. (Противоположность романтическому «вам меня не понять»). Между нами как будто стекло, с его стороны прозрачное, с моей зеркальное. Помните, с такими стеклами большие круглые очки были в моде в летнее время лет 20 назад? В них мелькали отражения улицы, и вспоминался Ходасевич: «А на бельмах у слепого целый мир отображен... клочья неба голубого, Всё, чего не видит он»[2]: я этого стихотворения боялся.

Пусть Вам будет полегче, Ирина Юрьевна. Кланяюсь всем домашним и целую Вам руки.

Ваш неизменный М.Г. 6.1.93

1 Термин «семантический ореол» стихотворного метра, или размера, появился в работе М.Л.: Семантический ореол метра: к семантике русского 3-ст. ямба // Лингвистика и поэтика. М., 1979. С. 282–308.

2 Стихотворение В. Ходасевича «Слепой»: «Палкой щупая дорогу / Бродит наугад слепой, / Осторожно ставит ногу / И бормочет сам с собой. / А на бельмах у слепого / Целый мир отображен: / Дом, лужок, забор, корова, / Клочья неба голубого — Все, чего не видит он» (подпись: «8 октября 1922 Берлин, 10 апреля 1923, Saarow»).

П9
[Апрель–май 1994 года, Италия, от руки]

Дорогая Ирина Юрьевна[1],

когда я был в Америке, и в одном городе меня встречал Жолковский, а в другом Щеглов, то мне казалось, что вся русская филология живет в Америке. А здесь мне стало казаться, что вся русская филология живет в Италии. Приезжаю в Рим, меня везет к себе молодой Шишкин, помогающий Дм. Вяч. Иванову делать бесконечное собрание сочинений его отца; навстречу выходит Маша Плюханова из Тарту — оказывается, она его жена; а с лестницы спускается Борис Успенский. «Как, — говорю, — Вы же заведуете кафедрой в Неаполе?» — «А здесь, — говорит, — все работают в одном месте, а живут в другом». Я Успенского боюсь, в Москве вижу его раза два в год, но тут как мы встали на лестнице, так и проговорили два часа — про метафоры у Мандельштама, злодейства иконных реставраторов и текстологию без рукоприкладства. После этого я, не раздевшись, не умывшись, почувствовал себя вполне акклиматизованным. А на другом конце Италии живет сын Цивьян[2], и она сейчас у него в гостях. Все они далеко не процветают, работают по глухим местам. Плюханова преподает латышский язык, а русская жена моего главного приглашателя[3] зарабатывает гидом при новых русских миллионерах, приезжающих во Флоренцию.

Но пишу я это Вам уже с трети моего пути, из пастернаковского города Венеции. Встречает меня на вокзале здешний мой приглашатель[4], говорит: «Рад вас видеть в золотой голубятне у воды...» [Ахматова]; «...в размокшей каменной баранке», — отвечаю я[5]. Знаете, почему каменная баранка? Поезд подходит к Венеции по длинной дамбе через лагуну — если Вы ездили в Крым, то точь в точь такая дамба там лежит через Сиваш, Гнилое море (Пастернак, видимо, не ездил). И виднеющийся берег Венеции издали надвигается выпуклым полукругом с низкими смутно-каменными строениями по ободу; а вокруг по лагуне маячат редкие

камышовые островки, как крошки вокруг баранки. Вот какой реальный комментарий везу я для Кости Поливанова.

К сожалению, этот комментарий — весь прок от Венеции. Оказалось, что доклад мой здесь отменен, и я должен пробыть здесь два дня праздным туристом, а я этого не умею. Сегодня меня весь день водили по городу два слависта. Помните ли Вы, что у Пастернака есть второе стихотворение о Венеции: «Венецианские мосты», перевод из Ондры Лысогорского? перечитайте, оно хорошее. А потом вспомните, пожалуйста, наш общий Марбург; сузьте мысленно его переулочки до одного-двух шагов поперек; на перекрестках вообразите эти самые венецианские мосты, утомляюще-горбатые, а под ними «голубое дряхлое стекло», которое на самом деле зеленое и очень мутное; и считайте, что Вы побывали в Венеции. В довершение домашности через город течет москворецким зигзагом Каналь-Гранде шириной с ту Канаву, что возле Болотного сквера, а по ней ходят речные трамвайчики, только почаще и почище, чем у нас. Ходят медленно-медленно, чтобы люди смотрели по сторонам на замшелые мраморные бараки. Домам в городе тесно, они сплющивают друг друга до остроугольности, а каждый дворик называется «площадь».

Чего нет в Марбурге и Москве, так это собора св. Марка, но это очень хорошо. Он страшен патологическим великолепием. Он огромен, под пятью куполами, и на каждой белой завитушке фасада сидит по святому. В куполах золотые византийские мозаики, а под ними барочные фрески с изломанными телами и вьющимися плащами. Посредине — православный иконостас, а на нем в ряд католичнейшие черные скульптуры двенадцати перекрученных апостолов. Центр внимания — византийская доска в 80 икон, еле видных из-под сверкающего оклада с таким золотом и каменьями, что за поглядение на них берут добавочную плату. Огромный храм так загроможден алтарчиками и амвончиками, что в нем не повернуться, и тесная толпа туристов бурлит по нему, как перемешиваемая каша. Туристы — это стада школьничков с цветными рюкзаками и сытые иностранцы. Я вспомнил римского св. Петра — единственное, что я там

видел четыре года назад. В нем только голые мраморные стены, уходящие в неоглядную высь, и такой светлый простор, что даже туристические толпы теряются, как на площади.

Предыдущий мой город, Болонья, почти гордится тем, что он — не туристический. В нем улицы — как переулки, и вдоль у всех по сторонам — аркады с портиками, радующими мои античные привычки. (А между ними протискиваются рыжие автобусы). Тяжеловерхий романский собор сросся из нескольких церквей и похож на темную коммунальную квартиру четырех святых. Над городом, как двузубая вилка, стоят две квадратные башни, одна прямая, другая наклонная, и на ней надпись из Данте: «Антей стоял в огненной яме, наклонясь, как болонская башня». Но, наверное, у меня хорошая память о Болонье не поэтому, а потому, что повезло встретить хорошего человека — женщину, которая устраивала мою лекцию[6]. Ее специальность — Востоков и Хлебников (!); оказалось, что десять лет назад я ей в чем-то помог по стиху Востокова. Мне трудно разговаривать с людьми, но с ней было легко. Еще молодая, уже усталая, муж — англичанин-преподаватель (похожий на молодого моржа), два нежно любимых кота.

И другая приятная память: в Болонье я разговаривал по-английски. Во-первых, при хозяйкином муже («он преподаватель, он привык слышать неправильную речь»), а во-вторых, при визите в то издательство, которое выпустило мою книгу[7]. Я сказал: «мой английский ужасен!», темпераментная редакторша сказала: «мой английский катастрофичен!», и после этого мы четверть часа с полным взаимопониманием и обоюдным удовольствием обсуждали их издательские планы. Вообще же без языка плохо, хотя итальянцы и хвастаются, что благодаря туризму они научились понимать даже японцев.

Доклады мои делал как бы и не я. У нас студент, если он плохо понимает по-иностранному, то и не пойдет слушать иностранного лектора. А здесь (сказали мне) приходят даже первокурсники, еле знающие язык. Договорились, что перед каждым моим абзацем будут двумя словами резюмировать его суть. Но на самом деле переводили почти каждую мою

фразу, да еще с пояснениями: ведущая говорила в полтора раза больше, чем я. Я чувствовал себя Аристотелем на лекции по Аристотелю. Боюсь, что так будет и на остальных докладах.

Продолжаю через несколько дней — с двух третей моего пути. Всё обошлось: в главном моем городе, Пизе, первокурсников слушать меня не пустили, и я медленно до отвратительности говорил по-русски. Пизанская башня только притворяется падающей: чуть заметно. А рядом с ней стоит, как будто шокированный ее кокетством, гораздо более привлекательный собор: чинный, угловатый, но весь покрытый колонночками и арочками, как тюлем. Небо синее, трава зеленая, а собор белый. У него купол, как голубая лысина, а рядом на земле стоит другой купол, побольше и попышней, как будто собор снял шапку от жары: это баптистерий. Внутри собора всё только светло-серое и темно-серое, как на доцветной фотографии, и от этого ярче маленькие витражи; на одном — ярко-синий бог держит желтую солнечную систему, вероятно — птолемееву. Сам же город потертый и облупленный, и дом, где кафедра славистики, похож на каменный сарай. За углом, в ряду других, — трехэтажный домик: «это всё, что осталось от башни Уголино, вот мемориальная доска, а теперь тут библиотека».

Мандельштам писал о холмах, всечеловеческих, яснеющих в Тоскане[8]. Они зеленые и как будто колышущиеся, а за ними Апеннины — тоже зеленые и пушистые. Даже когда гора встает дыбом, у нее нет рыжих обрывов: добрые горы.

Все разговоры среди славистов — о Харджиеве[9]: только здесь его и печатали. «Он еще четыре года назад твердил: в России жить невозможно». Я отвечаю: за 90 лет можно бы и привыкнуть. Уже рассказывают, будто его жена и сама отъезд ему устроила, и сама под статью его подвела. Слушаешь, как разговоры о Чичикове: вот-вот скажут — «Наполеон!» Новых знакомых среди них у меня двое: толстый и тощий. Толстый — это поминавшийся Цивьянов сын, похожий на полторы своей матери; привык говорить по-русски для итальянцев так медленно, что кажется, будто с акцентом. «Итальянские студенты — прилежные: это в них официально насаждаются угрызения совести за то, что со времен Дан-

те Италия ничего не сделала в словесности, а только в живописи и музыке». Тощий — это мой старый корреспондент, переводчик Мандельштама и комментатор «Облака в штанах»[10]: то ли нервный из почтительности, то ли почтительный из нервности. Я дал ему на день две свои машинописи на его темы — он вернулся в отчаянии: потерял их, забыл в телефонной будке вместе с грудой собственных бумаг. Я в тысячный раз вспомнил незабвенные слова Аверинцева после его первой стажировки: «Миша! непременно поезжайте в Италию, вы даже не почувствуете перемены обстановки, там такая же безалаберщина, как у нас»[11]. Кстати, каждый собеседник непременно говорит: «Берегите деньги! Здесь Лотмана обокрали. Мелетинского обокрали: это уже традиция».

Венецианский Марк был (как будто) золоченый, пизанский собор — белый, флорентийский — серый (и небо над ним серое — единственный раз за две синих недели). Светло-серый, выложенный темно-серым, — говорят, весь тосканский камень такой. Он — как огромная умная голова над городом на восьми крепких плечах во всю площадь. Купол словно расшит бисером по тюбетеечным швам, но так высок и важен, что этого не замечаешь. Сбоку — баптистерий, тоже серый по серому, не как шапка, а как восьмигранный мраморный кристалл. С другого боку — узкая белая колокольня, как четырехгранный карандаш. Все очень знаменитые и присутствуют во всех историях искусства. А на соседней площади стоит очень маленький белый микельанджеловский Давид (копия). Маленький, потому что за его спиной огромный бурый фасад ратуши, плоский и островерхий: он при ней, как привратник. А что копия, так это ничего: неподалеку стоит домик Данте, весь построенный сто лет назад. Рядом через переулочек — вход, как в лавочку, и надпись: «Это церковь, где Данте встретил Беатриче Портинари». Флоренцию Данте ненавидел и себя называл «флорентинец родом, но не нравом».

Вот в таких и подобных декорациях я был на двух ученых конференциях. Одна, по европейскому стиху, была в белом монастыре над Флоренцией: покатый деревянный потолок,

временами колокольный звон. Я понимал, о чем говорят, но не понимал, что́ говорят. (Впрочем, потом мне сказали, что у большинства и понимать было нечего). Другая была в Риме, докладывал Успенский, а пока ему ксерокопировали раздаточные листки, я сообщал о московском издании Мандельштама: «задумано чудо, не делается ничего». Потом командир итальянских славистов принимал нас дома[12]: вельможная осанка, вилла с видом на римский акведук, отвратительный русский язык и околонаучные сплетни. Чем он занимается в науке, я так и не понял. «Здесь все начальники такие?» — «Нет, один есть получше: он вальденец». — ? — «Да, как в XII веке: у них свои центры по всей Италии». — «А чем он занимается?» — «Издает „Тень Баркова" с комментариями»[13].

Доклад Успенского был хороший: как у Мандельштама звуки слов подсказывают неназванные метафоры. Написано: «и расхаживает ливень с толстой плеткой ручьевой», слышится «и расхаживает парень». Мы разговаривали: какое слово метафорично — ливень или парень? «Вы говорите, как переводчик, — сказал он мне, — а я как носитель языка: вы сперва подумаете, потом скажете, а я и большинство сперва скажут, потом поймут сказанное. Вы переводчик, поэтому у вас такое отношение к речи». — Скорее, наоборот, я стал переводчиком из-за своих языковых трудностей. — «Ну, это уже вопрос о курице и яйце». Его спросили: а нет ли таких звуковых метафор у Верлена? Он сказал: «надо подумать».

За две недели я чувствовал себя человеком шесть дней: три лекции, две конференции, один день взаперти в гостиничном номере. Хотел увидеть родной римский форум, но уже не хватило сил. (Хозяевам сказал: «там все постройки — императорские, а для меня это уже модерн»). Зато, проезжая, видел вывески: улица Геродота, улица Ксенофана, улица Солона, улица Питтака, кафе «Трималхион». И возле куска древней китайгородской стены стояла узким серым клином пирамида Цестия — чье-то необычное надгробие, античный конструктивизм.

Я записывал для Вас только то, о чем мне хотелось бы обменяться с Вами репликами, стоя рядом. Я чувствовал себя

Вашими глазами на чужой стороне — только нервы их тянулись далеко в Москву и поэтому всё время были в напряжении. Простите, если мое зрение было хуже, чем мне хотелось бы. Дописываю в самолете, летя в Москву: час назад внизу сквозь редкие облака белели Альпы. Приеду, передам Вам это письмо и постараюсь всё забыть. Целую Ваши руки.

Все тот же Ваш М.Г.

IV–V. 94

1 Ср.: Записи и выписки. С. 126–128.

2 Н.А. Михайлов.

3 Стефано и Наталья Гардзонио.

4 Ремо Факкани.

5 Цитаты из стихотворений А. Ахматовой «Венеция» и Б. Пастернака «Венеция».

6 Габриелла Импости.

7 В болонском издательстве Il Mulino в переводе Ст. Гардзонио вышла книга М.Л. «История европейского стиха»: «Storia del verso europeo» (1993).

8 В стихотворении «Не сравнивай: живущий несравним...».

9 В ноябре 1993 г. искусствовед, литературовед и коллекционер Николай Иванович Харджиев и его жена Лидия Васильевна Чага уехали из России в Нидерланды. Харджиев сумел заранее переправить за границу коллекцию картин и рисунков русских авангардистов (К. Малевич, М. Ларионов, Н. Гончарова и др.), а также часть своего уникального литературного архива; остальная часть была задержана на таможне в Шереметьеве, из-за чего и вспыхнул шумный скандал. Вся дальнейшая драматическая судьба Харджиева и его жены, а также его художественных и литературных сокровищ стала темой не только многих разговоров, но и статей и судебных разбирательств, в России и за границей. Наиболее полный обзор «дела Харджиева» дается в книге голландской журналистки Хеллы Роттенберг: *Rottenberg H.* Meesters, marodeurs: e lotgevallen van der collectie-Chardzjiëv. Amsterdam, 1999.

10 Ремо Факкани.

11 Слова Аверинцева о «безалаберщине» в Италии М.Л. приводит и в письме к М.-Л. Ботт от 13 октября 1990 г. (Новое литературное обозрение. № 77).

12 Русист и полонист Микеле Колуччи, заведующий кафедрой славистики Римского университета La Sapienza, был секретарем Итальянского комитета по славяно-романским исследованиям, зампредседателя Ассоциации итальянских русистов, основате-

лем и редактором журнала Russica Romana. Среди его трудов — критическое издание «Моления» Даниила Заточника, сборники переводов Баратынского и Ахматовой, а также книга собственных стихов, вышедшая за год до его смерти.

13 Чезаре Дж. де Микелис, заведующий кафедрой славистики Второго Римского университета, принадлежит к вальденской протестантской деноминации, восходящей к религиозному движению XII–XIII вв. (сообщено Ч. де Микелисом). В свое время вальденское движение было широко распространено в Западной Европе и подвергалось преследованиям со стороны католической церкви. Одна из книг ученого — перевод «Тени Баркова» (*Puškin A.* L'Ombra di Barkóv / A cura di Cesare G. De Michelis. Venezia, 1990); подробнее о его научной деятельности см.: *De Michelis Cesare G.* I giorni e le opera: Lineamenti biografici e scientifici. 1944/2004. Roma, 2004.

П10
[7 сентября 1994 года, Принстон, от руки]

7.9.94

Дорогая Ирина Юрьевна,

когда Левин таки позвонил мне по телефону и мы договаривались о «Шмидте»[1] натянутыми с непривычки голосами, то одновременно он послал мне и открытку, о которой я уже не успел Вас известить. А в ней говорилось, что стиховедческую часть он сделает, но ни стилистику, ни отзывы БП о самом себе и критики о нем он делать не будет, — т.е. ограничится переработкой того, что было у него в стокгольмской статье о «Л. Шм.», без всяких прибавлений. Его можно понять, но это значит, что историю работы над поэмой и критику придется дописывать Косте, а стилистику — мне. Сочувствую Косте, но себе — больше. Получается, как будто я один умею отличить метафору от метонимии. И если бы умел, так не умею же!

(Когда я в первый раз прочитал «Л.Шм.», то ничего не понял, потому что даже о восстании его в учебниках и расхожих книгах не было ничего написано, а о любовной исто-

рии — и подавно. Думаю, что в нашем поколении таких невежд было больше, чем 99 из 100. Любопытно, что это никому не мешало правильно воспринимать «детей лейтенанта Шмидта» у Ильфа-Петрова. Что навевает нехорошую мысль о том, что комментарии и комментаторы не так уж и нужны. Достаточно написать, как в одной пародии, «Зодиак: такое слово», и читатель сразу поймет, какие слова должны быть понятны, а какие нет. А больше от комментария ничего и не нужно, он должен не давать ответы, а правильно расставлять вопросы).

Перед самым моим отъездом коллега из Ленинграда позвонил мне, что вышел I том академического Пушкина с надписью: «пробный выпуск: для обсуждения». Собственно, это как наши макетные тома «Истории всемирной литературы»[2]. Хорошо бы нам добиться того же и для Мандельштама с Пастернаком. У Фрейдина давно на уме мысль, что Мандельштама надо выпускать препринтами, но до ушей Кузнецова он ее не доводил, здраво полагая, что не встретит понимания. Хоть бы удалось нам издать «Сколько типов и лиц»[3]: тогда можно было бы, тыкая в эту наглядную разнопёрость, вымогать у дирекции дополнительных сроков на унификацию. (В том числе и на метафоры с метонимиями.)

Барнс сказал: «Моя докторская была о „Поверх барьеров“ 1917 г.»[4]. Я сказал: «О! а у меня там есть стихотворения, которых я так и не понимаю». Он сказал: «И у меня тоже».

А у Мандельштама в переводе старофранцузского «Коронования Людовика» есть строчка: «Бог — человек мудрый, он нас судит и пасет...» (Как это могло бы выглядеть по-старофранцузски?). И после этого кто-то уверяет, будто он был человек верующий и даже православный. Я наткнулся на этот стих в самолете, размечая ритмику старофр. переводов ОМ: она очень интересная. Коля должен был передать Вам и Павлу Ал. оттиск статьи «Фригийский стих на вологодской почве» про одну поэму Адамовича[5]; так вот, когда О.М. переводит старофр. александрийский стих, то у него получаются очень похожие ритмы. (Приятно думать, что Адамович мог влиять на Мандельштама). У меня они так засели в ушах, что

во вторую же ночь в Америке мне приснились три строчки этим размером, неизвестно откуда:

...Ища смерти у засмертья, что не манит прохладой нас...
...Утро встанет, даль настанет, голос выцветет и замрет...
...И в окне, как свет невинный, бледный пленник накоротке...

Пишу я Вам уже из Принстона, а перед этим была инструктажная толчея (вроде пересыльной тюрьмы) в Вашингтоне. Среди 80 человек рассылаемых были две дамы из ИМЛИ и Чагин с его туманным взором. Говорит, что тема его — параллельные процессы в эмигрантской и советской литературе, а материал — сравнение схожих текстов, например, «Сеновала» Мандельштама и про эстрадных «звезд» Ходасевича[6]. (Если не помните, перечитайте и почувствуйте мое недоумение). «Схожих??» — говорю. «Глубинно», — отвечает.

Свое безъязычие больше ощущаешь не среди американцев, а среди владеющих языком соотечественников. Одна дама из Воронежа чувствовала себя настолько на коне, что и с соседями рвалась разговаривать исключительно по-английски. Я молчал и угрызался невежеством. Оно относительное: Василенко знает язык не лучше меня, но он смело завязывает любые разговоры, а я прячусь в свое непонимание-со-слуха, как в скорлупу. (Как в русское заикание). Это еще не худшее, такой же психологический паралич остался у меня непреодоленным в еще более жизненно важной области, но то — уже дело прошлое, а научиться говорить мне надо бы ввиду одного будущего приглашения в Англию, где обещают большую стипендию и идеальные условия для работы, но в обмен на несколько лекций на английском языке. Не научусь ведь.

Говорят, для солдата самое тяжелое сражение — второе: первое легче от любопытства, третье от привычки. Я чувствую себя как раз во втором сражении. Потому я и начал это письмо, как с полуслова, чтобы ухватиться за наши с Вами общие дела. Сейчас уже началась работа, постараюсь делать ее, как машина, и в следующих письмах надеюсь что-нибудь

сказать о психологии черновиков ОМ. Но работы намечено, как всегда, в полтора раза против посильного. Так что вспоминаю Ваш ободряющий жест из окошка троллейбуса — кажется, на Серпуховской.

Я не спрашивал Вас, какие заботы были у Вас в последнюю мою (и первую Барнсовскую) неделю, — только догадывался. Как раз перед этим из письма одного коллеги из города Коломны по фамилии Петросов я узнал, что есть армянское пожелание «ко цават танем», что значит «пусть я возьму твою боль».

Если это письмо не пропадет (не хотелось бы), оно дойдет до Вас вскоре после равноденствия. Пожелаем по этому поводу друг другу душевного равновесия, а я, наверное, буду тогда писать Вам следующее письмо. Это первое мое письмо отсюда: еще недели нет после отлета.

Низкий поклон Павлу Александровичу и Коле. Целую Ваши руки.

Ваш Взаимоопорный Столб.

1 Для готовившегося в ИМЛИ собрания сочинений Пастернака предполагалось, что комментарий к поэме «Лейтенант Шмидт» напишет Ю.И. Левин — автор работы: Заметки о «Лейтенанте Шмидте» Б.Л. Пастернака // Boris Pasternak: Essays / Ed. by N.Å. Nilsson. Stockholm, 1976. P. 85–161 (Stockholm Studies in Russian Literature. Vol. 7). Фрагменты статьи перепечатаны: *Левин Ю.И.* Избранные труды: Поэтика. Семиотика. М., 1998. С. 174–208.

2 Речь идет о коллективном издании: «История всемирной литературы: В 9 т.», выходившем с 1983 г. Задолго до этого были подготовлены «макетные» — пробные — тома (1-й и 9-й), по содержанию менее консервативные, чем те, что появились позже.

3 При выпуске первого сборника статей «Пастернаковские чтения» издательство Института мировой литературы «Наследие» настаивало, что для лучших продаж необходимо сборнику дать какое-нибудь интересное название — редколлегия предложила «Быть знаменитым некрасиво…». Сборник, напечатанный тиражом 500 экземпляров, был распродан меньше чем за год. Для второго сборника шутливо предлагалось название «Сколько типов

и лиц...» (в поэме Пастернака «1905 год» продолжается эта строчка — «вот — душевнобольной, вот — тупица»).
4 Имеется в виду диссертация английского пастернаковеда К. Барнса: *Barnes C.J.* The Poetry of Boris Pasternak with Special Reference to the Period 1913-1917. Doctoral thesis. University of Cambridge, 1971.
5 *Гаспаров М.Л.* Фригийский стих па вологодской почве // Russian Linguistics. Vol. 18 (1994). № 2. P. 197-204; то же: Избранные труды. Т. III. С. 259-266.
6 Очевидно, речь идет о стихотворении В. Ходасевича «Звезды» (1925).

П11
[28 сентября 1994 года, Принстон, от руки]

№ 3 28.9.94

Дорогая Ирина Юрьевна,

это третье письмо, которое я Вам посылаю, но дойдет оно, наверно, первым, если дойдет. Я с отвычки перепутал и на первые письма наклеил недостаточные марки, — поэтому если даже они не пропадут совсем, то поползут в Москву по морю и по суше, а приползут неведомо когда. Раздосадовался я, узнавши об этом, до смешного: три недели чувствовал себя, как будто разговариваю с Вами, хоть и односторонне, а оказывается, ничего подобного и не было. Простите.

За это время выяснилось, что с Флейшманом я вряд ли увижусь: у него выходной год, и через месяц он уезжает работать над Пастернаком в Германию. Он собирался было за этот месяц организовать мой приезд с докладами в Калифорнию, но тут выяснилось, что за это время он должен еще съездить в Италию: получить премию за итальянский перевод его книги о Пастернаке (вероятно, последней, суммарной)[1]. Если он объявится где-нибудь поблизости — не забудьте поздравить. А я, если удастся еще говорить с ним по телефону, постараюсь напомнить, что мы ждем от него «Высокой болезни». Я просматривал в библиотеке журналы по-

следних двух лет — о Пастернаке почти ничего (вот что значит: юбилей миновал), а что было, то на неинтересных Вам языках. Например, старому Нильссону не дают покоя лавры Жолковского, и он тоже напечатал разбор стихотворения «Воробьевы горы»[2]. Кажется, здравый и разумный, но подробно я еще не читал: страшно стало при мысли, что надо будет это читать в обязательном порядке и использовать для дополнений к комментариям Вяч. Вс. и прочих. Особенно страшно при мысли, вдруг мне за всех придется отличать метафоры от метонимий. И в Мандельштаме тоже!

Мандельштамовское время я трачу неразумно. Здесь в Принстоне живет болезненная женщина из Москвы[3], вне штата, на чистом энтузиазме рассортировавшая и описавшая весь мандельштамовский архив. По образованию она античница («я однажды к вам консультироваться по Овидию приходила»), из Принстона ей через несколько лет уезжать, и вот она решила сделать издание поздних списков Мандельштама (прижизненных и посмертных «альбомов» Н.Я.) с такой тщательностью, с какой делается аппарат к античным авторам: «в рукописи А после слова „сон“ нет запятой, а после слова „ночь“ стоит клякса». Оказалось, что косвенным виновником этого замысла был я: он пришел ей в голову после того, как два года назад мы три дня для пробы сличали здесь несколько списков. Поэтому уклониться от участия в этом ее (с еще одним коллегою) труде я не имел морального права, так что сразу оказался в знакомой ситуации: не свое дело делаю, а чужому помогаю*. То есть, конечно, эти списки — тоже мое дело, и заниматься ими я должен, но больно уж много внимания уходит на подсчет клякс. Две недели, однако, занимался я и более насущным делом — читал черновики. И опять это вылилось в не то, что надо: вместо того, чтобы изобразить прочитанное, как в академическом Пушкине «окончательная редакция — ..., предшествующие редакции каждой строки — а, б, в...» — казалось бы, легко, а не дается! — вместо

[*Внизу страницы:*] * И еще оказываю моральную поддержку, ободряю итд., по амплуа.

этого я пишу большую статью по истории текста и смысла «Грифельной оды», по существу переписывая Семенко[4], которая здесь оказалась из рук вон плоха. Следить, как смысл «Оды» менялся на ходу, — очень интересно; если напишу, то рекламно озаглавлю «История текста Грифельной оды: от Аполлона к Дионису». Но все-таки переписывать заново Семенко — не значит готовить академического Мандельштама.

Хорошо, что Пастернак не хранил черновиков! Но какие-нибудь ведь остались? И кому-то придется расписывать их варианты по «а, б, в» пушкинского образца? Я ему сочувствую. А мы ведь почему-то на наших совещаниях всё страдали о комментариях и почти не думали о разделе «Другие редакции и варианты». Что-то будет?

По всему по этому мысли здесь у меня невеселые, а забот столько, что приходится себя вразумлять: «пять забот вместо двух? так в Москве их было бы пятнадцать!» В тайном месте записной книжки я вдруг нашел свое письмо к самому себе, писанное в сильной депрессии лет семь назад: «ты будешь то-то и то-то», много пунктов; я забыл о нем, а теперь вижу: всё, что там написано нехорошего, таки состоялось. Даже с превышением: я думал, что буду еще переводить всякий вздор. А не перевожу давно совсем ничего. Но, конечно, по сравнению со всем остальным переводы — это пустяки.

О Ваших заботах тоже все время думается, — и вот тут, хоть я и старался не очень повторять предыдущие два письма, я все-таки повторюсь. От одного старого русиста с родственною мне фамилией Петросов я незадолго до отъезда узнал, что есть по-армянски пожелание: *ко цават танем*: «пусть я возьму твою боль». Можно, я буду Вам так писать?

А еще незадолго до отъезда покупал я внучке впрок книжку нравственных антинаставлений писателя Г. Остера в афористическом стиле Козьмы Пруткова. Самый запомнившийся из них гласил: «Держать себя в руках — противно»[5].

Низко кланяюсь Павлу Александровичу и Коле и целую Ваши руки.

Ваш взаимоопорный столб.

1 Л. Флейшман получил литературную премию Giovanni Comisso за книгу «Boris Pasternak», вышедшую в 1993 г. в болонском издательстве Il Mulino.
2 См. письмо П7 от 26 декабря 1992 г.
3 Е.В. Алексеева.
4 См.: *Семенко И.М.* Поэтика позднего Мандельштама: От черновых редакций к окончательному тексту. Roma, 1986 (2-е доп. изд.: М., 1997).
5 Цитата из серии «Вредные советы».

П12
[6–10 октября 1994 года, Принстон, от руки]

№ 4 6–10.X.94

Дорогая Ирина Юрьевна,

помните, очень-очень давно я спрашивал у Вас помощи со стихотворением Малларме, которое, казалось мне, излагает объяснение в любви, а мой заочный консультант, которому французский был почти родным, категорически утверждал: «нет, это заход солнца!»? (Последствия меня оправдали: в книге про Малларме я прочитал потом, что это стихотворение таки любовное, и даже было написано, к кому). Я вспомнил об этом, сочиняя статью об истории текста и смысла «Грифельной оды»: у меня получается, что она — про культурную преемственность (то ли от Державина, то ли от геологических формаций, Мандельштам сбивается с одного на другое), а в книжке Омри Ронена[1] получается, что оно про процесс творчества с ночными озарениями и эпифаниями. Одна надежда, что здесь соприкосновения больше и что я смогу как-нибудь изложить свой толк, чтобы Ронен не обиделся.

Как работает Василенко! как зверь. Днем над бумагами в архиве, а вечером над микрофильмами тех же бумаг в библиотеке. Причем в глазу у него астигматизм, в теле что-то такое, от чего он носит с собою подушку подкладывать на стул, а чтобы из Америки содержать безработную семью, он даже вместо чая пьет бесплатный кипяток с бесплатными пакети-

ками меду. Когда работает в рукописном зале, то ставит перед собой три карточки жены и детей. Почерк Мандельштама читает гениально: недавно мы с ним там, где Семенко читала «резьбы», прочитали «рюхи», и весь смысл встал на свое место*. И все-таки я себя с ним неуютно чувствую и не нахожу, о чем разговаривать: оттого, что он гораздо лучше меня в текстологии и в то же время суетлив и почтителен, как Макар Девушкин. Я здесь вообще оказался, неожиданно для меня, на положении важного гостя, этакой знатной дубины: если бы не мой приезд, то, может быть, мандельштамовский архив уже был бы закрыт на химическую обработку и, скорее всего, погиб бы. Он все равно закроется и погибнет, но теперь — лишь через восемь месяцев. И, как важный гость, я даже не вызываю удивления тем, что не понимаю английского и изъясняюсь преимущественно улыбками. Как поэт Алексей Софронов, который писал толстые книги про то, как он объездил полмира, борясь за мир, и во всех Индонезиях разговаривал улыбками и рукопожатиями[2]. Вот до каких сравнений я дожил.

Вообще, в прошлой поездке я привык соседствовать с интересными собеседниками вроде Иванова, Жолковского или Осповата, записывать их разговоры и пересылать Вам, а теперь этого нет. Единственный сейчас мой знакомый человек на кафедре — это женщина, сочинившая монографию об

[*Внизу страницы:*] * А сегодня, когда я принес ему трудное место из черновиков «Армении» — Создатель дал ей в удел «лишь самые главные краски, которыми демон <?> владел», — он не только согласился, что Семенкиио «демон» здесь не читается, но и прочитал «эллин владел», — и сразу осмыслился не только «эллинско-христианский аванпост» Армении, но и история о том, что первые греческие художники пользовались только четырьмя красками, добывавшимися так-то и так-то; Мандельштам мог это знать из разговора в «Аполлоне», но Василенко-то этого не знал!
[*На полях:*] Первый понедельник октября здесь — «Колумбов день»: путеводитель говорит, что он — не в память открытия Америки, за которое американцы стыдятся перед индейцами, а для того, чтобы люди полюбовались па красную и рыжую осеннюю листву.

Андрее Битове с подзаголовком «Экология вдохновения»[3] и читающая курс «Русская революция и литература», начинающийся «Бесами» Достоевского, а кончающийся почему-то «Старухой» Хармса. Я ей говорю, что к тайне русского народа, вместе с его революцией, нужно подходить не через Достоевского, а через Щедрина, — но для иностранцев это невозможно, и не только потому, что они запутаются в реалиях и аллюзиях, а пуще потому, что щедринский язык по стилистическому богатству его ехидства абсолютно не поддается переводу. Наверное, единственным, кто мог бы передать исхищренную точность щедринских слов, был бы Набоков, который, однако, презирал Щедрина смертным презрением[4]. На столе у моей собеседницы лежит красный том, изданный в Петербурге: «Русская литература XX вв. в работах американских ученых», — наверно, он уже дошел и до Вас. Из него я узнал, что русский язык уже обогатился новым словом «гендер» и даже понял, что это такое: то, что различает мужчину и женщину биологически, это пол, а то, что различает их социально, это гендер. Буквально же слово gender означает грамматический мужской — женский род, и, сталкиваясь с ним в иностранных статьях, я ничего не мог понять. Кстати, по-английски это слово произносится «джендер», а слово «гэндер» есть, но означает совсем другое — птицу гусака, из-за которой поссорились Иван Иванович с Иваном Никифоровичем. Думаю, что у русских самоотверженных переводчиков этот каламбур получился невольно[5]. Но будьте настороже, скоро это слово станет очень ходким: здесь без него уже не обходится ни одно филологическое оглавление. Это феминизм.

Читая примечания к Мандельштаму и разные мемуары, мне стало казаться, что есть такое понятие «профессиональная красавица», вроде Соломинки-Андрониковой или Глебовой-Судейкиной. Собственно, это не более странно, чем «профессиональный молодой поэт», вроде 60-летнего Вознесенского[6]. Но тут я вспомнил случай, о котором, может быть, Вам рассказывал. Мне было лет 15, я был у Веры Вас. Смирновой, к ней по какому-то делу пришла

С.И. Ивич-Бернштейн, которая тогда была за Маркишем, а потом за К. Богатыревым[7], я скучал, изучая книжные корешки, а когда она ушла, В.В. сказала, ни к кому не обращаясь: «не люблю таких стопроцентных женщин». И вот тут я при всем моем эмоциональном невежестве ослепительно понял, что я тоже не люблю таких стопроцентных женщин, и остался при этом понимании на всю жизнь. Сейчас эта Ивич-Бернштейн живет в штате Колорадо, готовит к изданию список позднего Мандельштама, надиктованный ее отцу Надеждой Яковлевной, и переписывается с моей и мандельштамовской здешней заботницей <...>. Концы сходятся.

Простите за бессодержательность. По Якобсону, это называется «фатическая функция речи» — с установкой на контакт (а не на пять других элементов речевого акта)[8]. Павлу Александровичу и Коле низкий поклон. Целую Ваши руки.

Ваш взаимоопорный столб.



[*На полях второй страницы:*] Аля пишет «живем тихо, стреляют каждый день не только на улице, но и у нас во дворе, но пока не в нас, так что войны и революции пока не ждем».

Как полагается, с портретом автора — по-моему, приукрашенным (выбросьте, пожалуйста). Рисовал в Иейле один очень известный старый лингвист[9] (и немножко даже стиховед), когда после доклада меня кормили в сиамском ресторане чем-то малосъедобным.

1 Омри Ронен проанализировал «Грифельную оду» в своей гарвардской диссертации «Osip Mandel'štam: an ode and an elegy» (1976) и в своей монографии «An Approach to Mandel'štam» (Jerusalem, 1983). Статья М.Л. о «Грифельной оде» — «„Грифельная ода“ Мандельштама: История текста и история смысла» — была напечатана в 1995 г. в журнале Philologica.
2 Конечно же, Анатолий Софронов.
3 Имеется в виду книга: *Chances E.B.* Andrei Bitov: The Ecology of Inspiration. Cambridge; N.Y., 1993.
4 Ср.: Записи и выписки. С. 47–48 («Переводы»).
5 Ср.: Записи и выписки. С. 17 («Гендер»).
6 Ср.: Записи и выписки. С. 53 («Профессионализм»).
7 М.Л. объединяет в одном лице С.И. Богатыреву (урожденную Бернштейн) и первую жену С.П. Маркиша — переводчицу И.М. Бернштейн.
8 М.Л. имеет в виду модель шести функций языка, описанную Р.О. Якобсоном в известной статье «Linguistics and Poetics» (1960) и в ряде других работ.
9 Эдвард Станкевич, лингвист и славист, специалист по славянской акцентологии. В книге «Записи и выписки» на фронтисписе помещен его же рисунок.

П13
[21 октября 1994 года, Принстон, от руки]

№ 5 21.10.94

Дорогая Ирина Юрьевна,

мой английский коллега по стиховедению пишет, что издает переписку Д. Святополк-Мирского (помогавшего Цветаевой) с другим тогдашним евразийцем; по поводу книги Цветаевой 1928 г. Мирский

пишет: «какая поэтесса, так ее мать! только секли ее в детстве мало»[1]. Мне это показалось самой точной характеристикой Цветаевой. Вряд ли Мирский имел точные сведения о ее детстве, но секли ее, правда, мало, — со всеми естественными последствиями: в 14 лет украла 50 рублей и свалила на горничную, чтобы посмотреть, что выйдет; горничную выгнали. Я подумал, а достаточно ли секли в детстве меня самого, но затруднился ответить. Моя мать рассказывала моей дочери (сам я этого не помню), что когда меня маленького оставляли надолго одного в комнате, то привязывали за нитку к ножке стола: нитка была длинная, но чтобы не порвать ее! Дочь воздевала руки и восклицала: «И они еще надеялись, что у них вырастет нормальный ребенок!» Пожалуй, я и вправду всю жизнь ощущаю человеческую несвободу не как цепи, а как вот такую нитку. (Или как нитки, управляющие марионетками. Мне кажется, марионетке лучше задумываться об устройстве этих нитей, чем воображать, будто этих нитей совсем нет). Моя знакомая музыковедша пожаловалась, что ее дочь с внучкой эмигрировала в Израиль и там внучка без отца и бабушки «глотнула свободы» и совсем отбилась от рук*. Я напомнил ей стишок из Амброза Бирса (того, которого я переводил для нашей «Басни»[2]). Я ответил: «вот этот ошейник с собственным именем натирает ей шею, оттого она и истеричничает». Ну, мы с Вами о свободе и несвободе говорили много и представляем их себе похоже. А вот Бернард Шоу, как я узнал, говорил: «свобода нужна не для блага народа, а для развлечения»[4]. А в чукотском языке, как я узнал, слова «свобода» вообще

Раб дождался свободы чаянной,
И вот надела на него судьба
Вместо ошейника с именем хозяина
Ошейник с собственным именем раба[3].

[*Внизу страницы:*] * Писала она об этом из Израиля: дочь ее туда выписала на месяц, чтобы дать себе передышку. Письмо было хорошее. «Сейчас четыре часа ночи, в долине внизу кричит арабский муэдзин; у него микрофон с усилителем — это чтобы евреи тоже не спали».

нет, а ближайший синоним означает «сорвавшийся с цепи»; этим синонимом и пользовались в советских газетах на чукотском языке[5].

Дорогая Ирина Юрьевна, я очень хорошо помню, что на Вас надвигается годовой отчет по Пастернаку, а я здесь дезертирствую и заговариваю Вам зубы метафизическими разговорами. Ко цават танем. Но помните, пожалуйста, и то, что этот отчет — пустяк по сравнению с той катастрофой, которая нас всех ожидает через год и два, когда нужно будет сдавать готовые томы Пастернака и Мандельштама с комментариями и, что меня больше всего пугает, с текстологией. Чем больше я здесь прохожу на практике эту науку, тем больше убеждаюсь, что это не наука, а искусство. Один и тот же набор черновых зачеркнутых чтений можно расположить по «а, б, в...» так, что это будет увлекательное путешествие за мыслью автора, и так, что это будет кромешная бессмыслица. Томашевский этим искусством владел гениально, я — бездарно, а мои товарищи по Мандельштаму, кажется, вообще не догадываются, что такое искусство существует[6]. (Если от Пастернака вправду осталось мало черновиков, мы должны фунтовую свечку поставить за его душу). Василенко здесь каждый день делает по пять открытий, читая намертво стершиеся или зачеркнутые слова; но когда я говорю ему, что мы должны вернуться не только с набором прочитанных слов, а с готовым текстологическим аппаратом, то в ответ читаю в его глазах только глубокое уважение. — Я писал уже, что Василенко работает в архивном зале, поставив перед собой фотографии жены и детей. Тогда их было три, а теперь уже пять, и еще иконка размером в почтовую марку, но в золоченой рамочке. Видимо, это значит, что права была инструкция, розданная всем нам, ехавшим по этой стипендии в Америку: после многих полезных сведений там

[*На полях второй страницы:*] Мой знакомый американский стиховед, пишущий книгу о Лермонтове[7], говорил, что хотел бы написать книгу «Вел. князь Михаил Павлович и русская литература». Это тот брат Николая I, который будто бы ездил по Европам человек-человеком, а подъезжая к русской границе, набирал в грудь воздуха и уже не выпускал его: великий князь, грудь колесом, глаза на выкате.

говорилось: первый месяц приехавшие обычно испытывают эйфорию, второй — тоску и депрессию, а затем каждый нащупывает свою норму. Я человек бывалый, депрессии у меня нет, а тоска — только при мысли о наших академических изданиях. Только вот с Вами разговариваю про себя все чаще и дольше — но это ведь тоже уже давно.

Пастернака я вспомнил, оглядываясь на биографию Мандельштама: как часто появляется в ней таинственно-выручательный «брат Евграф» — Бухарин[8]. Вроде бы пишем, какая у О.М. была несчастная жизнь в 20–30-х гг. — ан при всем этом Бухарин ему и пенсию выхлопотал, и собрание сочинений устроил (невышедшее), и в Армению дал поехать, и даже из Чердыни через две недели перевел в Воронеж. Именно тип периодически возникающего брата-Евграфа, в отличие от хронического «доброго барина русской литературы» Луначарского. Мемуаров об этом нет (Н.Я. Манд., по-видимому, лично Бухарина никогда и не видела, а только секретарш), так что я не умею вообразить себе, какими словами и интонациями он изъяснялся с писателями — например, добивался от Пастернака новогодних советских стихов. А хотелось бы. — А еще мне понравилась в одной статье фраза футуристоведа В. Маркова: «Пастернак по природе своей был беспартийным, как Маяковский по природе партийным, а Мандельштам надпартийным»[9].

Моя соавторша Скулачева, стажирующаяся в другом конце Америки, по телефону выдала мне тайну: известный нам Постоутенко затеял юбилейный сборник к моему 60-летию и спрашивал с нее статью. От ужаса я неделю не мог спать: Постоутенко! это какой же сборник у него составится! из ****** пополам с *******! Вдруг оказалось, что я о себе несколько лучшего мнения, чем сам думал, и очень не хочу себе такого фестшрифта. Вы, пожалуйста, об этом секрете полишинеля никому не говорите. (В детстве мне казалось, что полишинель — это большая шинель, как поликлиника — большая клиника).

В архиве работаю 7 часов, дома сил хватает только на 3 часа, с трудом выгрызаю у времени одиннадцатый; пожелайте

мне выгрызть двенадцатый. Спасибо, что Вам можно писать письма. Целую Ваши руки и кланяюсь всем хорошим людям.

Ваш взаимоопорный столб.

1 М.Л. слегка отредактировал текст письма Мирского: «Получил стихи Марины. Перечитывал многое, был сильно взволнован — какой все-таки, еби ее мать, поэт! Одно плохо, что в свое время мало секли. Эти годы 1922–25 ее лучшие» (*Smith G.S.* The Letters of D.S. Mirsky to P.P. Suvchinskii, 1922–31. Birmingham, 1995. P. 107). «Книга 1928 года» — сборник «После России».

2 См. с. 111 наст. изд.

3 Ср.: Записи и выписки. С. 170 («Свобода»).

4 Ср.: Записи и выписки. С. 57 («Свобода»).

5 Ср.: Записи и выписки. С. 57 («Свобода»).

6 Ср.: Записи и выписки. С. 27 («Искусство»). Этим искусством блестяще владела сама И.Ю.

7 Вальтер Викери, чья книга о Лермонтове (*Vickery W.N.* M.Iu. Lermontov: His Life and Work. München, 2001) появилась уже после его смерти.

8 Ср.: Записи и выписки. С. 23 («Евграф»). Евграф Живаго — персонаж романа Б. Пастернака.

9 Слегка измененная цитата из: *Марков В.* Мысли о русском футуризме // Новый журнал (Нью-Йорк). 1954. Кн. 38. С. 177.

П14
[1–3 ноября 1994 года, Принстон, от руки]

№ 6 1–3.XI.94

Дорогая Ирина Юрьевна,

здешняя преподавательница, с которой я еженедельно веду малоинтересные разговоры, задала мне детский вопрос: а оказал ли Пастернак влияние на русскую литературу? Я растерянно ответил: «Кажется, нет, разве что на мелких эпигонов». (У меня вертелся в голове только П. Незнамов, которого Вы с полным правом и не знаете. Мог бы вертеться Павел Антокольский — я его в молодости любил, а критика точно называла его театрализованным Пастернаком. Вот сейчас вспомнил еще несомненное влияние — на позднего Брюсова; но это уж в порядке пара-

докса). — «А на прозу?» — И на прозу. — «А на Андрея Битова?» — Ну, разве что Пастернак приложил к своему роману стихи, а Битов — реальный комментарий. Мне совестно, что я об этом не задумывался, но неужели это так, и Пастернак создавал только какую-то атмосферу, а не влиял на конкретных поэтов?

Вот еще выписка — из рецензии в «Совр. записках» 1931 г. — из классической книги, которую я не читал: А.М. Топоров, «Крестьяне о писателях», 1930. Это был сельский учитель, читавший крестьянам классиков и современников и записывавший их отзывы. Книжка вышла несколькими изданиями, потом он сидел, но выжил и умер не очень давно. О Пастернаке (о поэме — не знаю, какой): «Связанных слов нисколь нетути. Добрый человек скажет одно слово, потом завяжет его, еще скажет, опять завяжет. Передние, середние и задние — все завяжет в одно. А в этом стиху слова, как скрозь решето, сыпятся и разделяются друг от друга»[1]. Покажите это Косте: это ведь тоже, как-никак, отзыв критики, который мы обязаны учитывать. Честно говоря, у меня есть сомнение, не присочинил ли тут Топоров своих крестьян — как Софья Федорченко[2] свой «Народ на войне». Была такая писательница, в войну — медсестра, а после войны стала печатать вроде истории войны и революции в разрозненных репликах по нескольку строк, замечательно выразительных: не по записям, а вживаясь в образы, с изнуряющим нервным напряжением. Вышло несколько расширяющихся изданий, большинство считало, что это — подлинные записи, в том числе Демьян Бедный — «вот он, настоящий народ!» — а когда ему рассказали, что это сочинено, он рассвирепел так, что напечатал в «Правде» статью, от которой Федорченко год лежала в темном шоке и после этого намертво выбыла из литературы. Стихи ее есть в моей лиловой книжечке «с комментариями»[3]. Простите, если я об этом Вам уже рассказывал.

Я все думаю: как это я оказался дважды не на своем месте, при Мандельштаме и при Пастернаке, тогда как умные люди, вроде Тименчика или моей здешней приархивной по-

печительницы, деликатно, но твердо от этого уклонились? И могу только вспомнить формулировку из пушкинского анекдота в Table Talk о Ермиле Кострове — был такой официальный университетский стихотворец, переводчик Гомера и Апулея, любимый поэт фельдмаршала Суворова и горький пьяница со славой почти мифологической. Студенты устроили скандал с битьем посуды за то, что их в столовой кормили дурными пирожками, среди арестованных оказался и Костров; «помилуйте, Ермил Иванович, вы-то в вашем возрасте как сюда попали?» — «Из любви к человечеству», ответил бедный Костров. Очень я себя не на своем месте чувствую, и чем дальше вхожу в Мандельштама, тем больше. Пишу Фрейдину: пришлите мне план работы по Собр. Мандельштама на оставшиеся нам четыре полугодия — мне по складу моего характера лучше плыть к погибели по четко расчерченной карте, чем в том кромешном тумане, в котором я нахожусь. К Фрейдину сейчас едет оказия с нашими мандельштамовскими успехами, но я даже не пользуюсь ею, чтобы написать Вам: я так привык к ритму моих односторонних разговоров с Вами, что мне кажется, будто и Вы тоже. В декабре будет другая оказия, тогда напишу.

Моя знакомая немка — цветаеведка[4], потом журналистка, которую Вы видели в Марбурге, — видимо, расслышала что-то в моих письмах и написала на не очень хорошем русском языке «Каковы ваши жгучие несчастья? выговоритесь! ведь хорошие старые повести так обычно и начинаются — или в поезде, или за границей». Я ответил: у меня жгучих несчастий нет, у меня только холодные.

Ассоциация к «любви к человечеству», заводящей в гиблые места, — анекдот из записной книжки. Ходжа Насреддин ругался с женой, она ему крикнула: «так чего ты на мне женился? я к тебе на шею не вешалась!» Ходжа ответил: «Мышеловка не гоняется за мышью. Мышеловка стоит и ждет. Мышь приходит сама». Эта сентенция, по настроению моему, кажется мне сейчас полна глубокого смысла.

А рядом в записной книжке — выписка из воспоминаний Каверина о том же Пастернаке: его разговор в Переделкине

с незнакомым человеком. «Вы ко мне?» — Нет. — «Это хорошо, что не ко мне. Это очень, очень хорошо». И уже издали, вслед: «Как вас зовут?»

Первый понедельник октября называется здесь «Колумбов день», но путеводитель заботливо предупреждает, что это не в честь покорения Америки, — которого американцы давно стыдятся перед индейцами, — а для того, чтобы люди полюбовались прекрасной осенней листвой. Я шел в архив и добросовестно любовался. Действительно, небо было синее, верхушки деревьев красные, середины желтые, а нижние ветки зеленые. А через неделю уже: вершины голые, середины красные, а нижние ветки желтые. А теперь листвы под ногами уже больше, чем над головой; и праздник уже следующий: Халловин, американское колядование, когда дети в балахонах и страшных масках ходят по домам, и им дают конфеты. Листьям в древесных дубравах подобны сыны человеков, и т.д.

Пусть Вам будет полегче.

Низкий поклон всему Вашему дому. Целую Ваши руки.

Ваш взаимоопорный столб.

Не сердитесь, если письма получаются у меня ноющими. Это потому, что, написав такое, я всякий раз слышу в уме ободряющую отповедь Вашим железным голосом и становлюсь бодрее.

1 *Бицилли П.* А.М. Топоров. Крестьяне о писателях. 1930. Гос. изд. [рецензия] // Современные записки (Париж). 1931. Т. 46. С. 524. Ср.: Записи и выписки. С. 58 («Связность текста»).

2 В рассказ М.Л. о С.З. Федорченко и ее книге необходимо внести исправления. Хотя писательница, являющаяся зачинателем собирания и изучения устной истории в России, активно работавшая в 1920-е годы в области детской литературы, действительно тяжело заболела после публикации несправедливой статьи Д. Бедного (не в «Правде») (Мистификаторы и фальсификаторы — не литераторы // Известия. 1928, 19 февраля), из литературы она не выбыла, продолжая работать до конца своей

жизни. Среди опубликованных ею произведений — роман-трилогия из времен пугачевщины «Павел Семигоров». Первая часть книги «Народ на войне», вышедшая в 1917 г. и получившая высокую оценку читателей и критиков, переиздавалась неоднократно; вторая книга, «Революция», появилась в 1925-м; издание же третьей («Гражданская война») стало невозможным после статьи Бедного — она была опубликована впервые в 1983 г. в «Литературном наследстве» (Т. 93). Отдельное издание всех трех частей было осуществлено только в 1990 г.

3 «Русский стих 1890-х — 1925-го годов в комментариях», первое издание вышло в издательстве «Высшая школа» в 1993 г. Издательство умудрилось выпустить тираж, исказив заглавие — «Русские стихи». М.Л. на всех экземплярах, которые дарил, исправлял ошибку.

4 М.-Л. Ботт.

П15
[13–15 ноября 1994 года, Принстон, от руки]

№ 7 13–15.XI.94.

Дорогая Ирина Юрьевна,

вот еще выписанный отзыв о Пастернаке — о «Живаго»; простите, если он Вам уже попадался. Роман «чрезвычайно эгоцентрический, гордый, сатанински надменный, изысканно простой и в то же время насквозь книжный — автобиография великого Пастернака». Это впечатление К. Федина при первом чтении — в пересказе К. Чуковского в дневнике[1]. Я знаю, Вы относитесь к роману лучше, чем я; но мне-то, действительно, больше всего в нем режет слух то место, где герой думает о друзьях: «Все вы существуете лишь постольку, поскольку вы — мои современники». Помните письмо раннего Пастернака к отцу какого-то умершего товарища по футуризму[2], просившему помочь издать стихи сына? — «не помогу, потому что они, как и мои, не лучше всех». Моцарт говорил «он же гений, как ты да я», а П. — «он же ничтожество, как ты да я».

Кажется, Вы говорили, что не любите Диккенса; на западе, оказывается, тоже его не любят. Когда-то я процитировал

знакомому американскому стиховеду мое любимое определение, что такое воспитание: миссис Пипчин из «Домби» полагала, что это значит: дети должны делать то, что им не нравится, и не делать того, что им нравится. Собеседник саркастически сказал: «думаю, что в XX веке только два человека читали „Домби“ — Мандельштам и вы». В декабре мне здесь нужно будет прочесть в чужом курсе лекцию для аспирантов о Мандельштаме, разбирая в числе прочего и его «Домби и сына». Я спрашивал в двух университетах — мне твердо говорили: именно «Домби» заведомо никто не читал. «А что могли читать?» — «Большие ожидания» и «Повесть о двух городах»: у нас только по ней и представляют французскую революцию. — (Как у нас — по «93 году». Из всех романов Диккенса только «Повесть о двух городах» я и не читал). — «Любопытно, оба романа — поздние; а в России больше читали раннего Диккенса». — «Да, „Оливера Твиста“, пожалуй, тоже знают — благодаря мьюзиклу». Посмотрели списки литературы по всем курсам, которые могли бы касаться Диккенса, — только один раз мелькнули «Большие ожидания». Роман XIX в. изучают больше по Бальзаку и Флоберу.

Вспомнив «93-й год», выписываю — из вторых рук — письмо Герцена к дочери, 1869: «Вчера мы все обедали у Гюго. Саша [сын Герцена, физиолог] по-студенчески говорит, что он немного сумасшедший, — но неужели он думает, что можно сорок лет владеть умами во Франции даром?»

В Принстон приезжал с докладом Омри Ронен, и я за два дня услышал больше интересного, чем до этого за два месяца. Я боялся, что ему могла не понравиться моя статья о Мандельштаме, — нет, ничего, говорит: «диалог Аверинцева и Гаспарова о Мандельштаме будут изучать, как новую „Переписку из двух углов“». (Где Вяч. Иванов писал, что надо хранить старую культуру, а М. Гершензон — что строить новую). Никто-никогда-ничего-не-говорил-первым: оказалось, что порадовавшее нас наблюдение студентки, что «Одиссей... пространством и временем полный» ≈ plein d'usage et raison уже было сделано каким-то богом-забытым

французом — сам Ронен не помнит, где[3]. В «К немецкой речи» «меня еще вербуют Для новых чум, для Семилетних боен» — это оттого, что в 20-х гг. Мандельштам перевел на немецкий «Пир во время чумы» Пушкина. В 1971 перевод поступил в Пушкинский дом и до сих пор недоступен для исследователей. Недавно была опубликована разносная статья Цветаевой о «Шуме времени», написанная в 1927 в Лондоне у Мирского; Ронена спросили, почему бы это она? «Ревновала Мирского к Мандельштаму: ей в том году казалось, что славы заслуживает только Пастернак». — И помнила фразу из лит. обзора М-ма 1922 г. про «богородичное рукоделие Цветаевой»?[4] — «Еще бы!» — А Маяковскому прощала выпады и похуже. — «Маяковский был большой и бравый — Цветаева и Ахматова любили мужчин с военной выправкой. Впрочем, Ахматова любила евреев». — ? — «Когда кто-то слишком изучал чьих-то любовниц, она сказала: „что сказали бы, если бы я написала, что лучшим моим любовником был Лурье?“» (Артур Л., композитор: его сейчас открывают на Западе). Трубецкой говорил: идеи Марра становятся менее бредовыми, если читать его статьи с грузинским акцентом. [Или с шотландским, по отцу? У Ариосто есть перечисление британских войск с гербами, идущих на помощь Карлу: «вот Марр — конь в кузнечном стояке вскинул копыто для подковы...» — моя ленинградская коллега написала мне на полях: «в стояке из четырех элементов...»] А Нина Берберова не любила Пушкина. «Несмотря на Ходасевича?» — Именно из-за Ходасевича.

Получается не так интересно, как позапрошлогодний триалог Бродского с Флейшманом, который я Вам посылал[5], но это потому, что у Ронена были менее интересные собеседники.

Издали что-то делается лучше видно <...> Мне, с моей отсталой привычкой исполнять порученное, предлагается надеяться, что либо царь умрет, либо я умру, либо осел умрет. Зная меня, Вы легко угадываете мою дальнейшую логику: так как цари и ослы никогда не умирают, то умирать надо мне.

С этим ощущением я здесь и борюсь 24 часа в сутки. Знаю то, что Вы сейчас подумали, и спешу процитировать тот же дневник Чуковского, который цитировал в начале (пусть это будет композиционным закруглением): «Умирать стыдно. Другие живут, а ты умираешь. Если быть стариком совестно, то насколько же стыднее умирать. N знала, что умирает, но скрывала это, как тщеславные скрывают бедность или неудачливость». И, чтобы переменить тему, там же: «Доктор Джонсон писал, что Ричардсон смотрит на часы и понимает, как они сделаны, а Филдинг смотрит и понимает, который час»[6].

Наверное, вот в эти самые недели в институте проходят отчеты наших собраний сочинений, и Пастернак ужасен, хотя и по другой причине, чем Мандельштам. Чем я могу ему помочь, не знаю: если сдавать в конце 1995, то за один год я нипочем не смогу вписать во все стихотворения роспись метафор и метонимий. Числа 15 декабря в Москву приедет отсюда оказия, а 8 января уедет обратно, — может быть, Вы что-нибудь мне написали бы? А то ведь внешнее время для меня остановилось на отъезде из Москвы, и хочется доброго слова, на которое надеюсь.

Ко цават танем. Целую Ваши руки. Ваш М.Г.

1 Речь идет о записи К.И. Чуковского 1 сентября 1969 г. (*Чуковский К.* Дневник, 1930–1969. М., 1994. С. 240).

2 М.Л. имеет в виду письмо Пастернака от 16 декабря 1915 г. Д.П. Гордееву — брату умершего поэта, участника футуристической группы «Центрифуга» Б.П. Гордеева — Божидара (1894–1914): «Работы Вашего покойного брата ничем не хуже и не лучше всего остального в этом роде. Они оригинальны постольку и оригинальны в том, в чем и поскольку оригинальны все явления этой бедной неплодной эпохи, не исключая, разумеется, и моих собственных блужданий и заблуждений в этой области».

3 См. письмо П32.

4 В статье О. Мандельштама «Литературная Москва» (1922).

5 См. письмо П5, примеч. 1.

6 *Чуковский К.* Дневник, 1930–1969. М., 1994. С. 199, 221. Ср.: Записи и выписки. С. 42 («Опояз»).

П16
[29 ноября 1994, Принстон, от руки]

№ 8 29.XI.94

Дорогая Ирина Юрьевна,

есть американская шутка столетней давности о репутации одного города: на некотором конкурсе занявший первое место премировался недельной поездкой в Филадельфию, а занявший второе — двухнедельной поездкой в Филадельфию. Вот в этой Филадельфии, недалеко от большого небоскреба, на котором узкий купол, как голубая шишка, на прошлой неделе была всеамериканская конференция славистов[1], 300 секций приблизительно по 3 доклада, из них около 25 по русской словесности. О поэзии — ни единого доклада (разве что на секции поэтики, где и я выступал)*. Авторы, которым были посвящены отдельные секции, — Гоголь, Т. Толстая, Замятин, А. Битов, А. Сумароков, Л. Петрушевская, «Пролог» Чернышевского, «Слово о полку» с «Задонщиной», Ф. Абрамов, Нина Берберова и Венедикт Ерофеев. Из серебряного века — Сологуб-теоретик, Зиновьева-Аннибал, «Балаганчик» Блока, Аделаида Герцык. Вообще о женщинах-писательницах и о женских образах в литературе — не меньше 5 секций из 25: феминизм. Пастернак и Мандельштам в этом сезоне, видимо, не существуют. Продавалась новая книга о Цветаевой — я купил ее, потому что знал, что авторша этого «психографического портрета»[2] — психоаналитик еще берлинской выучки, и надеялся найти что-то пусть фантастическое, но менее дилетантское, чем обычно, — но нет, биография как биография, цитаты из стихов и списки любовников, только про детство поподробнее. Получается, что мать ее любила такой, какой воображала, и отвергала такую, какой она была на самом деле, и это отношение к людям она переняла на всю жизнь; но мы, кажется, и раньше это

[*На полях:*] * Виноват, был где-то один — о Льве Рубинштейне, и была целая секция «Флора и фауна в рус. поэзии: Лермонтов и Заболоцкий.

понимали. Впрочем, сказано: если бы ее мать прожила подольше — дочь, отталкиваясь, сумела бы изжить этот конфликт; но она умерла, когда дочери было 14 лет, — и конфликт остался интериоризованным. Эта игра в «если бы да кабы» уже интереснее (по-русски для нее есть слово «перекабыльство», которым восхищался Чуковский у Глеба Успенского[3]. Так мировой историк Тойнби прикидывал: что было бы, если бы Тамерлан не обратился завоевывать свою персидскую метрополию, а продолжал бы свою войну со степью, для которой, собственно, он и был поставлен на границе? Получалось: мы бы имели на месте СССР государство приблизительно в границах СССР, но со столицею не в Москве, а в Самарканде. Чуковский сказал бы: «Экое, право, перекабыльство!»)[4].

Через две недели отсюда поедет в Ленинград и Москву моя здешняя опекательница Алексеева и в Москве опустит для Вас внеочередное письмо — я надписал его на домашний Ваш адрес. Я попрошу ее надписать свой обратный московский адрес: может быть, Вы через эту оказию напишете мне несколько слов. Мне она сказала: «я давно столько не говорила по-русски, и от этого у меня болит горло; а когда я привыкала говорить по-французски, то болели лицевые мышцы». <...>. Когда она уедет, на ее место приедет моя соавторша Скулачева, которая стажируется в другом городе. Это мне легче, потому что (я Вам уже хвалил ее за это) за все девять лет нашего знакомства она со мной ни о чем, кроме науки, не разговаривала: случай исключительный.

А Василенко, кажется, уже акклиматизировался, и семейные фотографии на его архивном столе стоят уже не каждый день. Он рвется узнать адрес Евг. Левитина[5], который уехал в Израиль и, видимо, увез какой-то материал по «Четвертой прозе». Я написал Фрейдину, чтобы он попробовал узнать его у Пастернаков, а если он с ними незнаком, то через Вас. Простите.

У Хр. Моргенштерна, иронического предсюрреалиста и антропософа, которого очень нежно любила Грабарь-Пассек, есть стихотворение о хорошо знакомом нам чувстве усталости (Пальмстрем — его сквозной герой, существо неизвестной породы). Я его когда-то перевел; собственно,

Пальмстрему так хочется покоя!
Раствориться бы, как соль в стакане,
Предпочтительно перед рассветом,
А потом, по истеченьи ночи,
Выкристаллизоваться наутро,
Как Венера Анадиомена[6].

я предпочел бы и не выкристаллизовываться. Бобров пересказывал когда-то сцену из английского романа: кто-то умирает и чувствует, будто растворяется, как сахар в воде, в потоках света; ему не хочется растворяться, он начинает мысленно ругаться и богохульствовать, и, действительно, свет отступает — но как только он перестает ругаться, надвигается опять, итд.[7] Вот так и современным культурам не хочется растворяться в мировой, и они националистически ругаются. (А в Москве меня ждет статья по мировой стихотворной культуре для «Исторической поэтики» ИВГИ под руководством Павла Александровича — если бы Вы знали, каким дамокловым мечом она висит надо мною! Впрочем, над всеми нами дамокловы мечи висят уже связками).

А в английском переводе стихов Мандельштама «Страшен чиновник: лицо, как тюфяк» написано «лицо, как дуло», и сделано ученое примечание, что по-турецки и по-гречески «тюфяк» означает не матрас, а ружье[8].

Простите меня за ноющую болтовню: это издержки отдаленности. В Москве я бы помолчал рядом с Вами десять минут, и стало бы легче.

Пусть Вам будет немного полегче. Здесь был праздник, День Благодарения (в память первого урожая заморских колонистов), на фонарных столбах круглые темно-зеленые венки с темно-красными лентами, совсем по-гречески, первый снег на еще зеленой траве, и можно было день работать взаперти, а не при всех.

Целую Ваши руки.

Ваш взаимоопорный столб.

1 Ежегодная конференция славистов проводится American Association for the Advancement of Slavic Studies.

2 Речь идет либо об английском издании книги М. Разумовской (*Razumovsky M.* Marina Tsvetayeva: A Critical Biography. Newcastle

upon Tyne, 1994), либо о московском издании (*Разумовская М.* Марина Цветаева: Миф и действительность / Пер. с нем. Е.Н. Разумовской-Сайп-Витгенштейн. М., 1994). Книга впервые вышла на немецком языке («Marina Zwetajewa: Mythos und Wahrheit») в Вене в 1981 г., а первое русское издание появилось в Лондоне в 1983-м.

3 Слово «перекабыльство» употребляется Прохором Порфирычем в «Нравах Растеряевой улицы».

4 Ср.: Записи и выписки. С. 226 («Бы»).

5 В одном из завещаний Н.Я. Мандельштам Е.С. Левитин назван в числе будущих хранителей архива Мандельштама.

6 «Венера Анадиомена» — аллюзия на миф о «выходящей из моря» Афродите (Венере) и на его иконографическую традицию («Рождение Венеры» Сандро Боттичелли и др.).

7 Как указывает О. Ронен, речь идет о сцепе из романа О. Хаксли «Время должно остановиться» (1944) (*Ронен О.* Из города Энн. СПб., 2005. С. 168).

8 *Mandelstam O.* The Moscow Notebooks / Trans. by Richard & Elizabeth McKane. Newcastle upon Tyne, 1991. P. 88.

П17
[Декабрь 1994 года, Принстон, от руки, красными чернилами]

Без номера

Дорогая Ирина Юрьевна,

в первый и, наверное, последний раз пользуюсь оказией. В Ленинград и Москву едет при муже и детях моя здешняя опекательница (при которой я — ободритель) — до 7 января. Я попрошу ее, если можно, написать свой адрес на этом конверте: может быть, Вы успеете к этой обратной оказии прислать для меня хотя бы несколько строчек. Nel mezzo del cammin моей отлучки это бы очень

[*Сбоку приписано:*] Хотя бы о том, что Вам не надоело получать от меня письма.

меня поддержало. А к Вам это письмо попадет, вероятно, под Новый год, поэтому оно и без номера: рассматривайте его как рождественское приложение ко всем остальным. Боюсь, что ничего интересного в этом литературно-художественном приложении не окажется. Продолжать воспоминания мне не хватает ни времени, ни сил. Я попробовал сделать выписки из двух записных книжек — одной недавней, другой — десятилетней давности. И пришел в уныние: что казалось забавным, кажется пошлым, а что казалось интересным, то претенциозно. Но, может быть, это-то и развлечет Вас: кое-что из этого я Вам рассказывал устно. А вместо стихотворного отдела я переписываю пару стихотворений сына, потому что они — рождественские: Вы их знаете, я читал их в Стэнфорде у Ивановых в тот вечер, когда я вдруг почувствовал, что мне больше хочется идти куда-то с Вами, чем отдыхать от людей взаперти.

Пусть Вам будет полегче. А мне пожелайте поскорее адаптироваться к старости — это у меня получается так же плохо, как все мои адаптации. Павлу Александровичу и Коле — поклоны и поздравления.

Evaι divinée: это благопожелание на настоящем марсианском языке, со слов одной швейцарской визионерки — ж. «Вестник иностранной литературы», 1900, № 4, с. 283 (тоже из записной книжки). Значит приблизительно то же, что и ко цават танем.

Ваш взаимоопорный столб.

Там, за дальними горами
Загорается звезда:
У Марии народился
Светлый маленький Христос.

Вижу я: волхвы проходят
По дороге, в Вифлеем:
Ладан, золото и смирну
Символически несут.

Слышу я: зовет подпасок
Трех товарищей моих,
И они спешат за светом
С маслом, сыром, молоком.

Мне нельзя пойти за ними,
Потому что, уходя,
Пастухи мне поручили
Постеречь своих овец

И я вижу, как по следу
Люди Ирода спешат:
Если кто-то видит звезды,
Кто-то видит и кресты.

Мне кажется, будто я помню сад   три тысячи лет назад,
Там птицы пели на всех ветвях,   а я им дал имена;
И там я жил, и там полюбил,   и там я был жизни рад;
Но лишку узнал и в страхе бежал —   я и моя жена.

Я начал растить мой собственный сад,   и мне помогал мой брат,
Но после мой брат вернулся назад —   а я не сторож ему;
И я засеял поле зерном,   но не мною посев был снят,
А я был слеп, и чужак ел хлеб, —   не знаю сам, почему.

Я оставил сад и сделался свят   и мог умножать хлеба,
И воду я обращал в вино —   очень, очень давно;
Но в вине был яд, и я был распят,   и смеялась моя судьба —
А когда я восстал, то очень устал,   и стало мне все равно.*

Я засеял пашню своих врагов   под шаг чужих сапогов,
И растил цветы, и сажал кусты,   и спал под дождем меж гряд...
Не зови вослед на лучистый свет   запретных чужих плодов —
Я нашел тот сад, и со мной мой брат,   как три тысячи лет назад.

[*Сбоку приписано:*] * Эта строчка у меня постоянно в голове.

А это моё — из старой записной книжки.

Дорога искала дорогу,
Покуда ей не сказали:
«Нет для тебя дороги,
Ты сама дорога и есть».

Дорога была дорогой,
Покуда она не сказала:
«Я напролет истоптана,
Больше я не могу».

«Что ж», сказали дороге,
«Если ты больше не можешь,
Вот для тебя дорога:
Встань, по ней и ходи».

Только топтать оказалось
Хуже, чем быть истоптанным, —
Дорога пошла по дороге
И стала искать обрыв.

П18
[12 декабря 1994 года, Принстон, от руки]

№ 9 12.XII.94

Дорогая Ирина Юрьевна,

не уйти мне от деструктивистов, которые вместо науки занимаются искусством прочтения. Единственный крупный ученый в Принстоне и интересный собеседник — женщина по фамилии Эмерсон, соавтор самой толковой книги о Бахтине[1]. Но и она вдруг сочинила доклад про Онегинскую Татьяну: так как VIII глава «Онегина» очень нереалистична (психологически: очень уж быстро Татьяна из уездной барышни превратилась в столичную даму; в бытовом отношении: как мог Онегин с улицы прийти к ней чуть ли не в будуар, как во сне, никого не встретив в доме?), — то не лучше ли считать, что на самом деле последней встречи Онегина с Татьяной вовсе и не было, а она только примечталась Онегину, и устами Татьяны он в этой этической фантазии осуждает себя сам — «нравственной половиной» своего Я? Я спросил: а может быть, тогда и первого их разговора не было, а это только этическая фантазия Татьяны, в которой та половина, которая «русская душою, сама не зная, почему», осуждает ту половину, которая влюблялася в обманы и Ричардсона

и Руссо? Она оценила симметрию, но сказала, что ей этого не хочется. Я сказал: Это Вы, как Бахтин, считаете, что герой — это живой человек, психологически связный; а я, как Шкловский и Томашевский, что герой — это условность, и что может быть фрагментарный герой (как и фрагментарный сюжет — например, в байронической поэме): ведь и Онегин не более психологически связен, чем Татьяна: знаток науки страсти нежной — ипохондрик — порядочный человек, поучающий барышню, — дуэлянт — и влюбленный — плохо складываются в одного человека. Это разница подходов философа и филолога: философ воспринимает и продумывает мир, как впервые, от нуля, и для него условностей существовать не может, — тогда как филолог подходит к миру сквозь толщу культурной традиции, и поэтому для него в мире все — условность[2]. (А еще пример фрагментарного героя — в замечании Чуковского: сколько лет Тому Сойеру? по картинке, которую он рисует для Бекки, — пять; по проказам с тетей — десять; а по детективным приключениям — пятнадцать).*

Вот такой был у меня пока самый умный принстонский разговор. Зато очень дружно ругали модный феминизм. Но решили, что и от него может быть польза: если мировая литература состоит из переработок одних и тех же сюжетов, то если женские писатели начнут пересочинять книги, написанные мужчинами, это может оказаться не менее плодотворным, чем когда Шекспир пересочинял итальянские новеллы, а Мольер Дон-Жуана. Чем не роман: «Подлинная история Анны Карениной»? Тогда первым феминистом в мировой литературе будет Овидий, у которого в «Героинях» троянская

[*На полях справа:*] Я сказал: у Пушкина Онегин «чуть не сделался поэтом», а Вы написали, как он и впрямь сделался поэтом: сочинил такую сцену, которую мы полтораста лет принимали за сочинение Пушкина.
[*Внизу страницы:*] * А еще у Чуковского в дневнике о ком-то было выражение: «на всех похоронах хочет быть покойником»[3]. Я живо вообразил себе Ник. Ив. Балашова.

война описывается с точки зрения Брисеиды. Интересно, как феминистки относятся к Овидию?

Вышла новая книга о Мандельштаме: скучная, но актуальная — о том, что культурная традиция не есть что-то пассивно усвояемое из воздуха, а что-то творчески сочиняемое каждым способным поколением и направлением[4]. Так акмеисты объявили своими предшественниками Вийона, Шекспира, Рабле и Готье — сочетание дикое, ни один из этих авторов на акмеистов не похож (разве что Готье), но это было приглашение к читателям воспринимать стихи акмеистов именно на этом фоне, — и он работал не хуже, чем любой другой. Актуально это потому, что сейчас слишком многие жалуются, что злые большевики прервали живую традицию русской культуры, и от этого сейчас всем ах, как нехорошо. Меня здесь об этом расспрашивали (принимая за «носителя культуры») — я отвечал, что традиция перестала у нас усваиваться из воздуха еще до революции, когда в столицы хлынула провинция — от таганрогского Чехова до псковского Тынянова[5]; оттого интеллигенция и сочувствовала революции. (NB к многозначности этого слова: Лев Толстой, оказывается, писал: «Я сам интеллигент вот уж тридцать лет ненавижу в себе интеллигента»).

Имя Вийона мне попалось в еще одном неожиданном контексте. В «Современных записках» 1938 г. Адамович назвал Некрасова «русским Бодлером»[6], а Бицилли возразил ему: скорее «русский Вийон» — по отсутствию дистанции между поэтом и материалом, ощущаемому как наивность[7]. Я понимаю, что для медиевиста Вийон совсем не наивен, а очень даже условен и рафинирован, — но любопытно, что сам Бицилли был по образованию медиевистом, и очень хорошим (правда, больше по XIII веку). «Современные записки» я читаю почти подряд от отупения: после архива не хватает сил даже на английские книжки. В толстовском номере 1928 г. там Алданов писал, что всюду цитируется восторженный отзыв Флобера о «Войне и мире», но не цитируется признание, что философских глав он дочитать не смог; и вообще мировая слава Толстого началась, лишь когда он перестал писать и стал тачать сапоги[8].

В одной рецензии на Набокова сказано, что у него каждая фраза как будто за отдельной подписью автора[9], а в другой — что его эпитеты и метафоры просятся на булавки, как бабочки[10].

А о Пастернаке Святополк-Мирский пишет (по поводу «Молодца» Цветаевой): Цв. видит и описывает платоновские сущности своих предметов, а «Пастернак в своих рассказах («Детство Люверс») дает одни оболочки, и души его — не личности, а геометрическое место пересечения внешних впечатлений», этим он и конгениален Прусту[11]. Так как мне всегда хочется, чтобы личность была точкой пересечения чего угодно, то мне это понравилось.

Будьте благополучны, сколько можно, дорогая Ирина Юрьевна. Вчера уехало с оказией то письмо Вам, которое было без номера и красными чернилами. А это, наверное, придет вскоре после Нового года, так что — с прошедшим праздником. Низкие поклоны Павлу Александровичу и Коле, а Косте Поливанову отдельно. Пусть Вам будет полегче. Целую Ваши руки.

Ваш взаимоопорный столб.

1 *Morson G.S., Emerson C.* Mikhail Bakhtin: Creation of a Prosaics. Stanford, Calif., 1990.
2 Ср.: Записи и выписки. С. 9 («Архив»).
3 Из записи Чуковского от 15 апреля 1932 г.: «Потом сразу заговорила Екат. Павловна Султанова — которая по своей талантливости на всех похоронах хочет быть покойником» (*Чуковский К.* Дневник, 1930–1969. М., 1994. С. 60).
4 Ср.: Записи и выписки. С. 64 («Традиция»). Имеется в виду книга: *Cavanaugh C.* Osip Mandelstam and the Modernist Creation of Tradition. Princeton, N.J., 1995.
5 Для М.Л. место рождения Чехова (Таганрог) и место учебы Тынянова (Псков) — знаки нестоличности.
6 *Адамович Г.* Некрасов // Современные записки (Париж). 1937. № 65. С. 415.
7 *Бицилли П.* Литературные заметки // Современные записки. 1938. № 66. С. 213.
8 *Алданов М.* О Толстом // Современные записки. 1928. № 28. С. 264–265. Ср.: Записи и выписки. С. 59–60 («Слава»).
9 *Цетлин М.* В. Сирин. «Подвиг. Роман». Изд. «Современные записки». Париж, 1932 [Рецензия] // Современные записки. 1933. № 51. С. 459.

10 *Новик Ал.* В. Сирии. «Защита Лужина». Изд. Слово. Берлин, 1930 [Рецензия] // Современные записки. 1931. № 45. С. 517.

11 *Святополк-Мирский Д.* Марина Цветаева. Молодец. Сказка. Изд. «Пламя». Прага, 1924 [Рецензия] // Современные записки. 1926. № 27. С. 570 (в источнике — «геометрические места»).

П19
[25 декабря 1994 года, Принстон, от руки]

№ 10 Солнцестояние, 25.XII.94

Дорогая Ирина Юрьевна,

передайте, пожалуйста, Павлу Александровичу, что на днях я здесь пил за его здоровье: здесь на гранте оказалась его бывшая аспирантка по фамилии Лидова (как обычно: «Вы меня, наверное, не помните, а я вас знаю по ИМЛИ, и Пав. Ал. ставил мне в пример ваш научный стиль...»). Она с мужем-византинистом оказалась живущей по соседству, я был у них в гостях и ушел, узнавши, что луковичные купола на русских церквах пошли едва ли не директивно при Годунове как символ идеи «Москва — второй Иерусалим» (а до того даже Василий Блаженный имел старые, шлемовидные купола; я этого не знал), и что три индийские жизненные цели, артха — благосостояние, дхарма — дело и кама — любовь точно соответствуют трем пагубным страстям по античным философам — алчности, тщеславию и похоти; если я что напутал, пусть Пав. Ал. поправит. Она говорила, что слышала разговор Феликса Кузнецова с начальником компьютерной части — наедине, у подножия парадной лестницы: «Какой дом! какие помещения! сколько всего можно было бы сделать! только вот сотрудники мешают».

Был такой ленинградский античник Егунов, переводчик Платона и автор «Гомера в рус. переводах»; до того, как попасть в лагеря, он писал стихи, дружил с Кузминым и под псевд. А. Николев напечатал полусюрреалистическую по-

весть «По ту сторону Тулы» (был греческий роман с таким названием, где имелась в виду Ultima Thule)[1]. Там один персонаж рассказывает случай будто бы из александровской эпохи: некоторый петербургский архиерей, болея об упадке веры в высшем обществе, решил для привлечения высшего света устроить во вверенной ему церкви богослужение на французском языке. Действительно, церковь ломилась от публики, были налицо все власти, — но когда маленькие певчие в казакинах затянули ангельскими голосами «сеньер, ейе питье де ну», то душа графа Аракчеева не выдержала, и смелый архиерей был в 24 часа выслан из Петербурга просвещать Камчатку. Я спрашивал Лотмана, нет ли за этим какого-нибудь реального подтекста; он твердо ответил: нет. А я нашел здесь в одной старой рецензии упоминание о подтексте лучше текста. При Николае I возник серьезный проект: с целью обращения российских евреев в православие учредить в одной из церквей города Бердичева проповедь и богослужение на идиш. Проект не осуществился только потому, что учить хорошему идишу священника и весь клир, переводить писание и молитвенники оказалось слишком дорого.

(У Егунова эта история имеет продолжение. В вымирающей Камчатке герой выучил местный язык и стал проповедовать по-камчадальски, взяв для первой темы слова апостола «если я — но любви не имею, то я лишь медь звенящая и кимвал бряцающий». Пафос его привлек множество слушателей, только при самом частотном слове его проповеди они почему-то краснели и фыркали в рукав. Архиерей удивлялся, но дело было сделано: вымирание прекратилось, и даже начался демографический взрыв. Эту часть рассказа я вспомнил, наткнувшись в библиотеке на недавнюю монографию одной немецкой лингвистки о русской нецензурной лексике (там есть термин: «матизм»). Я внимательно перелистал ее этимологическую часть: дело в том, что однажды при мне Солоновича уговаривали перевести непристойные сонеты Аретино, а он отвечал: невозможно — по-итальянски все нужные слова — от своих корней, а по-русски — от

заёмных, тюркских и прочих, и фонетика будет диссонировать[2]. Мне это запомнилось, но гипотеза не подтвердилась: в книге написано, что все нужные русские слова — родные, общеславянские; вот только главная часть мужского организма, возможно, есть заимствование из албанского. У меня дух захватывает при мысли о том, как Жолковский когда-нибудь разработает албанский подтекст русской культуры.)

Воспоминания народника Н. Русанова начинаются словами: «Паскаль сказал: Я есмь вещь ненавистная»[3]. Это правда, что Паскаль сказал такие близкие мне слова? Я сейчас временно живу в доме Алексеевой (здешняя мандельштамоведка, о которой я писал), муж ее бельгиец[4], на стенках репродукции Дельво, а на полках французские школьные учебники словесности; я с удовольствием и пользой прочитал в хрестоматии раздел Паскаля, но этих слов там не было. Какие хорошие французские учебники: во всех перечнях фигуры первого ранга набраны полужирным, второго — курсивом, третьего — простым (как в Бедекере), и сразу всё ясно: нам бы так. В обжитом доме неуютно жить, на пустом месте лучше. (Крайний дом, окна в лес, перед окном кормушки для белок, по утрам засыпаю их семечками). <...> А перед сном, как всегда, для душевной поддержки разговариваю с Вами.

Я встречал ссылки на журнал с непонятным именем: Ulbandus Review[5]. Оказалось, это по славистике, а Ulbandus это готское слово, которое у Ульфилы[6] означало элефанта, а перейдя в славянские языки, стало означать верблюда: хорошее заглавие для журнала на тему «Россия и Запад»[7].

Будьте благополучны, сколько можно, дорогая Ирина Юрьевна: ко цават танем. Павлу Александровичу и Коле низкие поклоны. Целую Ваши руки.

Ваш взаимоопорный столб.

1 Роман (не повесть!) «По ту сторону Тулы» был опубликован «Издательством писателей в Ленинграде» (1931). Перепечатан: *Николев А.* Собрание произведений / Под ред. Г. Морева и В. Сомсикова. Вена, 1993 (Wiener Slawistischer Almanach, Sonderband 35).

Роман Антония Диогена (II в. н. э.) «Невероятные приключения по ту сторону Фулы» (пер. Н. Мильштейн) опубликован: Поздняя греческая проза. М., 1961. С. 171–178.

2 Ср.: Записи и выписки. С. 35 («Матизмы»).

3 «„Я — вещь ненавистная", — с этой мыслью Паскаля пишущий эти строки согласен не только умом, но и чувством» (*Русанов Н.С.* На родине, 1859–1882 / Ред., предисл. и примеч. И.А. Теодоровича. М., 1931. С. 9).

4 См. письмо А19.

5 Журнал Ulbandus Review издается кафедрой славянских языков и литератур Колумбийского университета (Нью-Йорк).

6 Имеется в виду перевод Библии, осуществленный просветителем готов епископом Ульфилой (Вульфилой) в IV в. н.э. Сохранившиеся фрагменты этого перевода воспроизведены: *Streitberg W.* Die gotische Bibel. Heidelberg, 1910; толкование слова «ulbandus» — во втором томе этого издания («Gotisch-Griechisch-Deutsches Wörterbuch»).

7 Ср.: Записи и выписки. С. 14 («Верблюд»).

П20
[23–31 января 1995 года, Принстон, от руки]

№ 12 23.1.95

Дорогая Ирина Юрьевна,

<...>

Соседка по кафедре стала давать мне вырезки из американских газет про Москву и Грозный. А сын в письмах комментирует: «если полезли в скверную войну, то хоть бы воевали умело!» Удивительны наши военные: кажется, после Афганистана ясно, что армия у нас такова, что лучше ее никому не показывать, — так нет же, не понимают.

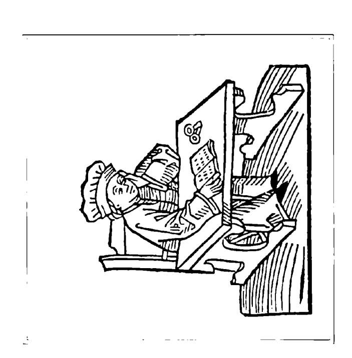
Я сейчас стараюсь писать доклад «„Неизвестный солдат" Мандельштама: апокалипсис и/или агитка?»[1] — о том, что это антивоенное советское стихотворение со всей газетной топикой этого жанра, и что оно было отвергнуто официальными журналами на самом деле не по идейным, а по стилис-

тическим причинам — точно так же, как ода Сталину, в которой было всё, что положено, но не так, как положено. И продолжаю писать обзор порчи мандельштамовского текста при его переписываниях и перепечатываниях: он разрастается, уже больше статьи, хоть проси Мандельштамовское общество печатать его брошюрой. Но, говорят, это безнадежно, потому что оба эти непохожие сочинения имеют один общий знаменатель: освободить стихи Мандельштама из-под толковательского («Солдат») и текстового (обзор) гипноза, заданного Надеждой Яковлевной, — а Мандельштамовское общество, сказали мне, это центр благоговейного культа Надежды Яковлевны. Я спрашиваю Василенко, почему их с Фрейдиным однотомник (лучший пока!) дает такое-то и такое-то чтение, не опирающееся ни на какие рукописи? он отвечает: «Ipsa dixit» (только не по-латыни, конечно)[2].

Заодно мне объяснили, что когда (нередко) в рукописях встречаются пятна текста, расплывшегося от каких-то брызг, то для этого уже установилось техническое обозначение: «слезы Нерлера».

Василенко так страстно любит Набокова и столько о нем говорит, что я взял почитать сборник его интервью. Так обнаружилось полстраницы о Мандельштаме — удивительно бессодержательные. В остальном оказалось, что он любил и уважал Роб-Грийе (но никого из его товарищей); первоклассными писателями считал Ильфа-Петрова, Зощенко и Олешу, а второсортными Элиота и Паунда; с детства любил Уэллса, Э. По, Браунинга, Флобера, Верлена с Рембо и Чехова с Толстым, а с юности Руперта Брука (гладенький хрестоматийный юноша-поэт), Нормана Дугласа (кто это?), Бергсона, Джойса и Пушкина, а Пруста только до середины. «Если я имею право писать, что Пушкин, Браунинг, Крылов, Шатобриан, Кюхельбекер, Сенанкур, Ходасевич хорошие писатели, то я должен иметь право сказать и то, что Бальзак, Достоевский, Сент-Бев и Стендаль...» — дальше следуют такие английские слова, которых я без словаря не переведу. На вопрос, что такое poshlost', объясняет: подражания подражаниям, фрейдистские символы, поношенные мифологии,

«момент истины», «харисма», «диалог», выставки с картинами в виде пятен Роршаха, рекламные плакаты и «Смерть в Венеции». «Когда мне будут подражать, то я тоже стану пошлостью, но не знаю, в каком контексте». Вас ставят рядом с Беккетом и Борхесом? «Между ними я себя чувствую, как разбойник между двух Христов». Гоголь? «Я очень старался не учиться у него». А подражатели у него были уже в 1930-х гг.: в «Совр. записках» я наткнулся на повесть неведомого М. Иванникова (псевдоним?)[3] — «По сторонам от дороги, вправо и влево, волочились горемычные облака; исподволь угнетали душу убогие ужасы предместья; ныли телеграфные столбы, и качался, тужился против ветра, виляясь в педалях, упрямец велосипедист» — в которой набоковский стиль, слегка огрубляясь и аляповятясь, вдруг выдает свое происхождение едва ли не от Ремизова, которого (может быть, именно поэтому) Набоков всегда едко бранил. Эта неожиданная генеалогия Набокова — тема уже не для меня, но может быть, хоть наши дети ею займутся.



COMITE INTERNATIONAL
DE PALEOGRAPHIE LATINE
XIth COLLOQUIUM

Мне понравилось выражение лица этого читателя; мне кажется, что на него одновременно похожи и Ваши и мои усталые глаза. Я очень стараюсь быть трудолюбив и добродетелен, но боюсь, что вернусь не с половиной, а разве что с третью того, что хотел сделать. Вспоминайте меня иногда, мне без Вас неспокойно. Целую Ваши руки.

Ваш взаимоопорный столб.

31.1.95

1 Работа М.Л. «„Неизвестный солдат“ Мандельштама: апокалипсис и/или агитка?» была впервые опубликована в «Новом литературном обозрении» (1995. № 16), а затем вместе с работой «„Ода“ Сталину и ее метрическое сопровождение» включена в книгу М.Л. «О. Мандельштам: Гражданская лирика 1937 года» (М.: РГГУ, 1996; Чтения по истории и теории культуры. Вып. 17).

2 Ipse dixit — буквально — «он сам сказал это», употребляется как обозначение авторитетного суждения, не нуждающегося в аргументации.

3 *Иванников М.* Дорога // Современные записки. 1937. № 65. С. 149. Ср.: Записи и выписки. С. 62 («Стиль»).

П21
[31 января 1995 года, Принстон, от руки]

№ 13

31.1.95

Где синий свет, свой зимний воск,
Звезда разбрызгала, — как ярко
Декабрь воссоздает Нивоз
В мерцаньи синего огарка.
Б. Пастернак

Дорогая Ирина Юрьевна,

мне, конечно, следовало письмо с таким эпиграфом посылать в декабре, — но я его тогда еще не знал, хотя и должен бы. Это из наброска, опубликованного (вместе с другими) в нью-йоркском «Новом Журнале»

в конце 1980-х гг.* А. Раннитом, под заглавием (кажется) «Неизвестный Пастернак из собрания Т. Уитни». Уитни[1] — это старый капиталист, который для интереса скупил русские архивы, по большей части эмигрантские; а потом увидел, что его наследники к этому совершенно равнодушны, и тут-то его уговорили пожертвовать свое собрание в Амхерстский колледж и открыть там «русский архивный центр». Это было года два назад; а сейчас я ездил в Амхерст с докладом, мне с гордостью рассказывали и показывали, что́ у них есть, я листал несколько размашистых рукописей Пастернака (попавших к Уитни от наследников Тарасенкова) и даже с текстологической гордостью сделал поправку в публикации Раннита: он неправильно разобрал одно слово. Это четверостишие мне понравилось; простите, если Вы его и так знали. Кроме оттиска Раннита из «Нового Журнала», в архиве при этих рукописях лежит его большой доклад на пастернаковской конференции в Иерусалиме в 1984[2] (я даже не знал о такой), не опубликованный. Там разбор стихотворения «Точильщик, или вздох, оказавшийся большевиком», некоторые общие рассуждения, неглупые, но безответственные (что поэтика Пастернака — это гибрид Уитмена и Эредиа, а техника «Сестры-жизни» и «Тем и вариаций» напоминает кубизм Пикассо, Брака и Гриса, итп.), и, что мне было близко, пара страниц о влиянии Игоря Северянина на Пастернака: Раннит, будучи эстонцем, Северянина знал и любил. Пастернак Северянина бранил, говорил: «тургеневщина», а Северянин говорил Ранниту: «Пастернак украл у меня много стихотворных схем». (Это правда: в том числе схему «Воробьевых гор». А еще, помните, я Вам говорил, что если в «Сестре-жизни» отслоить привнесенные, метафорические образы, то их пласт окажется очень северянинским: трюмо, рюмки, рислинг, запонки, канапе, купе... Да, собственно,

[*На полях слева:*] * 1984, № 156
[*На полях:*] А у Оскара Уайльда была пьеса из жизни русских нигилистов, где действовали Царь Иван, Принц Петрович, Алексей Иванасьевич, Полковник Котемкин и Профессор Марфа[3]

и Нивоз). Цитируется даже эпиграмма Северянина на Пастернака: «Когда упал бы пастор на кон И был бы этот пастор наг, Тогда сказали б: Пастернаком является абсурдный знак». Рифму «пастор наг» у Северянина украл (или наоборот?) Крученых, но его бессвязицу я плохо помню; может быть, Костя помнит. Я подумал: раз уж мне не суждено написать «Пастернак и Северянин», то, может быть, нам договориться с Амхерстским архивом и напечатать этот доклад Раннита в «Паст. Чтениях», переведя с английского? Это не чудо, но все-таки лучше многого, что нам приходится отсеивать и не отсеивать. И вообще, чем мы хуже всей российской печати: прорубим окно в Европу и будем заполнять по трети сборника переводами из заграничных статей и книг. Правда, они тоже, кажется, неважные, но на некоторое время сливок хватит; авторы возражать не будут. Хорошо, когда есть «Паст. Чтения»: можно загораживать ими состояние Собрания сочинений; а по Мандельштаму и загораживать нечем. Я уже хвастался Вам, что кончаю статью о том, что «Стихи о неизв. солдате»[4] — это советское стихотворение о революционной войне, которая положит конец всем войнам; теперь я ее кончил (остались примечания), и в последний момент вообще получилось, что оно выросло из стихотворения «Обороняет сон...» о параде на Красной площади, а оно, в свою очередь, из сталинской оды: там было «Голов бугры... я уменьшаюсь в них, меня уж не заметят (как тот солдат)... но... воскресну я... И в бой меня зовут... за оборону жизни, оборону страны... где смерть утратит все права...» (это первоначальная редакция) — а в «Солдате» «все, кто жить и воскреснуть должны» (это предпоследняя редакция). Через несколько дней начинаются мои разъезды с докладами — повезу эту статью Ронену, пусть он скажет, не слишком ли там кацисовские натяжки.

А еще в амхерстском архиве, имея только два часа свободных, я читал парижскую газету «Евразия» за 1928/29, где цветаевский Эфрон писал бледный панегирик Бакунину («почему она поехала за ним в Москву?» — сказал кто-то при мне. — «Видимо, она его любила по-настоящему, а всех

своих любовников — так, по обязанности поэта»); кто-то объяснял, что «сегодняшний день» это не тавтология, а калька с der heutige Tag, а «целиком и полностью» — ganz und gar, а «постольку-поскольку» возникло при Временном правительстве; а Д. Мирский доказывал, что пейзаж Тютчева (моя тема!)[5] мог быть не русским, а европейским, потому что для служащего дворянина Россия была государством, а не пейзажем, и только для отстраненного съежилась до собственного поместья. «Как непохоже на пейзажное западничество Тютчева и Пушкина цветущее евразийство поэта Петровской индустриализации — Ломоносова и поэта *тропически-агрессивного* екатерининского крепостничества — Державина»[6]. Я люблю социологизм, когда он не боится доходить до геркулесовых столбов стиля; почему-то я подумал: «Марии Евг. Грабарь-Пассек это бы тоже понравилось».

Это письмо я пишу с маленьким перерывом после предыдущего, а следующее будет с большим: до 6 марта я в разъездах, писать будет труднее. Павлу Александровичу и Коле низкие поклоны. Целую Ваши руки и душевно опираюсь на Вас.

Ваш известный столб.

1 Томас Уитни, родом из города Толедо, штат Огайо, из семьи промышленников, лишенной каких-либо связей с Россией, стал заниматься русской историей и русским языком в 1937 г., сразу после окончания Амхерстского колледжа. Получив степень магистра в Колумбийском университете, он провел годы войны в Вашингтоне, работая аналитиком военной разведки. С 1944 по 1953 г. он работал в Москве, сначала в качестве атташе американского посольства, а затем как корреспондент агентства Associated Press: здесь он женился на певице Юлии Запольской, с которой он смог уехать на Запад лишь после смерти Сталина. Об этом периоде своей биографии Уитни рассказал в книге «Россия в моей жизни» («Russia in My Life», 1962), однако его увлечение Россией, активное участие в русской культуре продолжалось до конца его жизни; так, например, на протяжении более сорока лет фонд имени Юлии Уитни (умершей от рака в 1965 г.) оказывал финансовую поддержку знаменитому нью-йоркскому «Новому журналу». Деятельность Уитни не ограни-

чивалась меценатством: он был одним из наиболее активных переводчиков русской литературы на английский язык. Хорошо известны его переводы «В круге первом», первых двух томов «Архипелага ГУЛага» и Нобелевской речи А. Солженицына; среди других произведений, ставших доступными англоязычному читателю благодаря Томасу Уитни, — «Котлован» А. Платонова, «Всё течет» В. Гроссмана, «Опасные мысли» Ю. Орлова, «Мемуары» П. Григоренко. Свою уникальную коллекцию русских книг и рукописей, русского искусства Уитни собирал очень долго. В 1991 г. он передал архив и библиотеку Центру русской культуры Амхерстского колледжа, а в 2001-м художественный музей aima mater Томаса Уитни получил более 400 произведений русских художников конца XIX — первой половины XX в.

2 Boris Pasternak and his Times, 19–24 May 1984, Hebrew University at Jerusalem. Ее материалы, и в том числе доклад А. Раннита «Boris Pasternak's Unknown Manuscripts in the Thomas P. Whitney Collection» (о материалах собрания Томаса Уитни в архиве Амхерстского колледжа), опубликованы в сборнике: Boris Pasternak and his Times / Ed. by Lazar Fleishman. Berkeley, 1989 (Berkeley Slavic Spec.). Самый большой черновой текст Пастернака, напечатанный в этой публикации, — черновик стихотворения «Чирикали птицы и были искренни...» из «Тем и варьяций» с черновым заголовком «Точильщик, или вздох, оказавшийся большевиком». Раннит публиковал материалы этого собрания в «Новом журнале» (Нью-Йорк, 1984. № 156) — «Неизвестный Борис Пастернак в собрании Томаса П. Уитни». Раннит в обеих публикациях пишет об Уитни, упоминает материалы о самом Уитни — сонет В. Перелешина и статью С. Голлербаха, публиковавшиеся в «Новом журнале» в 1980 г.

3 Речь идет о юношеской пьесе О. Уайльда «Vera, or the Nihilists» (1880).

4 См. письмо П20, примеч. 1.

5 Работа М.Л. «Композиция пейзажа у Тютчева» была впервые опубликована в «Тютчевском сборнике» (Таллинн, 1990); то же: Избранные труды. Т. II. С. 332–361.

6 *Святополк-Мирский Д.П.* Тютчев (К 125-летию со дня рождения) // Евразия (Париж). 1928, 29 сентября. С. 5; статья перепечатана: *Святополк-Мирский Д.П.* Поэты и Россия: Статьи. Рецензии. Портреты. СПб., 2002. С. 121–124. Ср.: Записи и выписки. С. 64–65 («Тютчев»).

П22
[7 февраля 1995 года, Лос-Анджелес, от руки]

№ 14 (или 15?) 7.2.95

Дорогая Ирина Юрьевна,

я отправил Вам синее письмо с эпиграфом из Пастернака, а на следующий день получил неожиданное Ваше — то, которое через Живова. Спасибо Вам, для меня каждое Ваше слово дорого. Только, на беду, Вы почему-то решили не донимать меня «своими экзистенциальными жалобами», как будто Ваши заботы не мои заботы. Я понимаю, что помощи от меня ни в каких заботах не бывает, но ведь иногда только пожалуешься, и легче. <...>

Вы писали о разговоре с Осповатом и Юнгрен по поводу Тютчева (а я и не знал, что Юнгрен, которую я никогда не видел, занимается, кроме Пастернака, и Тютчевым) — дай им бог здоровья, помашем им платочками с наших обочин. А я здесь говорил с Осповатом не далее чем вчера: была маленькая конференция в Лос-Анджелесе, потом Жолковский позвал меня в гости, и в этот же вечер к нему из Москвы приехал Осповат, усталый и сонный: у него умерла теща, ездил хоронить и оформлять разные бумаги. Я даже забыл спросить его про тютчевское издание. Жолковский дал мне почитать две статьи, в одной была фраза «по богатству ролевой клавиатуры Анна Ахматова превосходит всех русских писателей, кроме, разве, Козьмы Пруткова», а другая называлась «Ахматова как советский поэт» и содержала рассказ от первого лица, почему он не любит Ахматову[1]. Получается: за аскетизм, за замкнутое «мы» и за парадную торжественность — все три черты сталинской эпохи. Я тоже не люблю Ахматову, но, пожалуй, не за это, а за эгоцентрическое самоутверждение, которое у нее началось задолго до советского времени. (ДеллаВос-Кардовская писала ее портрет и слушала разговоры: после первого сеанса не знала, что и думать, а потом ждала уже с интересом: «ну, что она еще о себе скажет?»). Я выписал себе из его статьи характеристику «жен-

щин-ахматовок», которыми та себя окружала: «интеллигентки в первом поколении (часто партийного происхождения), но аристократки духа; безропотные прислуги для «своих», но со стихами Серебряного века на устах; просвещенные демократки, но полные снобистского презрения к плебсу; сексуальные революционерки, но закованные в вериги верности кастовому идеалу любви-дружбы с обязанностями, но без прав, без ревности, без притязаний на счастье» итд. Мне понравилось. У Жолковского третья жена[2], художница из раввинского семейства, и ее восьмилетняя дочь, в очках и страшно серьезная, учит в школе иврит: смотрится эта идиллия непривычно. Но сексопатологические комментарии к русским поэтам вроде бы прекратились, может быть — временно.

Иванову я напомнил про комментарий к «Сестре-жизни», он легко ответил, что в марте собирается в Россию и надеется привезти. Думаю, что привезет маленький кусочек: больно уж бодр. Заодно я спросил его, не обидится ли он, если я возьмусь редактировать и унифицировать его комментарий; он сказал «пожалуйста». Так что, когда дойдет дело, наваливайте его на меня: чтобы я отрабатывал пастернаковский грант по пути наименьшего сопротивления. Со Светланой Ивановой было хуже: она делала доклад опять о происхождении рифмы из ослышек, мои замечания показались ей недоброжелательными, и потом она пол-банкета выясняла со мной отношения. Жолковский говорит, что в первый раз слышал, как я говорю, повысив голос. Потом, говорят, она допрашивала Вроона, как он определяет божественное в поэзии, и он сердился на нее еще громче. В результате я пишу это письмо в самолете из Лос-Анджелеса в Принстон (если почерк сбивчивый, то это из-за воздушных ям), внизу сквозь безоблачное небо видны скомканные горы, а передо мной список тысячи ослышек, треть которых я обещал Светлане расклассифицировать, как рифмы. У нее удивительная уверенность, что всё нужное ей уже должно быть сделано другими, и когда она этого не обнаруживает, то сердится.

Я дожил до того, что листал в американской библиотеке русские толстые журналы последних двух лет (кое-что нашлось по Мандельштаму) и наткнулся там на последнюю порцию записей Л.Я. Гинзбург 1920–30-х гг. Про старость (на которую я так нетактично жаловался) там сказано: «это сознание, что то или иное начинать или продолжать поздно (даже в молодости — напр., кататься на коньках)». «С. Бернштейн сказал: года 4 назад, когда Тынянов не был еще гениален, он мне давал очень дельные советы». «Тынянов являет собой удивительный пример какой-то мелкой гениальности: его назовешь (слегка поперхнувшись) гениальным ученым, но большим ученым его не назовешь. Может быть, потому, что он вообще не ученый (не по знаниям, а по темпераменту)?» <NB я согласен>. «М.К.Тихонова говорит: он сделал Грибоедова евреем»[3]. «Я еще очень склонна уважать если не людей, то отдельные входящие в их состав элементы» <NB я тоже>. «Распространяется литературное генеральство. Шагинян к себе относится, как к Флоберу. А искаженный Андрей Белый божится, что он старый материалист, и даже готов перекреститься»[4]. Простите, если Вы всё это уже читали, и давно.

Вы хорошо описали принстонскую Алексееву (не она моя подопечная, а скорее — я ее). Теперь Вы ведь представляете, что постоянно работать рядом с таким (безукоризненно хорошим) человеком стоит некоторого напряжения и требует, как Вы точно выразились, повышенной бережности.

Я уже в третьем письме пишу Вам, что оно последнее перед перерывом: еду в гастроль с докладами. Как будто наговариваюсь с Вами впрок. Не сердитесь на меня. Низкие поклоны Павлу Александровичу, Коле, а часто вспоминаемому Косте — особо. Целую Ваши руки.

Ваш М.Г.,
он же взаимоопорный.

1 А.К. Жолковский опубликовал несколько вариантов своей «антиахматовской статьи», например: Страх, тяжесть, мрамор (Из материалов к жизнетворческой биографии Ахматовой) //

Wiener Slawistischer Almanach, Sonderband 36 (1995). S. 119–154; Анна Ахматова — пятьдесят лет спустя // Жолковский А.К. Избранные статьи о русской поэзии: Инварианты, структуры, стратегии, интертексты. М., 2005. С. 139–174.

2 Речь идет о Кате Компанеец, художнице, уехавшей из Москвы в США в 1981 г. Ее отец, А.С. Компанеец (1914–1974), — выдающийся физик-теоретик. Среди прадедов отца были раввины.

3 Ср.: Записи и выписки. С. 23 («Евреи»).

4 М.Л. цитирует публикацию: *Гинзбург Л.Я.* Записи 20–30-х годов: из неопубликованного / Вступит. статья и публ. А. Кушнера. Примеч. А. Чудакова // Новый мир. 1992. № 6. С. 144–186; перепечатано: *Гинзбург Л.* Записные книжки. Воспоминания. Эссе. СПб., 2002. С. 368–430. Некоторые цитаты слегка искажены, а последняя, о Шагинян и Белом, объединяет два разных фрагмента (см.: *Гинзбург Л.* Записные книжки... С. 417).

П23
[17 февраля 1995 года, Колумбус (Огайо), от руки]

Кажется, № 16? 17.2.95

Дорогая Ирина Юрьевна,

если будете до моего приезда писать по каким-нибудь делам Баевскому, не откажите приписать, что его жене, Эде Моисеевне Береговской, через меня передает привет известный Омри Ронен из Энн-Арбора, в 1947 году в городе Киеве в десятилетнем возрасте учившийся у нее французскому языку под своим настоящим именем Имре Сорени. Она была студенткой с репрессированными родными, и его родители, биологи, хотели ей помочь. Правда, по его памяти она была Элла Моисеевна, но такое бывает. Обнаружилось такое совпадение в нашем разговоре совершенно случайно, за десять минут до нашего с ним прощания; вот как бывает. Французскому он тогда так и не научился (добавляет он), потому что в том же году уехал с родителями в Венгрию, и трудности венгерского языка заслонили французский.

Два дня, что я провел у него в Энн-Арборе, были праздником, почти уравновесившим остальные мои шесть месяцев. Я ехал как на экзамен, везя рискованную статью о «Неизвестном солдате», но получил полное одобрение, а в разговорах было высыпано столько интересных сообщений, что у меня уже нет места в записной книжке. Даже включая фантазии. «Пушкинский Анчар — анаграмма слова „саранча“, трагическая сублимация комической командировки, в которую послал его князь Воронцов, как „человека человек“»[1]. «Бродский нехорош: он привил русским стихам поэтику западной поэзии, которая сама в упадке. По-французски анжамбманы на предлогах звучат хорошо, а по-русски — еврейским акцентом, который превращает неслоговые предлоги в слоговые: „ув гробу“. Его нужно читать с еврейским акцентом — вот как Трубецкой говорил, что Марр не так нелеп, если его читать с грузинским акцентом». «Нина Берберова очень старалась идти в ногу со временем. Она даже Ходасевича не объявляла великим поэтом, пока не увидела, что к ней потянулись студенты, интересующиеся им, и готовы это подхватить. Но Пушкина не любила прочно и наперекор всем вкусам». «У Л. Гинзбург написано, что Тынянов Грибоедова сделал евреем? так он и Пушкина сделал евреем! А Самсон-хан в „Вазир-мухтаре“ — это же предсказание власовщины: как только это могли перепечатать в 1948 году!» <«Ну, серия была юбилейная, а под юбилеи и не то проходит»> «Якобсон сказал: Белич делает свой фестшрифт периодическим журналом, а свой журнал фестшрифтом»[2]. <Белич, главный югославский лингвист, учитель Тарановского, охотно справлявший юбилеи и печатавший в своем журнале статьи с комплиментами себе.> «У Пастернака „Дункан седых загадок — в помощь!..“ — это совсем не макбетовский король, как пишет Баевский и другие комментаторы, это яхта „Дункан“ из „Детей капитана Гранта“, отправляющаяся на поиск духовных родителей». <Так ли? я не помню и начисто не понимаю стихотворения «Я их мог позабыть».> «„В снегах России, в бреду Патагонии“ — Вы говорите, „в бреду“ это метони-

мия — но это и реминисценция из того же Жюль Верна: помните, один и тот же обрывок слова читается то как „Патагония“, то как „агония“» <«Так это не Пастернак, это „Ленин“ Маяковского». — «Тем более».> — «У Мандельштама „Бежит волна волной волне хребет ломая“ — это по образцу пародии Крылова „Ветер ветра ветром гонит“ — и с памятью о Грине. “Бегущая по волнам“, тоже крымская ассоциация. Вы не думайте, реминисценции из Грина и у Ахматовой есть». <О Грине не знаю, о строчке Крылова — кажется, из комедии «Проказники» — правда, хорошо>. «В „Неизв. солдате“, „В глубине черномраморной устрицы“ (это не о гробе Наполеона, он темнопорфировый, об этом писал Случевский, не мог же Мандельштам не помнить Случевского!) через смерть Андрея Белого („молчит, как устрица“) ассоциируется с вагоном из-под устриц, в котором привезли мертвого Чехова». «Есть порода москита, которая по Линнею называется Aoedus (аэд) Aegyptiacus, отсюда у Манд. „комариный звенит князь“ и в „Ег. марке“ „комар — последний египтянин“; на комаров были похожи иероглифы, которыми Вал. Парнах изображал позы ног при эстрадном танце». «Н.Я. Манд. отрицала влияние Гейне на Мандельштама — дурной тон! — а на самом деле вся проза Мандельштама от Гейне». И так далее.

А тихая бахтинистка Нина Перлина подсказала, что «жаркой шубы сибирских степей» — это от ремарки Хлебникова «Перун подает Юноне черную шубу сибирских лесов» в той заумной пьесе «Боги», о которой я же и докладывал[3]. А я не заметил.

Я доложил за две недели шесть докладов, даже один по-английски (говорят, поняли); пишу Вам сейчас из предпоследнего места, из Колумбуса в Огайо, где меня очень грозно представляли как «академика» — здесь, оказывается, тоже чинопочитание. <...>

Целую Ваши руки и кланяюсь всем добрым людям. До через три недели!

Ваш взаимоопорный столб.

1 Ср.: Записи и выписки. С. 8 («Анаграмма»).
2 Ср.: Записи и выписки. С. 66 («Фестшрифт»).
3 Статья М.Л. «Считалка богов: О пьесе В. Хлебникова „Боги“» была подготовлена для сборника: Мир Велимира Хлебникова: Статьи. Исследования (1911–1998). М., 2000. С. 279–293.

П24
[7 марта 1995 года, Принстон, от руки]

Кажется, все-таки это письмо — всего лишь № 16 7.3.95

Дорогая Ирина Юрьевна,

<...> В Мэдисоне работает Щеглов. С Жолковским у него охлаждение из-за неуважительной статьи Жолковского об Ахматовой (я о ней писал); но когда ему показалось что-то неуважительное в моей реплике о Жолковском, он живо за него вступился. Он цитировал мои к нему письма 15-летней давности, а я — его; было грустно. Там же, в Мэдисоне, работает молодой Долинин из Ленинграда, губа трубой (кажется, добрый знакомый Кости Поливанова); он предлагал мне рассматривать «Неизвестного солдата» на фоне русской моды на Ремарка («непреодоленный ремаркизм» — клише критиков, над которым издевались еще Ильф и Петров) и спрашивал, что значит «созвездий жиры»? как в бульоне? (наверное; а Вы как думаете? мне при этой строфе еще всегда вспоминается «Звездная ночь» Ван Гога, где звезды — как пунктирные вращающиеся спирали) и откуда выражение «развороченных... гений могил»? (Я не знаю; а оно концовочное, ключевое). Вспоминал, что Жирмунский говорил, задумавшись среди доклада: «Через 20 лет пошлость становится стилем» <NB а стиль через 20 лет становится пошлостью>[1]. Щеглов говорил: «Американская культура, собственно, бесписьменная — рассчитанная на то, что всё усваивается из воздуха, реклам, телевидения; базовый фонд образов для общения — это не школьные хрестома-

тии, а комиксы и мультфильмы...» Долинин добавлял: «Набоков отгораживался от американской культуры: язык его на кассетах — не американское произношение, а британское пополам с неистребимым русским». (Своим английским Н. гордился и в комментарии к «Онегину» неустанно попрекал Пушкина тем, что он-де Байрона и Шекспира читал только по-французски и даже «Пир во время чумы» переводил через французский — хотя отлично знал, что Вильсона по-французски не было. Пушкин его переводил-таки с английского, хотя и не дочитав до конца: последний акт в его экземпляре не разрезан. Так Аверинцев предостерегал искателей подтекстов у Мандельштама: «он ведь не только список кораблей, а и всё на свете прочитывал лишь до половины»). И еще сказали они страшную вещь: деконструктивизм уже устарел, Деррида уже не цитируется! <...> «А что теперь носят?» — «Не понять; вот NN подарила вам свою книжку о Мандельштаме, спросите ее, она все моды за год чует». Но спросить не представилось случая. Впрочем, думаю, что это ложная тревога и что деструктивизм умирал так уже не раз. Но не премину написать об этом племяннице, которая переводит сейчас Деррида для русского читателя.

А один из собеседников еще до Мэдисона обратил мое внимание, что «Видение» Тютчева начинается парадоксом: «живая колесница мирозданья (целое!)... катится в святилище небес (часть!)» — а кончается двусмысленностью: «лишь Музы девственную душу в пророческих тревожат (кажется, подлежащее и сказуемое: Музы тревожат)... боги снах», правильное осмысление фразы наступает лишь в предпоследнем слове. Что это, небрежность или иконический знак, изображение труднопостижимости мира?[2]

Я только вчера вечером вернулся из месячного круга по пяти университетам, еще не выспался, но уже впрягся в мандельштамовскую лямку; времени уже мало (это из 8-то месяцев!), сил мало, и хочется для души пойти в библиотеку и ксерокопировать поэму старого Гюго «L'âne», футуристический агностицизм, похожий на автопародию; Вы ее, наверное, хотя бы раскрывали. А что, Анатоль Франс правда был великим

писателем? О нем почтительно пишет даже Алданов; а мне всегда казалось, что Франс — вроде нашего Чехова, легковооруженный арьергард национальной классики, уже ощутимо инородный. Если не забудете, — скажите при встрече.

Целую Ваши руки.

Ваш взаимоопорный столб.

1 Ср.: Записи и выписки. С. 19 («Двадцать»).

2 Ср.: Записи и выписки. С. 27 («Инверсия»).

П25
[20 марта 1995 года, Принстон, от руки]

№ 17

20.III.95,
под равноденствие.

Дорогая Ирина Юрьевна,

я прочитал, что Фонтенель на вопрос о самочувствии отвечал: difficulté d'être, — и подумал, что мы с Вами тоже могли бы так ответить. Правда, Фонтенель умер, как Вы помните, в 99 лет, так что у него было на это в полтора раза больше права. Прочитал я это в романе Алданова «Повесть о смерти», вдруг оказавшемся лучше, чем я ждал. Время там — вокруг 1848 г., а главный герой (не считая полукартонных вымышленных персонажей) — старый Бальзак. Говорится, что бердичевский врач определил состояние Бальзака как «гипертрофию» (без уточнений) — «самое точное определение его существа». «Он не умел вычеркивать отступления и описания и поэтому стал энциклопедией французской жизни». Попутно сообщается, что восстание и погром в июне 1848 были оттого, что хотели закрыть национальные мастерские для безработных, а закрыть их хотели оттого, что они плохо работали, а плохо работали они оттого, что организовывали их две конкурировавшие школы французских инженеров. (Я вспомнил экономические проекты горбачевских времен). И еще — что поклонниками Гейне были в числе прочих Меттерних и Бисмарк. (Я вспомнил, как

Ф. Зелинский в статью об И. Анненском в Брокгаузе (!) умудрился вставить замечание в скобках, что тот любил Гейне «(как все, кто не понимает истинно немецкого духа)»[1]). У Зоргенфрея есть стихотворение, которое начинается «Умер, и иду сейчас за гробом, Сам за гробом собственным иду...», а кончается «Надо торопиться. Отпеванье Ровно в шесть. А вечером доклад»; Алданов цитирует явный подтекст к нему — будто бы Дидро сказал: «Каждому из нас под конец жизни случается следовать за собственным гробом». Не знаете, где?

У нашего с Вами Кржижановского[2] была большая папка афоризмов разного рода; может быть, за это время их уже опубликовали. Я здесь смотрел афоризмы Карла Крауса, сатирика-экспрессиониста (в мировую войну написал пьесу «Конец света» в 209 сцен, в театре она провалилась), он мог иногда быть образцом. У него сказано, в числе прочего: «Я не вмешиваюсь в мои личные дела»; «Жизнь — усилие, достойное лучшего применения»; «Они судят, чтобы не быть судимыми»; «Господи, прости им: они ведают, что творят!»

Жить мне здесь осталось чуть больше месяца, и я с печалью думаю, не последнее ли это к Вам письмо? Я напишу еще раз, но, наверное, сам приеду раньше. (А Василенко строит странные планы задержаться здесь до июля, когда истечет виза, и еще выписать на это время на свои гроши жену и дочь.) Я много жаловался и на то, что устаю, и что скучно без собеседников, а теперь всё лучше чувствую, какое это счастье — иметь несколько часов в вечер и два дня в неделю, когда можно никого не видеть и не слышать и хоть немного восстанавливать себя. После этого, вернувшись, мне стыдно будет людям смотреть в глаза. На днях я кончаю большую (и плохую: очень чувствуется, что это я не свое дело делаю) текстологическую статью, после этого получится, что за 8 месяцев я написал 8 листов, так что хотя бы количественно отработал поездку. А чего я не написал, лучше не считать; и что предстоит писать по возвращении — тоже. Ирина Юрьевна, дорогая, предупредите Павла Александровича, что, вернувшись, я буду отчаянно просить освободить меня от статьи про стих для «Исторической поэтики» ИВГИ: нипочем не

смогу написать, скорее уволюсь из ИВГИ. Даже уважительная причина есть: буду для ИВГИ же дописывать сразу две задолженных книги — они знают, какие. А неуважительных причин — что нужно будет отрабатывать для других мест — и того больше. Все эти материалы я брал с собой в надежде хоть отчасти сделать тут, и везу обратно, не раскрыв.

Можно, я скажу одну неразумную просьбу? Если Вы, несмотря ни на что, не стали хуже ко мне относиться, и если мы по-прежнему будем иногда ходить запивать кофеем наши пастернаковские мыканья, то давайте один раз сходим без Кости, хоть я очень его люблю. Мы ходили так перед моим отъездом в какую-то переулочную забегаловку под булгаковской вывеской и с выглаженным мальчиком-официантом, я сидел против Вас, и когда потом здесь вспоминал Ваше лицо, мне было легче. Мы с Вами — взаимоопорные столбы, но опора у нас этой зимой была неравномерная: Вы для меня были душевной опорой больше, чем Вам кажется, а я для Вас своими письмами без адреса — вряд ли: боюсь, что скорее раздражал, не умея на дальнем расстоянии угадать Ваши новые печали.

В одной свежей английской книжке по русской истории мимоходом написано: «Считалось, что Сталин брал за образец Петра I и Ивана Грозного, но нынешние русские исследователи нашли, что, судя по его личной библиотеке, он больше интересовался римскими императорами, особенно Августом, нежели Иваном и Петром». Скажите это Вашим домашним античникам*.

А еще у Алданова упоминается, что был австрийский орден Марии Терезии, который по уставу давался тем, кто исполнил больше, чем свой долг. Мне это понравилось[3].

[*Приписано справа:*] * В «Литпамятниках» когда-то хотели переиздавать Светония, я сказал: «лучше Тацита», мне сказали: «нет, не лучше: вы что, не понимаете, что Светония читают, как современную хронику?» Я думал, что это преувеличение, но сейчас вижу в американской газете такие отчеты о здоровье, виде и публичном поведении Ельцина, какие, наверно, в точности печатались в парфянских газетах о римских императорах. Простите за мелкую приписку: как Ваши глаза?

Из Москвы пришло уведомление, что «Биб-ка поэта» нашла себе вместо «Сов. писателя» издательство «Акад. проект» (странное имя для издательства) и собирается там издавать Мандельштама с моей статьей, но почему-то не «подг. Фрейдиным и Василенко», а «подг. А. Мецем»[4]. Видимо, это конкурентный вариант, разбивающий последние остатки мандельштамоведческой коллективности, и вернувшись, я увижу, что при всем академическом Мандельштаме остался один Фрейдин, спокойный и очень довольный.

Пусть Вам будет полегче. Целую Ваши руки.

Ваш взаимоопорный столб.

1 Искаженная цитата; у Зелинского — «Немецкой литературы он не понимал и не любил, исключая Гейне, интерес к которому у иностранца обыкновенно связан с непониманием настоящей немецкой поэзии».

2 Прозу Сигизмунда Кржижановского и его работу «Поэтика заглавий» М.Л. и И.Ю. очень ценили. См. об их интересе к проблематике заглавий в письмах П26, П32, П37.

3 Ср.: Записи и выписки. С. 21 («Долг»).

4 *Мандельштам О.* Полн. собр. стихотворений / Вступит. статья М.Л. Гаспарова и А.Г. Меца. Сост., подгот. текста и примеч. А.Г. Меца. СПб., 1997.

П26

[2 апреля 1995 года, Принстон, от руки]

№ 18 и последний 2.4.95

Дорогая Ирина Юрьевна,

у меня к Вам консультация. У русских поэтов есть жеманный обычай называть свои стихи «тетрадями». Первым это сделал, кажется, Анненский, написав «Трилистник из старой тетради» (и назвав соответственную свою книгу «Кипарисовый ларец» будто бы потому, что в таком ларце у него лежали тетради; тетради были, сам видел в архиве, в клеенчатых переплетах, но заглавие все-таки скорее от Шарля Кро или кого-то другого из его куми-

ров, кто написал «Сандаловый ларец», не помню, как по-французски[1]). А за ним пошли и у Ахматовой «Из восточной тетради», «Из сожженной тетради», и у несчетных советских поэтов «Из лирической тетради», «Из сталинградской тетради» и пр. (Когда я был маленький, то думал, что у поэтов и вправду лежат несколько тетрадок, вроде школьных, захочет — сочинит в одну, захочет — в другую). А с этого поветрия и Н.Я. Мандельштам разделила стихи О.М. на «Первую воронежскую тетрадь» итд. и приписала это деление ему, с подробностями совершенно хлестаковскими. Мне об этом нужно мимоходом писать, и я хотел спросить: а не было ли на это у Анненского (как на всё) каких-нибудь французских образцов? Я вспоминал, какие там могли быть аналоги тетрадям, но нет — не вспомнил.

Запишите, пожалуйста, адрес еще одного железнодорожного стихотворения: А. Александров, «Русское обозрение» 1894, № 1, с. 209. «...Грохотали дороги мне чудные сказки И гремели чугунные песни свои». Эту концовку цитирует Ю. Иваск в книге о Конст. Леонтьеве[2], при котором Александров состоял подхалимом; книгу эту я взял, потому что здесь будет конференция «Рус. литература и европ. история», и Вяч. Вс. Иванов будет делать доклад о Леонтьеве. А я читать Леонтьева никогда не мог: он мне казался таким пошляком, что всё думалось, будто я чего-то не понимаю. Прочитал Иваска (очень умиленного) — нет, всё то же: досрочный калужский Уайльд с заштатной озлобленностью. Чувствует себя сидящим в ложе и хочет, чтобы перед ним пестрым крепостным балетом плясали страны, века и народы. Непременно пестрым: на него действовала только попугайская красота небесного Иерусалима, и памятник Александру II он предлагал сделать из золота, слоновой кости, и в одеждах из серебра с эмалью, а за свой дом в Оптиной пустыни извинялся, что он «хамски-белого цвета». В монахи он пошел за то, что Богородица исцелила его от холеры, а он очень не хотел умирать от холеры: не эстетично. Монахи, поглядев на него, двадцать лет не хотели его к себе пускать. А когда пустили, и он, наконец, помер, то при отпевании трупный запах отшибали жареным кофеем. Нарочно не при-

думаешь. Самое печальное, что писатель при этом он был бесталанный: даже Иваск сдержанно признает. А ведь отнять у Готье талант, а у Флобера гений — и получится Леонтьев[3].

Ко мне пришла аспирантка, которая пишет «Отношение к Лескову в современной русской культуре»: читает «Молодую гвардию» и «Наш современник» и огорчается, что не находит ничего разумного. Я сказал: и не найдете. Лесков умудрился совместить несовместимое: быть одновременно и моралистом и эстетом. Но моралистом он был не русского интеллигентского или православного образца, а протестантского или толстовского. И эстетом он был не барского, леонтьевского образца, а трудового, в герои брал не молельщиков, а богомазов, и орудие свое, русский язык, любил так, что Лев Толстой ему говорил: «слишком!» Таким сочетанием он и добился того, что оказался ни для кого не приемлем, и какая литературная партия ни хочет взять его в союзники, всякая вынуждена для этого обрубать ему три четверти собрания сочинений, а при такой операции трудно ожидать разумного. Нынче в моде соборность, а у Лескова соборно только уничтожают чудаков-праведников. Интеллигенции положено выяснять отношения с народом, а Лесков заявлял: «я сам народ», и вместо проблемных романов писал случаи из жизни. В XVIII в., когда предромантики пошли по народную душу, им навстречу вышел Роберт Бернс, сказал «а я сам народ» и стал им не диктовать, а досочинять народные песни: «почему это я не имею на это права?» Сопоставление это (честное слово, резонное) так меня позабавило, что дальше об этом я уже думать не мог.

Вот на такой историко-литературной теме кончается наша переписка. Простите, если часто сбивался на неинтересное и личное. Не знаю, письмо ли это до Вас раньше дойдет, или сам я приеду. <...>У меня сейчас ощущение, будто я опять прощаюсь с Вами; и я опять прошу у Вас позволения вообразить, что мы прощаемся так, как в Марбурге. Вы мне здесь очень, очень помогали жить. Буду теперь терпеть до встречи.

Целую Ваши руки.

Ваш взаимоопорный столб.

1 Единственный прижизненный сборник французского поэта Шарля Кро «Сандаловый ларец» («Le Coffret de santal», 1873).

2 *Иваск Ю.* Константин Леонтьев: жизнь и творчество. Bern, 1974.

3 Ср.: Записки и выписки. С. 180–181.

П27
[3 мая 1995 года, в самолете из Нью-Йорка в Москву, от руки]

№ самый последний. 3.5.95

Дорогая Ирина Юрьевна,

спасибо Вам с Костей за добрую телеграмму[1]. В передовой Америке телеграфом почему-то не пользуются, поэтому доставили мне ее в каком-то странном виде — как будто с телеграфа ее переписывали на телефакс. Но все слова и буквы были на месте. И чувства тоже. А я тем временем нашел у себя в старой записной книжке (честное слово, не нарочно) еще более подходящее поздравление: эпиграмму из Палатинской антологии:

Шесть десятков прожив, здесь я сплю, Дионисий из Тарса.
Сам я не был женат. Жаль, что женат был отец[2].

Пишу я Вам (как когда-то из Италии) в самолете, до Москвы — шесть часов, мы влетаем из освещенного полушария в неосвещенное, и за окном красное солнце садится в ровные темные тучи, как в море. Я Вам не писал, кажется, месяц, и, видимо, это для меня слишком долго. За этот месяц я побывал в нашем знакомом Стэнфорде; Флейшмана там не было, он в Европе, был Андрей Устинов и заверил меня, что он уже послал Вам фестшрифт в честь Флейшмана под заглавием «Темы и вариации»[3] и наполовину из статей о Пастернаке. А перед этим я был на еще одной конференции в Лос-Анджелесе, видел Иванова, но даже не знал, что он только что из

Москвы. О пастернаковском комментарии я его не спрашивал, чтобы не бередить очень больное место. Я уже примирился с мыслью, что мне придется переписывать его комментарий от начала до конца, и я даже думаю, что смогу это сделать, только не представляю, когда. Свой пробный комментарий к трем стихотворениям «Близнеца в тучах» я показал Вроону[4], он очень похвалил. Сказал: «В первый раз вижу комментарий, в котором говорится о том, что, собственно, значат комментируемые стихи». А когда я сидел с Алексеевой над разночтениями Мандельштама и сказал, в чем разница смысла (в стих. «Как дерево и медь — Фаворского полет») между «Я сердцем виноват, и <я есть> часть сердцевиНЫ до бесконечности расширенного часа» и «Я сердцем виноват, и <моя> сердцевинА <есть> часть до бесконечности расширенного часа», то она с удивлением сказала: «Я не знала, что Мандельштама можно читать, как Горация». Видимо, она его всегда читала с ощущением «значенье — суета, и слово — только шум, когда фонетика — служанка серафима». Честно говоря, я тоже, и установка на понимание требует для меня больших усилий. А для Вас?

Эти восемь месяцев в Принстоне прошли странно. С одной стороны, время летело: каждый день что-то неотвлекаемо делалось и что-то (гораздо больше) оставалось несделанным. С другой стороны, время стояло: я все время чувствовал, что там, за горизонтом, в Москве всё меняется, и жизнь, и пастернаковское издание, и Вы, — а я застыл, как выключенный в сентябре. Даже не застыл — я писал Вам, что́ менялось у меня на душе, — но я привык жить, так сказать, координированно с Вами, а здесь Вы были далеко. Ваше письмо, посланное через Колю, было для меня большой поддержкой, — спасибо, что Вы держите мою ниточку.

Только теперь, улетев из Принстона, я в состоянии сказать, на что он, собственно, похож. Архивная читальня называется «имени Даллеса» — помните, был такой поджигатель войны[5]. Она круглая, и перед глазами висит портрет круглого Даллеса над круглым глобусом. Вокруг нее библиотека — версты пристроек и надстроек вширь и ввысь, а на перекрестках в полу рисунки компаса, N-E-S-W, чтобы не заблу-

диться. Вокруг — университет, серыми башенными псевдоготическими корпусами, а среди них, на площадке перед библиотекой, постамент, и на нем бутон черных выпуклостей с просветами: скульптор Липшиц, «Гармония гласных»[6]. На главной улице — псевдо-церковь (святой Павел), по-кёльнски — или по-страсбургски? — поднявшая одно готическое ухо. А вокруг, теремками, острокрышие домики-кубики с дачными крылечками и фасадами в досчатую линейку. Я уже писал: «В Америке ведь не города, а поселки городского типа», — сказал Томас Венцлова, приятель Бродского, степенный диссидент, преподающий славистику в Йеле.

Спасибо Вам за комментарий к Паскалю: «Le moi est haïssable[7]», — я уже не помню, по какому поводу я Вам об этом писал, но ощущение это, конечно, всегда при мне. А сцену с Мильтоном из «Кромвеля» Гюго, которую перевел Пушкин, я все-таки нашел; очень занятный перевод, хоть статью пиши.

Я надеялся в Принстоне прочитать между делом много чего полезного, но читал, главным образом, старые эмигрантские журналы и разные книги по всеобщей истории. Мне понравилась фраза Ю. Даниэля по поводу слов Базарова о лопухе: «как же так — „ничего не будет“? Лопух вырастет, отличный большой лопух, его сорвет простоволосая женщина и прикроет голову от солнца...»[8] А у В. Вейдле сказано, что единственное настоящее, а не переводообразное подобие поэтики Малларме в русском языке — это «Мельхиор» Пастернака[9]; мне понравилось, потому что это пренебрегаемое стихотворение я почему-то люблю смолоду. У него же мимоходом сказано о Стендале: «ему бы по душевному складу надо было умереть смертью Пушкина, — на патриарший век Гете и Толстого он не тянул»[10]. И что когда полиглот-кардинал Медзофанти сошел с ума, то из всех 32 языков, которые он знал, у него в памяти остался лишь цыганский[11]. (Не помню, говорил ли я Вам, что киевский лингвист А.А. Белецкий — отец которого, украинский академик[12], мемориальный бюст у подъезда, был другом Ф.А. Петровского, — сказал мне, как по-цыгански будет «пошла прочь» — на пристающих действует магически; но я эти слова забыл).

А из интервью Бродского об Ахматовой я узнал, что Пастернак два раза предлагал Ахматовой руку и сердце. «И как?» — «Ну, от живой жены, это же несерьезно. И потом, он был ниже ее ростом и моложе. <NB моложе — на неполный год>. Но З.Н., конечно, ее ненавидела»[13].

И попалась мне цитата из Тэна: «В чистом поле мне приятнее встретить барана, чем льва, но за решеткою приятнее льва, чем барана. Искусство и есть такая решетка»[14]. Когда мне случалось объяснять, почему я стал филологом, я говорил: «Красота меня пугала, — а под музейным стеклом она казалась не такой страшной». Но у Тэна это сказано лучше.

И совсем другое: из немецкой газеты, концлагерная молитва, может быть, хасидская. «Да престанет всякая месть, всякий призыв к наказанию и возмездию, потому что слишком велики преступления. Господи, не будь справедлив и не воздавай мучителям, и оставь нас в их памяти не преследующими призраками, а помощниками в их борьбе против их страстей»[15].

Пока я писал, мы пролетели ночь, над светлыми облаками встает солнце, и до Москвы — три часа. Я понял, почему я стал писать Вам, вместо того чтобы считать аллитерации в «Евгении Онегине», как я собирался: потому что мне нужно было душевно приготовить себя к московской реакклиматизации, и через разговор с Вами это оказалось всего возможнее. Спасибо Вам за это.

Ваш М.

1 13 апреля 1995 г. М.Л. исполнилось 60 лет.
2 Ср.: Записи и выписки. С. 23.
3 Речь идет о сборнике: Темы и вариации / Themes and Variations: In Honor of Lazar Fleishman / Ed. by K. Polivanov, I. Shevelenko, A. Ustinov. Stanford, 1994 (Stanford Slavic Studies. Vol. 8).
4 Р. Вроон — автор работы «Знак близнецов: Опыт интерпретации первого сборника стихов Б. Пастернака» (Пастернаковские чтения. Вып. 2. М., 1998. С. 334–354; пер. М.Л. Гаспарова).
5 Имеется в виду Джон Фостер Даллес, в 1953–1959 гг. госсекретарь США.
6 Речь идет о кубистическом произведении «Песнь гласных» (Song of the Vowels) скульптора Ж. Липшица.

7 «Мое я заслуживает ненависти» (*Паскаль Б.* Мысли / Пер. Ю.А. Гинзбург. М., 1995. С. 254). См. письмо П19, ср. комментарий М.Л. к этому высказыванию: Записи и выписки. С. 188 («Я»).
8 *Синявский А., Даниэль Ю.* Диалог // Синтаксис (Париж). 1988. № 24. С. 170.
9 *Вейдле В.* Пастернак и модернизм // Мосты: Литературно-художественный и общественно-политический альманах. № 6. Мюнхен, 1961. С. 123 (статья перепечатана: *Вейдле В.* О поэтах и поэзии. Париж, 1973 и др. издания).
10 Приведенное М.Л. высказывание — сокращенный «пересказ» фрагмента из статьи Вейдле «Три предсмертья» в книге: *Вейдле В.* Вечерний день: Отклики и очерки на западные темы. Нью-Йорк, 1952. С. 164–165.
11 *Вейдле В.* Кармен // Вейдле В. Вечерний день... С. 184. Ср.: Записи и выписки. С. 187 («Язык»).
12 Имеется в виду А.И. Белецкий.
13 М.Л. цитирует фрагмент из книги: *Бродский И., Волков С.* Вспоминая Ахматову. Диалоги. М., 1992.
14 «J'aime mieux en rase campagne rencontrer un mouton qu'un lion ; mais derrière une grille, j'aime mieux voir un lion qu'un mouton» (*Taine H.* Nouveaux essais de critique et d'histoire. Paris, 1865. P. 152).
15 М.Л. приводит, сокращая, текст молитвы, впервые опубликованной в немецкой газете Süddeutsche Zeitung и в русском переводе вошедшей в книгу «Молитва и жизнь» Антония митрополита Сурожского.

П28
[6–11 декабря 1996 года, Бергамо, от руки]

Дорогая Ирина Юрьевна,

Вы будете смеяться, но мне хочется начать: Вы человек, поездивший по Европе, у Вас на моем месте впечатления были бы более оттеночные, а мне каждый город кажется тем же Марбургом, в котором мы были с Вами (может быть, именно поэтому). В прошлый раз я Вам, кажется, даже Венецию описывал как вариант Марбурга, а уж Бергамо — тем более. К тому же, Бергамо (хочется сказать в среднем роде: «оно») не чужой Венеции, это аванпост ее владений на материке, на границе с Миланом, поэтому жутко укрепленный: крутая скала, вся в бастионах,

подъем — только по фуникулеру, на скале теснятся домики, по виду — не ремонтированные с XV в., торчат колокольни, а в пышном соборе могила и крашеная статуя кондотьере Коллеоне — того, который у нас в итальянском дворике[1] хочет растоптать каждого входящего: ему, как самому твердобронзовому, поручено было держать эту границу. При всем том никаких войн здесь не было чуть ли не до наполеоновских времен, и бастионы стояли зря: это ободряет мыслью, что мировая история все-таки не так худа, как кажется. Ничего из вышеописанного — бастионов, собора, колоколен, картинной галереи с жестяным Мантенья и фаянсовым Рафаэлем, музея Доницетти, здешней гордости, — я не видел. В гостинице, как водится, лежала цветная глянцевая книжка, 200 страниц достопримечательностей, с ресторанами и ювелирнями, и посмотрев ее, я почувствовал, как будто уже всё видел, и с наилучших точек зрения, и неблизорукими глазами, и вообще Le Musée imaginaire Мальро давно стал реальностью[2]. Когда-то Аверинцев говорил очень прочувственные речи о том, что культура есть ощущение подлинности, а я удивлялся, потому что мы-то, словесники, никакого подлинного Софокла никогда не увидим и не услышим. А Седакова рассказывала, что Умберто Эко ей тоже очень прочувственно говорил о том, что ничего подлинного на свете нет, но потом, усевшись в ресторане, с таким вкусом обсуждал меню, что она подумала: нет, кое-что подлинное для него есть[3]. Чем больше живешь филологом и привычно разлагаешь себя на первоисточники всего, что в тебе есть («...точка пересечения общественных отношений»), тем больше понимаешь, что никогда ничего своими глазами ты все равно не видишь, а если увидишь, то не

М. Кузмин. Природа природствующая и природа оприроденная. N. naturans et N. Naturata.

Кассирша ласково твердила:
«Зайдите, миленький, в барак:
Здесь вам покажут крокодила,
и здесь такой японский рак!»
Но тут завыла громко пума,
Как воют грешники в аду,
И я (холодный и) угрюмый,
ответил мрачно: «Не пойду!

К чему искать зверей опасных
В зверинце, средь (постылой) мглы,
Когда на вывесках прекрасных
Они так кротки и милы?»

(Это из книги «Форель разбивает»: проверьте ошибки моей памяти, которые в скобках).

заметишь, а если заметишь, то не скажешь, и вообще ты собою лишь замутняешь свои первоисточники. Университет здесь тоже жмется на акрополе, вход на славянскую кафедру — из подворотни (это здесь почему-то часто), там мне подарили труды их прошлой конференции по Флоренскому[4], последняя статья в них — Ренаты Гальцевой, знаменосицы русского экзистенциализма: не о Флоренском, а о гостеприимном Бергамо, и какие там витрины, и кафе со ста сортами закусок, и удобные вещи, и приветливые лица, и дети не дерутся на улицах, и добрый булыжник, и яркий рынок, и интимно уютная гостиница, а какое она видела и пережила Успение Тициана и миланский собор, это пусть останется фактом ее личной биографии; тут я, кажется, лучше понял, что такое экзистенция с лица и с изнанки. Я пишу Вам из той самой интимно-уютной гостиницы, что в двух шагах от университетской подворотни; она лишь притворяется не ремонтированной с XV века, а внутри всё блестит, крахмально топорщится, и стены густо засижены картинками на все вкусы: Благовещенье с архангелом на цыпочках, кривой профиль с двумя глазами и двумя ноздрями, бурное море у скал с широкополым рыбаком в лодке, кошечка на книжечке с виноградной кисточкой, зеленая ворона из костлявых треугольников, гравюра с прохожими сюртуками, цилиндрами и кринолинами и дутые яблоки с бликами, притворяющиеся асимметричными меж вазой и блюдом. Мне повезло: перед конференцией я два дня мог сидеть, запершись в номере и никого не видя — ну, хоть не по целому дню, а по полдня. (В другие полдня нужно было консультировать коллег — старого знакомого по его переводу Мандельштама[5], новую — по стиху русских фарсов времен Анны Иоанновны[6]). Оказывается, я больше устал без одиночества, чем сам думал. <...> Пока я пишу это письмо, уже прошла конфе-

ренция (Флейшман не приехал, Ж. Нива тоже) — что было интересного, расскажу при встрече[7]. Главный человек в Бергамо — это 70-летняя Нина Каухчишвили, глухая, с хриплым грузинским басом на *а* и *ы*, с рваной речью и пляшущими жестами (Вяземский, Белый, Флоренский) — я когда-то встретил ее в Тарту и очень испугался, а теперь ничего: оказалось, что, во-первых, у ее двоюродной сестры, гранддамы-античницы[8], я целовал руку в Тбилиси (Петровский подсмеивался над ее «-хчишви-», но ему льстило, что она княгиня), а зять этой сестры, нынешний главный грузинский античник (сухой, быстрый, сейчас с инфарктом в ледяной гостинице без лекарств), тоже мне знаком[9]; а во-вторых, в докладе ее, почему-то называвшемся «Достоевский и иконные Горки», речь шла о том, что Достоевскому на каторге тяжелее всего было три года быть все время на людях и в тесноте, потому-то он потом столько писал о тесных углах и так зло о массовых сценах; это мне (и Вам?) показалось близко. А хорватский маститый авангардовед А. Флакер, круглый, как мягкий мяч (с ним ругался о Мандельштаме Тарановский[10], и ему я вез статью от Парниса), оказался совсем не хорват, а из Белостока и Лодзи и, когда я обрадовался («Хорватия для меня экзотика, а Лодзь я знаю по Тувиму»), стал мне улыбаться. Дописываю письмо в свой последний день, кончив все дела на кафедре и после этого в первый раз обойдя середину города: десять минут по булыжнику, плоский фасад Венецианского судилища, квадратная колокольня с шапкой в тумане, площадь шириной с коридор, вмещающая фасады двух соборов, потрепанного готического с розой и почищенного классического с колоннадой (а в углу еще граненый, как чашка, баптистерий), черные амбарные замки по сторонам серого переулочка и среди них вдруг простой зеленый двор, и замшелые каменные скамейки, на которых даже хочется посидеть, кабы не дождь. Как когда-то, я почувствовал, что смотрю Вашими глазами, и от этого было приятнее, чем от всего, что я увидел. Завтра вечером буду звонить Вам из Москвы. Целую Ваши руки.

6–11 дек. 96.

1 В Музее изобразительных искусств им. А.С. Пушкина.
2 Введенное в обиход французским писателем, искусствоведом, культурологом Андре Мальро выражение Le Musée imaginaire «воображаемый музей» («музей без стен») обозначает одновременное присутствие всех эпох искусства в нашем сознании, ставшее возможным благодаря техническим средствами репродуцирования и тиражирования. Эта концепция была исследована и изложена Мальро в ряде его произведений; само выражение стало заглавием первого тома его искусствоведческой трилогии «Психология искусства» («Воображаемый музей», 1947; «Художественное творчество», 1948; «Цена абсолюта», 1950).
3 Ср.: Записи и выписки. С. 49 («Подлинность»).
4 П.А. Флоренский и культура его времени = P.A. Florenskij e la cultura della sua epoca: atti del convegno internazionale, Università degli Studi di Bergamo, 10–14 gennaio 1988 / A cura di Michael Hagemeister e Nina Kauchtschischwili. Marburg, 1995.
5 Ремо Факкани.
6 Мария Луиза Феррацци, исследовательница театра времен Анны Иоанновны, автор книги: *Ferrazzi M.L.* Commedie e comici dell'arte italiani alla corte russa (1731–1738). Roma, 2000.
7 Имеется в виду конференция «Художественный текст и соседние культурные ряды», 9–10 декабря 1996 г. Ряд докладов конференции см. в сборнике: Художественный текст и его геокультурные стратификации / Ed. by Maria Chiara Pesenti, Margherita de Michiel et al // Slavica Tergestina. VIII. Trieste, 2000.
8 Т.С. Каухчишвили.
9 Р.В. Гордезиани.
10 Речь идет о полемике по поводу стихотворения «На розвальнях, уложенных соломой...». Критика интерпретации этого текста А. Флакером помещена в статье Тарановского «Еще раз о стихотворении Мандельштама „На розвальнях, уложенных соломой“ (Иные дополнительные наблюдения и некоторые новые материалы)» (Russian Literature [Amsterdam]. 1987. Vol. XXII. P. 447–475) и повторена в дополненной русской редакции его «Очерков о поэзии О. Мандельштама». См.: *Тарановский К.Ф.* О поэзии и поэтике. М., 2000. С. 177–178.

П29
[Начало апреля 1997 года, Вена, компьютерный набор]

Дорогая Ирина Юрьевна[1],

я уже привык Вам писать о каждом встречном городе что-то вроде его перевода на знакомый нам язык: помню, как я писал Вам «возьмите Марбург, перемените то-то и то-то, и получите Венецию». Так и о Вене мне хочется сказать: возьмите ленинградские проспекты, наломайте их на куски покороче, расположите так, чтобы каждый перекресток старался называться «Пять углов», потом набросьте на эту паутину московское бульварное кольцо (только пошире) под заглавием Ринг, и Вы получите Вену. Все дома осанистые, все с окнами в каменных наличниках, каждый пятый с лепными мордами, каждый десятый с валькирией в нише. Такой же и университет, но как войдешь — родные узкие коридоры, облупленные двери и неприкаянные студенты.

Вена изо всех сил притворяется городом наших бабушек: на новенькой кондитерской написано «с 1776 г.», на ювелирном магазине (готикой) «бывший поставщик двора его кралецесарского величества», сама Вена ездит на трамваях, а туристов возит на извозчиках, и извозчиков этих — лошади парою, а возницы в котелках — на улицах не меньше, чем трамваев. В публичных местах густо стоят памятники — тоже в стиле картинок из тех книжек в красных переплетах с золотым обрезом, которые дарили нашим бабушкам за прилежание в четвертом классе. Но не все: с ними, названия не имеющими, чередуются иные, называющиеся барокко. В книгах написано, что подлинным зачинщиком барокко был Микельанджело, но это неправда. Микельанджело говорил, что статуя должна быть такой, чтобы скатить ее с горы и у нее ничего не отобьется. А эти статуи такие, что и на площади, кажется, вот-вот развалятся — столько из них торчит лишних конечностей. И все вздутые и вскрученные, как будто их сложили из воздушных шаров разного размера и облепили камнем. Поглядев на здешнюю Марию-Терезию (в окружении разных алле-

горий), чувствуешь, что наша Екатерина перед Александринским театром — чудо монументального вкуса. На гравюрах мы привыкли к таким размашистым жестам, как у Терезии и аллегорий; но когда они из чугуна, то я пугаюсь. Дворцы по бульварному кольцу тоже поважнее Зимнего: там на крыше стоят черные латники, а тут скачут золоченые всадники, а то и колесницы, и тоже все в чем-то развевающемся.

И вот среди этого царства бабушек разных эпох стоит собор святого Стефана, ради которого, собственно, я только и выполз из своего жилья. Мне его стало очень жалко. Он высокий, старый, изможденный, и ему очень тесно. Почему большой — об этом в незапамятном детстве, когда меня безуспешно учили немецкому языку, я читал легенду, что его строитель ради этого продал душу дьяволу, но чем это кончилось, я не помню. Почему худой — потому что это поздняя готика, когда все башни похожи на рыбьи кости с торчащими позвонками, а подпружные ребра по бокам судорожно поджаты. Почему изможденный — то ли он в вечном ремонте, то ли порода у него такая, но серые стены цвета вековой пыли у него в больших светлых проплешинах, как на облезающей собаке. Почему тесно — потому что его вплотную обступили, высотою ему по колено, добротные домики 19 века, такие уютные, что ясно, никто никогда их не снесет, чтобы Стефана можно было хоть увидеть по-человечески. А в промежуточке между ним и домиками кишат туристы. (На открытках он очень красивый и отдельный, но это уж чудеса фотографии). Видно, что за шестьсот лет он оттрудился вконец и хочет только в могилу, а ему говорят: ты памятник архитектурный, тебе рано. Вы человек бывавший в Европе, и на эти мои чувства могли бы сказать вразумляюще: «это везде так», и я бы утешился. Но вас поблизости не было. Это я единственный раз выбрался дальше моего обычного маршрута от жилья до университета, и это было тяжело: я не мог ничего видеть, не стараясь в уме пересказать это словами, и голова работала до перегрева, как будто из зрительной пряжи сучила словесную нитку. Мне предлагали поводить меня по Вене, но я жалобно отвечал: «Я слишком дис-

курсивный человек». На обратном же пути от Стефана стоял дом серым кубом образца 1930 г., на квадратном фасаде цветные гнутые нимфы образца 1910 г., а между ними надпись: здесь жил Бетховен, годы такие-то, опусы такие-то.

Ежедневный же мой путь до университета — 20 минут, из них 15 минут вдоль каменного барака в два этажа, где был монастырь (на воротах — «MDCXCVII»), потом госпиталь (за воротами скульптура белого врача в зеленом садике), а теперь его передалбливают под новый корпус университета. Это по одной стороне улицы, а по другой пиццерия, фризюрня, турбюро до Австралии и Туниса, киндер-бутик, музыкальные инструменты с электрогитарами в витрине, ковры, городской суд, японский ресторан, книжный магазин (в витрине «Наш бэби» и «Турецкая кухня»), церковь с луковичными куполами под названием «у белых испанцев», где отпевали Бетховена, автомобильные детали, еще ковры, Макдональдс, антиквария с золотыми канделябрами и бахаистский информцентр (это, насколько я знаю, такая современная синтетическая религия, вроде эсперанто). Сократ в таких случаях говорил: «как много на свете вещей, которые нам не нужны!», а у меня скорее получается: «как много вещей, которым я не нужен». В конце же пути, напротив университета, перед еще одной двухкостлявой готической церковью, зеленый сквер имени Зигмунда Фрейда и среди него серый камень, буквы пси и альфа, и надпись: «Голос разума негромок». Фрейда, говорят, здесь чтут, однако на денежной бумажке он нарисован на одной из самых дешевых, а на самой дорогой — художник Диффенбергер[2]: я с трудом мог дознаться, что это вроде здешнего Брюллова.

Мы с Вами плохо ориентируемся на местности, мне здесь рассказали страшную историю о том, как это опасно. Когда Гитлер был безработным малярным учеником, ему повезло добыть рекомендательное письмо к главному художнику Венского театра (дом в квартал, весь вспученный крылатыми всадниками и трубящими ангелами), но он заблудился в коридорах этой громады, попал не туда, его выставили, и вместо работы по специальности ему пришлось делать мировую

историю. Я всю жизнь сомневался, что такая вещь, как австрийская литература, существует в большей степени, чем саксонская или гессенская литература; но мне объяснили: да, особенно теперь, после немецкой оккупации, это все равно как Польша почувствовала себя инопородной России только после ста лет русской власти. Аверинцев подтвердил: в Баварии никому не придет в голову на профессорском совете говорить на баварском диалекте, а здесь все говорят на венском, не das и was, a dos и wos, так что звучит совершенно как идиш. Говорят, даже обсуждали в правительстве, не снести ли совместный памятник австрийским и немецким солдатам, павшим в I мировую войну, как недостаточно патриотичный; но решили не сносить, а только прикрыть большим-пребольшим колпаком. Я пришел в восторг и, увидев на дальнем краю Фрейд-сквера странный бурый конус в цветных разводах, подумал, может быть, это тоже колпак на чем-нибудь, но мне сказали: к сожалению, нет, это памятник в честь мировой экологии.

Лекции мои здесь были совершенно никому не нужны, однако на последних было уже не от нуля до двух, а от четырех до пяти слушателей — по-видимому, сбредались русскоязычные слушатели со всех факультетов, почему-то все больше музыковеды. Один даже подошел и спросил, знаю ли я такого русского поэта Арсения Альвинга. Как же, говорю, в архиве его работал, в антологии публиковал[3] итд. Так вот, говорит, он мой прадед (ах, говорю я, как хорошо!), но главное не это, а то, что я тоже пишу стихи, — и дает мне папку. Буду читать в самолете.

А в промежутках между лекциями, в меблированной комнате, где я жил, тоже были некоторые бытовые забавности: например, возле дивана не было лампы, так что вечером и утром я занимался тяжелой атлетикой, перетаскивая диван к лампе и обратно: тайно, потому что как съемщик я не имел права двигать мебель. Когда же случались приступы депрессии, то садился на матерчатый пол и собирал с него поштучно соринки; замечательно помогает, этому я еще в Америке научился.

В той австрийской литературе, которую я считал несуществующей, был такой лютый сатирик-экспрессионист Карл

Краус, тридцать лет служивший для Германии Свифтом и Щедриным, вместе взятыми; это он сказал: «Господи, прости им, ибо они ведают, что творят». В магазине, где я купил полезную книгу, справочник мотивов мировой литературы, ее упаковали в сумку, на которой красным по черному было написано: «Если колеблешься между двумя путями — выбирай правильный. Карл Краус». Позвольте же этими ободряющими нас словами закончить мое затянувшееся письмо.

1 Ср.: Записи и выписки. С. 237–239.

2 Ошибка М.Л. — на 20-шиллинговой австрийской купюре, одной из самых дешевых, изображен художник Мориц Даффингер (1790–1849).

3 Русская поэзия «серебряного века», 1890–1917: Антология / Отв. ред. М.Л. Гаспаров, И.В. Корецкая. М., 1993. С. 693–695.

П30
[18 апреля 1997 года, Вена, от руки]

18.4.97

Дорогая Ирина Юрьевна,

может быть, это письмо придет в Москву все-таки раньше, чем я сам. Я думал, что приеду и привезу с собой очередное письмо русского путешественника Вам из рук в руки. Но вот прошли урочные две недели, и меня взяла такая тоска без разговора с Вами, что начинаю это письмо только ради душевной опоры. Мы с Вами за последние два года оба немного расшатались и хуже держимся на ногах, однако — может быть, оттого, что я все же чувствую себя немного Вашей опорой, — я при Вас все же и сам крепче держусь; а здесь без Вас вдруг опять почувствовал полудепрессивное состояние, какого не было довольно давно. Может быть, это просто выходит наружу накопившаяся московская усталость (и накапливающаяся венская). К сожалению, даже физически: спина болит, сидеть трудно. Так что когда я с Вами обычным образом

ежедневно разговариваю про себя, то не только о делах душевных, но и о наших с Вами недугах.

Аверинцеву я Ваше письмо — вместе со многими другими — передал, ответа не имею, но перед возвращением стребую. Боюсь, что ждать от него много не приходится. Вид у него опять нездоровый, похожий на обмякший квадрат с полуторным подбородком; в больнице ему сказали — колоться интерфероном два месяца, если поможет — то продолжать, если нет — прекратить и мирно ждать цирроза печени; шансы на улучшение — один против трех. Наташа ему наполняет шприц, а колет он себя сам. По-моему, он здесь скучает без собеседников: со мною разговаривал долго и охотно, но, как всегда, односторонне — размышлял вслух против теории Б. Успенского о церк.-славянско-русской диглоссии, о которой читает навязанный спецкурс и которую я очень плохо понимаю. Это еще не самый странный его курс: другой называется «Неоклассицизм в русской поэзии от Ходасевича до Бахыта Кенжеева». Я осторожно поинтересовался, что это такое. Он сказал: «Знаете, здесь, как и всюду, все помешаны на интертекстуальности и стараются этим блеснуть в каждой дипломной работе, а сами настолько не знают текстов, что когда Горбаневская пишет „ни покоя, ни воли“, они „волю“ переводят Wille; вот я и учу их видеть хоть какие-то подтексты». А почему до Кенжеева? «Ну, Бродский все-таки умер...» Я не доспрашивал, но еще доспрошу; по-моему, такой курс может иметь целью только выучивание наизусть всей русской поэзии от начала до конца, а для этого Вена не самое подходящее место.

Для моего визитаторства Вена тоже не самое подходящее место: три курса, «Анализ и интерпр. поэтических текстов», «Семантика рус. стиха» и «Античность в рус. поэзии нач. XX в.», да еще на русском языке, не нужны здесь решительно никому. В Стэнфорде я читал перед пятерыми слушателями (и им было интересно), здесь — самое большее перед троими, чаще — перед одним, а однажды не было ни одного («у меня тоже так случалось», сказал Аверинцев). Я вспомнил, как А. Есенин-Вольпин с профессиональной математической точностью говорил: «Я отменяю лекцию, если число слушате-

лей менее одного человека». Но я не отменял, а исправно просидел полтора часа в пустой аудитории. При этом одинокие присутствующие всё время меняются, так что ссылаться на то, что говорилось в предыдущей лекции, не приходится, итп. Я спрашивал Аверинцева, не будет ли ему неприятностей за то, что, вот, добился приглашения Gastprofessor'a, а он никому не нужен. Он ответил: «не будет; такой упрек считался бы нелояльностью к коллеге». Самолюбия у меня нет; сидеть рядом со слушателем и излагать ему лекцию вполголоса — это даже легче для горла; но при таком тет-а-тете как-то и слушателя более жалко, чем в многолюдной аудитории, и хочется компенсировать его страдания порцией внятных знаний, а от этого напрягаешься и устаешь больше обычного. Особенно если русский язык их таков, что даже преподаватель, забредший поприсутствовать из чистого сочувствия, время от времени спрашивает: «а что значит слово „сохранить"?» — и я кое-как объясняю это (слава богу) по-английски.

Я никогда не верил, что есть австрийская литература, отдельная от немецкой, но мне объяснили: раньше, может быть, и не было, но после гитлеровской оккупации австрийцы противопоставляют себя немцам очень решительно. (Я подумал: так ста лет русской власти в Польше стало достаточно, чтобы Польша противопоставилась нам больше, чем при любых самозванцах). Аверинцев говорит, что у него в гостях кто-то о ком-то сказал: «она вышла замуж за немца, какой ужас!» — и дочь Аверинцева, которая учится не в Вене, а в Берлине, была несколько скандализована. В кабинете у Аверинцева между портретиками прежних завкафедрой — усатого насупленного Миклошича и исхудалого с бородкой Трубецкого — висит исполинский Франц-Иосиф в золоченой раме — и, кажется, в других кабинетах тоже. А в аудиториях облупленные двери и столы, совершенно как в отечестве. Города я, как Вы легко вообразите, не видел, только двадцатиминутный маршрут от жилья до университета — мимо исполинского камен-

[*На полях:*] Когда приеду, дайте мне кое-что переписать из этого письма.

ного барака, где когда-то был монастырь (каменная доска: MDCXCVII), потом клиника, а теперь отбойными молотками готовятся новые помещения для университета.

Очень мне здесь без Вас нехорошо. Целую Ваши руки и кланяюсь Павлу Александровичу, Коле и Косте.

Весь Ваш М.

П31
[5 апреля 1998 года, Иерусалим, компьютерный набор]

Дорогая Ирина Юрьевна,

когда Аверинцев в первый раз был в Иерусалиме, он очень гордился, что его гостиница стояла окнами на Геенну. Геенна — это расщелина между старым городом и новым городом, по травяным склонам ее сидят художники с мольбертами, а по асфальтовому дну бегают автомобили и автобусы. Я тоже вместе со всей делегацией стоял в этой гостинице, она как раз для конференций средней руки. В лакированных коридорах висят фотографии великих людей, которые там жили: Леви-Стросс, Ален Гинзберг, Чеслав Милош, Ю. Любимов, Деррида. Аверинцева пока еще нет.

По ту сторону Геенны стоит старый город — акрополь в аккуратных серых стенах, строенных султаном Сулейманом. Внутри — улички, как коридоры, продираешься сквозь выставленные на продажу рубашки, сумки и ювелирные побрякушки, а у порогов вальяжно сидят и попыхивают черноусые лавочники. Кварталы христианский, армянский, еврейский и мусульманский. На месте Соломонова храма стоит Омарова мечеть, видом точь в точь храм Христа Спасителя, я туда не подходил.

Возвращаясь к сравнительной географии, вспоминаешь Тбилиси и Ереван, Новый город, как в Тбилиси, весь по склону, сходящему в Геенну, улицы серпантином, повороты — высший пилотаж для шоферов, вместо проходных дворов — сетка каменных сотов с оградками в пояс человеку, непред-

сказуемо соединенных лабиринтом лесенок. Вдоль улиц парапеты, из-за которых торчат черепичные крыши и кипарисные верхушки нижнего яруса. Все облицовано в один цвет, как в Ереване, светлый камень, чуть коричневый и серый, притворяющийся неотесанным; кто строит нечто могучее и бетонное, все равно обязуется драпировать его светлым камнем. На зеленых полянках каменные кубики-кенотафы: «В память Моше бен Шломо из Бразилии».

Посредине города — памятник лестнице Иакова: каменная, узкая, крутая, без опор, ступеньки стесаны, чтобы никто не лазил. У въезда в город — конструкция из больших красных полуколес: памятник красной корове из народной поговорки[1], но саму поговорку наши спутники упомнить не могли. Когда в городе стали строить стадион, то вышли протестовать евреи-фундаменталисты с плакатом: «Стадионы — грекам!» Это они жили еще маккавейскими временами[2].

Если в Италии казалось, что там съехалась вся русская наука, то здесь тем более. По меньшей мере, трое, кому я сам писал рекомендательные письма (один уже стал звездой литературного авангарда); круглое белое лицо с кудряшками из ИМЛИ; бывшая стиховедша воспитывает внуков в городе по имени Цфат; Н.Елина, которая по Данте, говорит комплимент докладу; Цилевич, сюжетовед из Даугавпилса, тоже здесь, а чем занимается, не спросил. Сегал десять лет назад еще был тугой и брызжущий, теперь уже серебрист и держится римским патрицием. Спрашиваю Тименчика, что преподают? Что хотят: в позапрошлом году за семестр разобрали три страницы «Дара», в прошлом — две, в будущем, наверное, один абзац. Наплыв студентов из России, два года они учатся бесплатно, а потом куда-то рассасываются.

Конференция называлась «Русская литература после падения коммунизма». Все тихо удивлялись: а разве коммунизм-таки был? Бурнее всего обсуждались сочинения Пелевина («это Белый в жанре комикса», сказал Ж. Нива) и скандальная повесть Наймана про его друзей и современников[3]. Я сказал Найману: «Кажется, я здесь единственный ее не читал», он ответил: «слава богу». Приятие советской

действительности советскими писателями называли «стокгольмский синдром»: как когда заложник отождествляет себя с захватчиком. Жолковский рассказывал, как Зощенко демонстрировал свою безопасность для строя видимой бескультурностью, Пастернак наивностью, Ахматова хрупкостью. Кл. Ланн уверял, что у Л. Рубинштейна перекладывание карточек — это от скифского гадания, засвидетельствованного Геродотом[4]. И.П. Смирнов напоминал, что «конец человека» придумал не Фуко, а Маркс (и вспомнил Альтюссер). Т. Толстая сказала: «Можно ли писать после Аушвица? так, вероятно, возмущались: можно ли писать после гибели Трои?» и процитировала стихи Пригова, написанные за 20 лет до Белого дома: «чтобы победить цивилизованную нацию, довольно отключить канализацию».

Молоденький Гольдберг[5], с которым старенький я поделил малого Букера, взял у меня интервью для русской газеты, последний вопрос был: как помогает вам литература справиться со страхом смерти? Я ответил: «Тяжело умирать, хорошо умереть»[6]. Вокруг его авангардистского доклада был скандал, но почему, я так и не понял. Вообще, писателей и поэтов было много, и все утомительны. Один, ходивший с раскрытым портфелем и рассыпавший свои книжки, как сеятель, спросил меня: «у кого учились?» Я ответил: «У книг». «Значит, подкидыш», сказал он и, видимо, обрадовался.

Из всей конференции я лучше всего запомнил один (неизвестно к чему относящийся) японский тезис: «в ситуации или/или ни один выбор не правилен». Давайте примем его за руководство к действию.

P.S. А въездно-выездный город Тель-Авив стоит на месте городка Луд (или Лод?), откуда будто бы был родом наш московский Георгий Победоносец.

5.4.98 Ваш М.Г.

в той самой ситуации,
в которой ни один выбор
не правилен.

1 Согласно Торе и другим еврейским религиозным текстам, красная корова (*пара-адума*, ивр.) — юная телица без изъяна — сжигалась, а ее пепел употреблялся в обряде очищения. Эти обряды прекратились после уничтожения Второго Храма римлянами в 70 г. н. э. По традиции с тех пор совершенная пара-адума не родилась на территории Израиля; ее появление на свет рассматривается эсхатологически настроенными ортодоксальными евреями как знамение пришествия Мессии, который построит Третий Иерусалимский храм. Тех же взглядов придерживаются и многие христиане-фундаменталисты. Рождение в 1997 г. красной коровы Мелодии вызвало сильный ажиотаж среди ортодоксальных евреев в Израиле; по видимому, «памятник», увиденный М.Л., связан с этими волнениями.

2 Имеется в виду гражданская распря сторонников и противников приобщения к эллинским обычаям в Иерусалиме середины II в. до н. э. Сторонники построили вблизи от Храма гимнасий греческого образца и усвоили обыкновение греков упражняться нагими. Об этом конфликте рассказывается во Второй Маккавейской книге, 4.9–17.

3 Имеется в виду роман А. Наймана «Б.Б. и другие», первые две части которого были опубликованы в «Новом мире» в 1997 г. (отдельное издание всей книги — 2002). Текст вызвал бурную полемику о пределах допустимого в мемуаристике, пусть и беллетризованной.

4 *Геродот*, История, IV. 67.

5 Ошибка М.Л., имевшего в виду Александра Леонидовича Гольдштейна, лауреата малой премии Букера в 1997 г. за книгу эссе «Расставание с Нарциссом: Опыты поминальной риторики». В этом же году М.Л. получил ту же премию за книгу «Избранные статьи» (М., 1995). Отчет Гольдштейна о конференции, в который вошли интервью автора с М.Л. и М.О. Чудаковой, под названием «У большой горы» был напечатан в иерусалимской газете «Окна» (1998, 9 апреля. С. 16–20, 28); в письме к М.-Л. Ботт от 1 марта 1999 г. М.Л. назвал этот текст «развязным» (Новое литературное обозрение. № 77. С. 218). О Иерусалимской конференции см. также: *Иоффе Д.* Краткий отчет о последней иерусалимской конференции славистов. Иерусалим, 29.3.1998–2.4.1998 (http://www.epistopology.com/ioffe_slavist.html).

6 Строчки из стихотворения Н.А. Некрасова «Скоро стану добычею тленья…».

П32
[Март 1999 года, Анн Арбор, от руки]

Писано 13.3, послано 15.3.99.

Дорогая Ирина Юрьевна, нашел я здесь ту книгу о заглавиях, о существовании которой говорил Вам: Anna Ferry, The title to the poem, Stanford, 1996, — хотел было всю ее ксерокопировать для Вас, чтобы при нужде я или Павел Александрович перевели Вам, что нужно, но раздумал. Вся она на английском материале, от средневекового до новейшего, и всё на таких стихах, которых ни Вы, ни я не читали и не прочтем. На всякий случай, вот по какому она плану. 1) Кто дает заглавие («Сочинитель о самом себе», «Мильтон о своей слепоте», «Он отрекается от любви», «Стихи на свой день рождения», «Автопортрет 1969»), 2) Кому адресовано заглавие («К моей книге», «К моему сопернику», «Я не могу», «Я с тобой»), 3) Кто произносит стихи («Стихи, будто бы сочиненные Робинзоном Крузо», «Индийская серенада», «Любовная песнь А. Пруфрока» [Элиот], «Тирсис» «Фра Липпо Липпи», «Позабывший»), 4) Кто слушает стихи («К читателю», «К тебе» [Уитмен], «Слушайте, женщины», «К Хлое», «К реке Роне», «К кому-то в раю»), 5) Какого рода стихи («Элегия на сельском кладбище», «Опыт о человеке» [Поп], «Строки, написанные близ Тинтернского аббатства» [Вордсворт], «Рапсодия в осеннюю ночь»), 6) О чем стихи («На праздник Рождества», «Читая Гомера», «Остановясь в лесу снежным вечером» [Фрост], «Храм», «Покинутая деревня»), 7) Цитаты (в том числе — строчкой из самого стихотворения, первой или не первой; также «Я роза Сарона», «Новая Сапфо», «Лучше поздно»), 8) Уклонения («Без заглавия», «Рисунок пером», заглавия, переходящие в первую фразу и пр.). Как видите — изящно, манерно, с преимущественным вниманием к раритетам — типичная картина донаучного подхода к предмету. Библиографии нет, так что про французские заглавия ничего узнать нельзя. А про русские — и так ясно, что надо начинать с нуля.

Пишу Вам из натуральной американской провинции — только здесь я понял, в каких культурных центрах бывал я до сих пор. Библиотека бедная (ничего, для меня и ее хватит); половина ее каталогизирована по старой системе, а половина по новой, и одна и та же рубрика разбросана по разным этажам, так что чувствуешь себя как внутри кубика Рубика (ничего, в Принстоне тоже так было)[1]; хуже то, что когда найдешь нужное место, так хвать, ничего нет (это не исключение, а норма, говорит Ронен). Понадобился мне ради Мандельштама Барбье, по каталогу (компьютерному, других здесь не держат) — пять изданий, на полке — ни одного: кончается Барбе д'Орвильи, начинается Барбюс. У нас это значит: законсервировали, а что значит здесь — не знаю. Ничего, к отъезду освоюсь. Ронен спросил: «Задавали Вам студенты вопросы?» — Нет. — «Очень хорошо: умных вопросов не ждите». В прошлый мой приезд он был окружен любящими и толковыми аспирантками, а теперь что-то не видно. И какие-то — по его свирепому характеру — подозреваются ему враги. «После вашей лекции, — звонит он мне, — на кафедру пришли Ваши слушатели и пожаловались, что присутствовали посторонние студенты, разговаривали, входили-выходили, а это строжайше запрещено». — Да, говорю, народа почему-то было больше, разговоров я не слышал по глухоте, а на входили-выходили не обращал внимания: это ведь в каждом университете свой обычай. — «Нет, говорит, это обструкция, и не только вам, но и мне, я приму меры: это из-за вашей фамилии». Я уж не стал расспрашивать, что это значит: антисемитская кампания или антиармянская.

Что мы будем делать по Мандельштаму, пока неясно, скорее всего — вдохновлять друг друга. Он был занят — дописывал доклад для набоковской конференции, у этого автора ведь тоже юбилей. А я делал то, что и в Москве бы мог, да не мог: читаю статьи и книжки мандельштамоведов и сортирую выписки по стихотворениям, чтобы на всех поссылаться в комментарии. Прожил здесь одну неделю, но пропустил сквозь себя уже столько вздору, что глаза хлопают.

Есть немецкая полупопулярная книжка про Мандельштама и Францию[2], такая пустословная, что я когда-то ее начал и не дочитал. И зря. Вы, кажется, знаете мою аспирантку Смолярову — она когда-то сделала открытие, что «Одиссей воротился, пространством и временем полный» — это реминисценция из Дю Белле — я порадовался, поздравил, она как человек энергичный напечатала об этом заметку не где-нибудь, а в Cahiers du monde russe (кажется, уже не «et soviétique»)[3]. А теперь дочитал я эту немецкую книжку и глядь, на последней странице, где эффектная концовка, описывается эта самая реминисценция. Мораль понятна: начав, не бросай. Впрочем, если за два года никто из читателей Cahiers... этого не заметил, то, вероятно, про всё уже можно писать по второму разу. Или даже по третьему. Ронен уверяет, что еще до немца он отметил Дю Белле в своей книге про Мандельштама. Но уж это вряд ли: я (как и все), найдя какой-нибудь подтекст, тут же обыскиваю по указателю его книгу с разбором двух (!правда, больших) стихотворений М., и почти всегда нахожу его уже открытым: там вокруг этих двух стихотворений, а потом вокруг вокруга итд. накоплена целая энциклопедия подтекстов. Вот ее-то, с накопившимися прибавлениями, он сейчас и расписывает для нашего комментария.

С ним по-прежнему — не бывает ни одного неинтересного разговора. Говорит: «Четыре старческие вещи, по которым составляют ложное представление о Серебряном веке, — это Поэма без героя, Доктор Живаго, Люди-годы-жизнь (острый циник взял тон сентиментального ностальгика) и — еще не использованный в этом качестве [хорошая оговорка] — „Светомир-царевич“ В. Иванова». — «Пастернак изо всех сил открещивается от еврейства, а евреизмов у него больше, чем у кого-нибудь: тёррор!» (Да что вы, просто немецкое ударение: оно есть у Асеева, который был русский и никаких языков не знал). «Через партийный жаргон? Возможно». А Вы, Ирина Юрьевна, не помните, от кого случалось слышать такое ударение?

<...>

Хотел я Вам пожаловаться на здоровье, но перед Вами — грех. В другой раз. А на душевное состояние и так уж я Вам жаловался без всякого права. Пусть хоть у Вас поменьше болит всё, что болит. Кланяйтесь Павлу Александровичу и Косте, а я Вам целую руки и неизменно думаю о Вас.

Ваш М.

1 Ср.: Записи и выписки. С. 56 («Рубик»).
2 См. П4, примеч. 1.
3 *Smoljarova T.* «...Plein d'usage et de raison» (Заметка об одном французском подтексте Мандельштама) // Cahiers du monde russe. 1996. Vol. 37. № 3.

П33
[25 марта 1999 года, Анн Арбор, от руки]

25.3.99

Дорогая Ирина Юрьевна,

помните ли Вы стихотворение Мандельштама «К немецкой речи»? Если не помните, то не откажите посмотреть: там говорится, что он хочет «уйти из этой речи», «поучимся серьезности и чести на западе у чинного семейства», «я вспоминаю немца-офицера», «и на губах его была Церера», «сбегали в смерть без страха, как в погребок за кружкой мозельвейна». В примечаниях говорится, что немец — это поэт Эвальд Клейст, автор описательной поэмы «Весна», друг Лессинга, погибший в Семилетнюю войну и похороненный русскими офицерами. Омри Ронен добавил: «и писал он на двух языках: „Весна“ его имеет немецкую редакцию и итальянскую, Primavera». Я ахнул, потому что только это и проясняет смысл мандельштамовского стихотворения: почему «уйти из этой речи» значит уйти к Клейсту? Конечно, он нигде и никогда об этом не писал, а видел эти тексты когда-то и где-то давно: здесь в Анн Арборе нужные издания вряд ли есть; если не найду, то при торопливой вставке этого дополнения

в (известный Вам) комментарий к фрейдинскому однотомнику придется сделать постыдную сноску: «указано О. Роненом». Общая благодарность ему — наряду с Вами, Костей и Фрейдиным — вынесена за скобки в конец, но такие всеосмысляющие находки, как эта или о том, откуда взялось заглавие «Египетская марка», требуют благодарности в квадрате. Эвальда Клейста Вы читали: в нашей «Басне» был один перевод из него[1]. Я и «Весну» начинал читать (не намного: скучно!), но по какому-то расхожему изданию, где ни о чем итальянском и речи не было. Романтик Клейст, которого переводил Пастернак, был ему, кажется, племянником. («А генерал Клейст, который при Гитлере воевал на северном Кавказе, — тоже ему потомок, — сказал Ронен, — у них офицерские династии все такие»).

Про мандельштамовский «Реймс-Лаон» («Я видел озеро, стоявшее отвесно...») он сообщил, что это из Рембо, в Illuminations есть строчка «Есть и стоячее озеро и пологий собор (qui descende)». Я не проверял, но не сомневаюсь. «Глядели вглубь трех лающих порталов недуги-недруги... — это не от пса ли Кербера, тризевного и лаяй?» А я уж из этого «Реймса-Лаона» два международных доклада высидел, но до Кербера не додумался.

Объясняя Тат. Владимировне[2], что за комментарий мы с ним должны делать, я сказал: «Это суп из солдатского топора: топор — мой, а крестьянские приправы, образующие суп, — его». Я отсидел здесь две с половиной недели, прочитал все свои лекции, кроме последней, перевел между делом две статьи Тарановского для однотомника, страждущего по московским издательствам[3], завтра нужно начинать писать свою топориную часть, а в таком соседстве — страшно.

Прочитал я статью Марселя Швоба о Вийоне — не списывал ли оттуда Мандельштам? — нет, вроде бы транскрипция имен у них расходится; а вот старого Шарля Орлеанского, благодаря Швобу, я стал представлять себе живее и лучше[4]. Хочу отыскать здесь издания Ваших Дю Белле и компании с латинскими их стихами, а то мне совестно за ту «Неолатинскую поэзию», которую мы издали с Шульцем[5].

Нашел здесь книжку, которую давно искал: «Пять песен» Ариосто с параллельным переводом: это он после «Неистового Роланда»[6] начал писать продолжение, уже не в смешном, а в страшном стиле, чтобы кончить Ронсевальской битвой, но не кончил, вышло посмертно, переиздавалось редко, и когда я подумал, не перевести ли его приложением к «Лит. памятникам», то не мог найти. Делаю себе ксерокс, будто собираюсь перевести. И это при постоянной неуверенности, хватит ли у меня сил <...>. Так про сибаритов говорили, что дома они строят, будто намерены жить вечность, а пиры пируют — будто живут последний день.

Перед самым моим отъездом я получил запрос, не смогу ли приехать в конце мая — начале июня в Рим с маленьким курсом о семантике русского стиха. С одним из пригласителей[7] я увижусь 15–20 апреля на здешней пушкинской конференции в Стэнфорде (помните Стэнфорд? во мне он сидит чувством, что мы с Вами там подружились ближе, чем раньше) — туда съезжается всё поголовье российских пушкинистов и даже европейские; там и выяснится, выйдет это или нет. Если выйдет — будет мне еще одна отсрочка. Вы скажете: «лягушка-путешественница»; увы, не от хорошей душевной жизни.

Между началом и продолжением этого письма прошло два дня, я написал свою часть комментария к стих. Мандельштама «Возьми на радость из моих ладоней», Ронен читал до середины, остался доволен. Он уникальный специалист по интертекстуальным кирпичам, из которых строится стихотворение, — мне кажется, будто он читал все книги на всех языках, и все помнит, — но, видимо, мало задумывался о том, как из этих кирпичей складывается стихотворение, и то, как я пишу о композиции на всех уровнях, ему интересно. Я должен буду вернуться с десятком таких разборов, чтобы отработать наш грант: в том же стиле, что мы писали и про «Близнец в тучах», только помногословнее, потому что я пересматривал комментарий к «Близнецу» — ничего не понимаю, так сухо. Костя Вам, наверное, сказал, что «библиотека бывшего Ленина» (его выражение) собирается в одном

гран-проекте издать 4 первые книги Пастернака факсимильно[8], со статьями обо всем на свете и с комментариями. Не покидайте нас.

Пусть Вам будет полегче, Ирина Юрьевна. В прошлый отъезд я Вам всякий раз писал армянское благопожелание, а теперь не помню, как оно звучит, и в записных книжках уже не отыскать; но помню, что значило оно «пусть я возьму твою боль». С тех пор — как пошатнувшейся «версте полосатой» — мне еще нужнее опираться на Вас, да ведь и Вам на меня. Спасибо за то, что я и отсюда чувствую Вашу руку. Целую ее, и кланяюсь Павлу Александровичу.

Ваш М.

1 Классическая басня / Сост. М.Л. Гаспаров, И.Ю. Подгаецкая. М.: Московский рабочий, 1981.

2 Т.В. Скулачева.

3 Имеется в виду сборник: *Тарановский К.* О поэзии и поэтике / Сост. М.Л. Гаспаров. М., 2000.

4 Судя по всему, М.Л. имеет в виду главу «François Villon» книги М. Швоба «Spicilège» (1896) — в последней части этой работы автор пишет о взаимоотношениях Вийона с принцем-поэтом Шарлем Орлеанским. Швоб — не только писатель и журналист, но и филолог-эрудит — внес большой вклад в изучение творчества Вийона: подборка его исследований и лекций, «François Villon, rédactions et notes», появилась в 1912 г.

5 Имеется в виду подготовленный М.Л. и Ю.Ф. Шульцем раздел «Поэты „Латинской Антологии“» в сборнике: Памятники поздней античной поэзии и прозы II–V вв. М.: Наука, 1964. Переиздание: Поэты «Латинской Антологии». М., 2003.

6 *Ариосто Л.* Неистовый Роланд / Пер. М.Л. Гаспарова. Изд. подгот. М.Л. Андреев, Р.М. Горохова, Н.П. Подземская. М.: Наука, 1993 (Литературные памятники).

7 Чезаре Дж. Де Микелис.

8 Издание первых книг Б. Пастернака со статьями и комментариями при Российской государственной библиотеке не осуществилось. Комментарий М.Л. к первой книге — «Близнец в тучах» — вышел в 2005 г. отдельной книгой в издательстве РГГУ: *Гаспаров М.Л., Поливанов К.М.* «Близнец в тучах» Бориса Пастернака: опыт комментария. М.: РГГУ, 2005 (Чтения по истории и теории культуры. Вып. 47).

П34
[8 апреля 1999 года, Анн Арбор, от руки]

8.IV.99

Дорогая Ирина Юрьевна,

я у Вас увел когда-то книжку Шенье, а теперь жалею. У Мандельштама в «Заметках о Шенье» сказано: «ему понравился стих из Эпиталамы Биона, и он сохраняет его», и никто у нас это не комментирует. Попробую поискать сам, хотя во французских комментариях я плохо ориентируюсь.

Через три дня еду в Стэнфорд на пушкинскую конференцию («самая большая из всех заграничных!»)[1]. Как я понимаю, жить придется приблизительно в той же гостинице, где мы с Вами стояли восемь лет назад; только мы тогда заседали где-то в корпусах университета среди зеленых партеров, а теперь будем в городе, в царь-гостинице (другой) со специальными конференционными залами — Флейшман держит марку. В программе 72 доклада, из них про язык-стиль-стих ровно один: мой[2]. Остальные называются: «Мифологический опыт и мифологическое действие» (первый! писателя Андрея Битова), «Метапоэтика Пушкина»[3], «Пушкин и двор»[4], «Как писать биографию Пушкина в эпоху постмодерна»[5], «Почему Пушкин?» (некто из Бирмингема)[6], «Пушкинская Татьяна»[7], «Новое стихотворение „Пророк“» (наш главный Фомичев)[8], «Новые проблемы и предпосылки в изучении „Бориса Годунова“»[9], «Брак как дискурс в Золотом веке: новое прочтение» (автор хорошей книжки о Гершензоне)[10], «Библейский язык как „чужое слово“ у Пушкина»[11], «Почему же П. все-таки предпочел Бальзаку Альфонса Карра (В. Мильчина)[12], «Два символа в „В начале жизни школу помню я“» (Вяч. Вс. Ив.)[13], «Пушкин, Китс и пределы интертекстуальности»[14], «А. Пушкин и А. Терц» (Розанова), «Три встречи с властителем: у П., Толстого и Фазиля Искандера» (Жолковский)[15], «Диалогический подход к Пушкину и Данте»[16], «Пушкин как персонаж поэзии ленинградского андерграунда»[17], моно-

спектакль Рецептера по «Русалке»[18]. Хорошо, что я глухой. Последнее, что я перед отъездом слышал по телевизору, была фраза Шендеровича из «Итого»: «а ведь еще будет пушкинский юбилей, его тоже надо суметь пережить!» Впрочем, в ИМЛИ тоже ведь не миновать быть пушкинской оргии, и темы там, полагаю, будут не менее яркими.

Вернусь я оттуда, изнемогший от столпотворения, 22-го, и уж вряд ли напишу Вам о впечатлениях, потому что раньше сам приеду в Москву — 12 мая. Разве что привезу письмо с собой. Последние мои здесь две с половиной недели постараюсь делать «Записи и выписки» для издания книгой. Тоже невеселая работа: бродить по записным книжкам и смотреть на самого себя. Вообще же я, хоть и жалуюсь на хворобы, честно отрабатываю здешнее уединение и за полторы недели с тех пор, как кончились лекции, написал почти полтора листа мандельштамовского комментария. Самым тяжелым было размечать метафоры — метонимии и пр., чтобы судить о них менее безответственно, чем по поводу «Близнеца в тучах». Почти что освоение новой специальности. Этими листами (плюс столько же своих) Ронен будет отчитываться за грант, который он выбил под меня. Он говорит: «Вот начали стрелять по Сербии; я, как старый габсбуржец, считаю, что Сербию надо было взять в ежовые рукавицы в 1914, но тогда это не вышло, потому что Россия хотела войны, а теперь уже поздно; однако если начнется война и вас интернируют как враждебноподданного, то вот тогда-то мы и кончим наш комментарий!» Потому что с первых же шагов, конечно, стало ясно, что на полный комментарий нам не хватит жизни, а на избранный — многих лет. Но он хотя бы доволен моей половиной работы, — а то я чувствовал себя, как на экзамене.

<...>

«Мандельштамовского Бергсона лютее всего критиковал пастернаковский Коген. Говорили, что вся мировая война началась от брани этих двух евреев». «У Ильфа и Петрова про советскую Россию говорилось: евреи есть, а еврейского вопроса нет. Теперь наоборот: евреев нет, а вопрос есть.

Композитор Борис Кац, избитый в Ленинграде до сотрясения мозга, говорил: я и так все понимаю, зачем же им было меня бить?[19]»

Может быть, это письмо немного развлекло Вас после предыдущего безрадостного. На душе у меня попрежнему нехорошо, и попрежнему очень не хватает Вас. Даже выговариваться не нужно, все уже выговорено, — просто посидеть рядом с Вами. Старый Шервинский говорил: «Жаль, что умер Жамм. Нам, старикам, было бы о чем поговорить. И о чем помолчать»[20].

Целую Ваши руки. Павлу Александровичу и Косте Поливанову — поклоны.

Все тот же Ваш М.
«Пусть я возьму твою боль».

1 Часть докладов конференции опубликована в сборнике: Пушкинская конференция в Стэнфорде, 1999: Материалы и исследования / Под ред. Д.М. Бетеа, А.Л. Осповата, Н.Г. Охотина, Л.С. Флейшмана. М., 2001 (Материалы и исследования по истории русской культуры. Вып. 7).

2 М.Л. выступил с докладом «Синтаксические клише у Пушкина», впоследствии опубликованном под названием «Пушкинские двусловия: язык, жанр, стиль, ритм и рифма в стихе» (Пушкинская конференция... С. 289–299).

3 В программе конференции нет доклада под таким названием; по-видимому, М.Л. имеет в виду «Нарратологию Пушкина» В. Шмидта (Пушкинская конференция... С. 300–317).

4 С докладом «Pushkin and Court Society» выступила Лесли О'Белл. См.: *O'Bell L.* Pushkin, Aristocratic Identity and Court Society // Pushkin Review/Pushkinskii Vestnik. 2000. № 3. P. 23–42.

5 Речь идет о докладе Д.М. Бетеа «How to Write a Biography of Pushkin in a Post-Modern Age» (Пушкинская конференция... С. 208–232).

6 Название доклада известного английского пушкиниста и переводчика русской литературы А.Д.П. Бриггса.

7 В программе конференции нет такого доклада; установить, что имел в виду М.Л., не представляется возможным.

8 В сборнике «Пушкинская конференция...» С.А. Фомичев напечатал статью «Онегинская строфа» (с. 233–240).

9 Речь идет о докладе Б. Кука, впоследствии включенном в статью, опубликованную в соавторстве с Ч. Даннингом: *Cooke B., Dunning Ch.* Tempting Fate: Defiance and Subversion in the Writing of *Boris Godunov* // Pushkin Review/Pushkinskii Vestnik. 2000. № 3. P. 43–63.
10 Речь идет о докладе Б. Горовица, автора книги «The Myth of A.S. Pushkin in Russia's Silver Age: M.O. Gershenzon, Pushkinist» (Evanston, Ill., 1996). Доклад опубликован: *Horowitz B.* A.S. Pushkin's Self-Projection in the 1830s: Letters to his Wife // Pushkin Review. 2000. № 3. P. 65–80.
11 Речь идет о докладе В. Ляпунова «Pushkin's „Prophet" and the Language of the Bible as „Chuzhoe slovo"».
12 Пушкинская конференция... С. 402–425.
13 Доклад опубликован под названием «Два демона (беса) и два ангела у Пушкина» (Пушкинская конференция... С. 42–53).
14 Речь идет о докладе С.А. Кечьян. Подробнее см. ее книгу: *Ketchian S.* Keats and the Russian Poets. Birmingham, 2001.
15 Доклад А.К. Жолковского опубликован под названием «Очные ставки с властителем: Из истории одной „пушкинской" парадигмы» (Пушкинская конференция... С. 366–401).
16 М.Л. имеет в виду доклад С. Гардзонио «Пушкин и Данте: общие элементы культурного сопоставления» (Пушкинская конференция... С. 426–437).
17 Доклад В.М. Марковича опубликован в сборнике: Analysieren als Deuten. Wolf Schmid zum 60. Geburtstag / Hrsg. von L. Fleishman, Ch. Gölz, A. Hansen-Löve. Hamburg, 2004. S. 665–688.
18 В.Э. Рецептер сыграл моноспектакль «История читательских заблуждений (Возвращение пушкинской „Русалки")».
19 М.Л. продолжает цитировать О. Ронена.
20 В «Записях и выписках» М.Л. приводит более полный вариант высказывания С.В. Шервинского о гипотетической встрече с французским поэтом Ф. Жаммом: «С. Шервинский говорил: жаль, что умер Жамм, — если бы мы встретились, нам было бы о чем поговорить, и помолчать» (с. 184).

П35
[Апрель 1999 года, Анн Арбор, от руки]

Дорогая Ирина Юрьевна,

я делал доклад в калифорнийском университете (хорошем — том, где Иванов и Вроон), разбирал в числе прочего стихотворение Мандельштама «Чтоб, приятель и ветра и капель», где добрые слова о Вийоне; после доклада подошла пожилая преподавательница польской и русской словесности[1] и спросила «а почему тут говорится про какие-то завещания»[2]. Пришлось за три минуты деликатно объяснить. Я вспомнил, как когда-то Щеглов писал из франкоязычного Монреаля: «Я пытался объяснить студентам, на что похож Щедрин, сказал: это вроде русского Рабле; они спросили: а кто такой Рабле?» Я когда-то — кажется, в самолете из Марбурга — показывал Вам свои ответы на салонную анкету[3], которую мне там, смущаясь, дала знакомая немецкая журналистка-цветаеведка, очень хороший человек («Кем бы вы хотели быть? — Человеком...»), в конце я приписал вопрос и ответ от себя: «На что больше всего похожа эта анкета? — На разговор Панурга с Фредоном»; она спросила: а кто это такие? Давайте ободряться, что по части невежества мы не уступаем мировому уровню.

В Калифорнии я оказался по случаю пушкинской конференции у Флейшмана в Стэнфорде: предмет их гордости, «самая большая из заграничных пушкинских конференций», 70 докладов, из них о том, что Пушкин писал языком, стихом и стилем, упоминалось ровно в двух, моем и Постоутенко[4]. Как нас с Вами в Марбурге кормили-поили-песни пели в ресторанчике с бревнообразными стенами, Вы помните; здесь такие посиделки были на террасе перед гостиницей каждый вечер, тоже с водкой и песнями; душами общества были Осповат и Жолковский. Жолковский, бравирующий своим американизмом, даже сказал: «за эту неделю я отвык от Америки». А у Осповата что-то было нехорошо на душе сквозь его обычную позу рубахи-парня, однако для отдельного разговора не было случая. <...>

У меня тоже нехорошо на душе, все по той же моей причине. Жил я один, с Роненом работал два дня в неделю (да еще в течение месяца ходил по два раза на его лекции, привыкать к английскому языку, впрочем, безрезультатно), целыми днями сидел взаперти, и все равно не чувствовал себя в щели — хотелось забиться в более тесную щель. <...> Простите, что заговорил об этом, больше не буду. Я много лет привык заочно разговаривать с Вами ночью перед сном, а теперь все реже — это от нечистой совести. И от этого еще сильнее чувствую, как Вы мне нужны. Кроме того, во мне, естественно, нарастают разные хворости, и я все лучше понимаю Ваше самочувствие, когда всё больше приходится утомительно прислушиваться к самому себе. К сожалению, сердце стучит мерно, и все хворости такие, что от них не умрешь; а пора.

С Роненом мы хорошо сработались, это большая радость в моей жизни. Рассказывает случаи из жизни Якобсона и, из вторых рук, — Набокова; но всё мелочи, перескажу при встрече. Нина Берберова сказала Роненовой жене: «Ходасевичу нечего завидовать, завидовать нужно Набокову, что у него была такая жена» (Вера Лурье, еврейка[5]; сестра Набокова писала ему из Праги[6]: приезжай, пожалуйста, только не привози своего жиденка. Твердо считается, что это Вера извлекла из Набокова всё, что он написал; сейчас кто-то пишет ее биографию. «Как редко пишутся и удаются воспоминания о женщинах!») Буду думать, как получить грант на продолжение работы — Америка мне все-таки щель, хоть и широкая. Это трудно, нужно сдавать экзамен на разговорный английский. А я здесь ездил в Калифорнию и обратно, как глухой Бетховен, с разговорной тетрадью в кармане, и каждой аэропортовой регистраторше ее подавал — «напишите ваш вопрос», — и всё понималось очень быстро.

Поливанов Вам говорил, что бывшая Ленинка на заграничные деньги затеяла серию факсимильных изданий поэтических книг со статьями и комментариями. Не бросайте нас; я тоже постараюсь, хотя тоже не вижу, когда все успеть. Я здесь за семь недель написал полтора листа о Мандельштаме, пол-листа рецензии и мелких заметок, кончил одну ста-

рую статью, сделал три листа аварийных переводов научных статей, проработал полторы записных книжки для «Записей и выписок» и прочитал, не знаю, сколько чужих работ с отзывами и советами — совершенно как в Москве. Голова как перегретая, а от записных книжек — депрессия. А в Москве сколько всего меня ждет — думать страшно.

Привезу это письмо с собой: летают письма теперь медленно, говорят — из-за сербской войны. Как Ронен сказал «вот кабы из-за Сербии опять началась мировая война, и вас здесь интернировали бы…», я Вам уже писал. Как всегда перед приездом, мне хочется Вас попросить: давайте найдем случай посидеть час где-нибудь, хотя бы в писательском подвале, только вдвоем, я ни о чем говорить не буду, просто для восстановления душевного равновесия.

Целую Ваши руки.

Ваш неизменный М.
Накануне отъезда.

1 Р.Х. Стоуп.
2 Речь идет о строках «Размотавший на два завещанья / Слабовольных имуществ клубок»; здесь подразумеваются стихотворения Ф. Вийона «Большое завещание» и «Малое завещание».
3 См. письмо А17.
4 К.Ю. Постоутенко выступил в Стэнфорде с докладом об онегинской строфе: «The Onegin Pattern in Russian Poetry (The Theory and Its Application)».
5 Ошибка М.Л., спутавшего поэтессу Веру Лурье с женой Набокова — Верой Евсеевной Слоним.
6 Возможно, что речь идет о Елене Владимировне Набоковой, в замужестве — Сикорской.

П36
[30 октября 1999 года, Пиза, от руки]

Дорогая Ирина Юрьевна,

привет Вам из города Пизы. Описания ее не последует, потому что и о соборе, снявшем шапку, и о башне, которая, вопреки прилагаемой открытке,

только притворяется падающей, я Вам уже когда-то писал, и поэтому нынче даже не пошел с ними здороваться. Еще я писал, что в двух шагах от филологического факультета стоит рыжий обшарпанный трехэтажный дом — «это бывшая башня Уголино, теперь здесь библиотека». В этой библиотеке я два дня работал: дом оказался пятиугольным, все комнаты на разных уровнях и соединены лестницами, а в середине колодец в несколько этажей, обнесенных галерейками с книжными полками. Но это только пол-библиотеки: из подвала ее ведет страшный сырой подземный ход в соседнее здание. Оно называется дворец, фасад у него облицован кафелем с цветочками, а под крышей — восемь ниш в виде пупков, и в них бюсты в бармах и париках. Чьи — не знаю; я спросил своего гостеприимца Гардзонио хотя бы, в честь кого называется соседняя площадь, но он с отчаянием сказал: «какой-нибудь юрист, их много было в 18 веке, и все уважаемые».

Сам филологический факультет тоже рыжий и обшарпанный; когда-то я подумал, что это в знак отношения к нашей науке, но теперь увидел, что это стиль оформления целого города, а может быть, целой страны: чтобы приезжие видели, какая она старинная. Ни один управдом не потерпит такой пятнистой облезлости своих стен: не иначе, ее наводят искусственно после каждого ремонта. Первый этаж сверкает витринами, а над ним начинаются штукатарные разводы, сквозь которые темнеют узкие окошки с нечищенными ставнями. Мимо едет лакированный остроугольный автобус, а улица такой ширины, что прохожим перед ним приходится вжиматься в стены. Я пишу об этом, сидя в гостинице: сводчатый потолок, как в погребе, на нем цветочки, в итальянском путеводителе написано, что здесь останавливался Гарибальди, а в английском — что Веллингтон и Перси Биши Шелли. Перед гостиницей река Арно, глинистого цвета и шириной с три четверти Москва-реки: это много, в Риме миродержавный Тибр (который заочно, но точно сравнивал с Яузой граф Василий Комаровский[1]) тоже глинистый, но сильно уже. На противоположной стороне вдоль набережной — хочется сказать, шириной в пол-тротуара — стоит се-

ренький соборчик, похожий на спичечную коробку, поставленную на чиркательную сторону и со стрельчатым верхом, а в нем будто бы шип из венка Иисуса Христа.

Перед Пизой была пушкинская конференция в Риме[2] — оказалось, что она организована бывшим обществом «Италия — СССР», публика на ней соответственная, и моя тема про рифмо-синтаксические клише мало кому понятна; пришлось за один вечер сочинять совсем другой доклад, развлекательный, по одной старой статье. После Пизы будет доклад в Болонье — это хорошее место (помните, на площади узким клином башня с надписью из Данте: «Антей возвышался из рва, наклонясь, как болонская башня»), но оказалось, что доклад — перед итальянистами, а они хотят тему «Сравнительное развитие итальянского и русского стиха в XX веке» — а что я знаю про итальянский стих XX века? Завтра буду сочинять. В самой Пизе в шесть лекций оказалось нужно уместить целых два курса, большой и маленький; то есть, не обязательно, а только желательно, но, конечно, я и это постарался. Я надеялся отдохнуть здесь за механической работой и утомиться за чтением большой английской рукописи о Фете[3] — оказалось, этого мало, болонская гостеприимица[4] дала на посмотр еще свою большую итальянскую рукопись о Востокове, а Гардзонио показал мне две свои статьи, писанные по-русски. Это — не считая нескольких статей, которые мне дарили или показывали, и о которых нужно было делать комплименты и замечания. Возвращаться буду с тяжелой головой и уже без всякой надежды перевести дух в предстоящие месяцы. Я смотрю на себя с ужасом: неужели я настолько чувствую вину своего существования, что не могу не отрабатывать ее* по каждому, даже не напрашивающемуся случаю?

Русские пушкинисты на римской конференции все были липовые. Один — старо-итальянист[5] из университета, а по образованию лингвист-старофранцузник; другой — журналист на покое[6], а по образованию юрист-международник; третья Ольга Григ. Ревзина, чувствовавшая себя такой же рас-

[*На полях:*] * как первородный грех «в поте лица».

терянной, как и я**. Мне она казалась человеком, болезненно-суровым к людям, но, видно, я уже такой маститый, что разговаривала она почти снизу вверх: «у вас друзья, ученики...» Я сказал привычно: «учеников у меня нет, потому что я не преподаю, а друзей нет, потому что после молодых лет друзья не приобретаются, а только теряются...» — и тут почувствовал, что говорю неправду и гневлю судьбу. Я сказал: «есть одно исключение...» — и, не называя Вас, сказал о нашей с Вами неожиданной старческой дружбе. Мы с Вами не раз говорили — обычно в троллейбусе, — что оба мы по складу характера привычны подставлять плечо и непривычны опираться на чужое; я чувствую, что опираюсь только на Ваше (очень стараюсь, чтобы не всею тяжестью), и мне кажется, что и Вы на мое. <...> Я много лет привык мысленно разговаривать с Вами каждый вечер перед сном; в последние годы это стало реже — наверно, от умножающейся усталости и забот; здесь, в поездке, эти разговоры ко мне вернулись, и это самое лучшее, что у меня было от Италии. Я хотел еще больше написать, как Вы мне нужны и дороги, но, наверное, это не нужно. Пусть вместо этого будет то описание города Пизы, которое я обещал не делать, а все-таки сделал. Целую Ваши руки.

Ваш М.

Кажется, 30 октября,
в выходной день.

1 Строчка «И с мутною водою Яузы Сравню миродержавный Тибр» из стихотворения В.А. Комаровского «Как древле к селам Анатолии» (1913); см.: *Гаспаров М.Л.* Метр и смысл. М., 1999. С. 44.

2 Пушкинская конференция в Риме 21–23 октября 1999 г. По ее материалам в 2001 г. издана книга: Puškin, la sua epoca e l'Italia: atti del convegno internazionale di studi, Roma, 21–23 ottobre 1999 / A cura di

[*На полях:*] ** Четвертая — Р. Горохова из Ленинграда по русско-итальянским лит. связям: делала доклад о «напеве торкватовых октав» и включала пленку, где ее знакомый певец воспроизводил этот с трудом найденный напев на венец. диалекте.

Paola Buoncristiano. Soveria Mannelli, 2001.
3 Имеется в виду рукопись книги: *Klenin E.* The Poetics of Afanasy Fet. Köln, 2002.
4 Г. Импости.
5 А.П. Лободанов.
6 Н. Пригожин.

П37
[Октябрь 2001 года, Анн Арбор, от руки]

10.X.01 — 15.X.01

Дорогая Ирина Юрьевна, а нашим с Вами перечтениям и пересказам стихов Пастернака не миновать продолжения. У Ронена есть ученица по фамилии Поллак, я читал ее трудноватую книжку о Мандельштаме[1], но знаком не был. На Принстонской конференции по Мандельштаму[2] она подошла — маленькая, черненькая — и попросила помочь — как понять два места у Пастернака. Одно из «Памяти Демона» — «Но сверканье рвалось в волосах, и, как фосфор, трещали»: почему в волосах? Я ответил: это скрещение двух образов: во-первых, нимб, а во-вторых, искры, которые бывают, когда гладишь кошек, и которые недавно были опоэтизированы в трагедии «Влад. Маяковский», а Маяковский для БП в это время много значил. Второе: о чем говорится в стих. «Елене» («Я и непечатным...»)? Это стихотворение я и сам очень любил, но очень плохо понимал, даже с подсказками О'Коннор[3], а тут пришлось его интерпретировать импровизированно, да еще без текста перед глазами. Я сказал: «Здесь, уже после разрыва, в поэте борются обида и злость с сохраняющейся нежностью. Он начинает: я готов со злости ругаться непечатными словами, но это, во-первых, бесполезно, а во-вторых, унизительно для мужского достоинства: фаллическому ару-

[*На полях:*] «Почему „милый мертвый фартук“?» — Одна из самых хрестоматийных статуй — раненая амазонка Поликлета[4], а на ней что-то вроде юбочки, похожее на фартук. — «Маргарита как Амазонка в бору!».

му (у него початок, правда, совершенно непристойного вида) — просить милости у женственной влаги болота. (Вы представляете, сколько раз я при этом объяснении извинялся и заверял, что такие эротические интерпретации очень не в моем вкусе, но других я здесь найти не могу). А он «думал, чаял», что их любовь будет идеальной и не запятнанной грязью его физического влечения: 1) на духовном уровне — чиста, как праведная лилия, 2) на земном — как идиллические игры пастухов и пастушек, гоняющихся друг за другом по лугу, 3) на интеллектуальном — как Фауст и Гамлет в их занятиях философией и английским. [Поллак добавила: «ромашки» на лугу напоминают маргаритки, а это — и Маргарита из Фауста, и margarita = жемчуг («ожерелье на плече Офелиином»)] Успокоив себя этим воспоминанием о своей мечте, он, наконец, дает волю своей нежности: ночь на хуторе, она спит, он смотрит на спящую, пытается управиться со своим горем и (как Демон) роняет на щеку сонной слезу, то ли ласковую, то ли жгучую». П. сказала ненаучным голосом: «я очень люблю эти строфы про хутор», я ответил: «это самые нежные стихи в русской поэзии, какие я знаю». Дорогая Ирина Юрьевна, если у Вас будут несогласия или дополнения — запишите их для меня (не прошу даже: напишите их мне). Они мне будут очень нужны. Мне с детской глупостью хочется, чтобы мы успели написать две-три порции «сверок понимания» стихов из «Сестры моей — жизни», и тогда я постараюсь их издать под нашими именами в желтой серии брошюр ИВГИ-РГГУ[5] — просто для того, чтобы мое имя где-то стояло рядом с Вашим. (Когда мне было 35 лет, «середина странствия земного», мне по разным причинам было очень нехорошо, и я сказал себе: вот я издам три книги — Маршака в «Б-ке поэта», чтобы значиться на нем рядом с В.В. Смирновой, матерью моего утонувшего товарища[6]; Диогена Лаэртского, чтобы он вышел под редакцией Т.В. Васильевой[7], которую я издали любил и которая теперь тяжело умирает; и Историю русского стиха, это уж для самого себя[8], — а больше ничего в жизни не буду планировать, дальше пусть будет довесок, сочинение графа Амори. Наполовину

так оно и вышло. Граф Амори — это псевдоним бульварного литератора[9]: когда (кажется) Куприн напечатал первую часть «Ямы» и медлил со второй, то он быстро сочинил собственное продолжение «Ямы» и напечатал его раньше Куприна; а потом, в революцию, он почему-то занялся политикой, провозгласил в городе Ростове анархистское правительство и через неделю был расстрелян — кажется, белыми. Закрываю скобку). Мне очень хотелось бы, Ирина Юрьевна, помочь Вам в Вашей трудной жизни, но я не знаю, как — ничего не могу, кроме вот такого соавторства в память нашей с Вами старческой дружбы. Как она важна и дорога для меня, Вы знаете. <...> а Вы за меня, пожалуйста, не бойтесь — я даже тяжелый чемодан таскал по аэропортским лестницам, как молоденький, и ничего. А сейчас живу взаперти в четырех стенах — наверное, это последний трехмесячный случай в моей жизни — и только жалею, что не могу поделиться этим счастьем с Вами. Простите меня за такое бессодержательное письмо. Вы еще не знаете, от чего Вас спасла современная компьютерная техника! Несколько месяцев назад мне было очень нехорошо, мы долго не виделись, и я собрался Вам написать нехорошее ноющее письмо. Но я заглянул в компьютер — а он сохраняет копии старых текстов — и я обнаружил, что уже однажды написал Вам такое же скверное и ноющее письмо, какое собирался. И удержался: у Вас достаточно своих печалей, чтобы валить на Вас еще чужие. Хочется надеяться, что это письмо все-таки не такое ноющее. А описывать, что здесь вокруг меня и на что все-таки похожа Америка, я попробую в следующем письме. Целую Ваши руки.

Любящий Вас М.Г.

1 *Pollak N.* Mandelshtam the Reader. Baltimore, 1995.

2 Конференция, приуроченная к 25-летию передачи архива Мандельштама Отделу рукописей и редких книг Принстонского университета, прошла 6–7 октября 2001 г.

3 *O'Connor K.T.* Boris Pasternak's „My Sister — Life": The Illusion of Narrative. Ann Arbor, 1988.

4 «Раненая амазонка» — тип древнегреческих статуй, изображающих раненых воительниц. Бронзовая статуя работы скульптора Поликлета Старшего, когда-то стоявшая в храме Артемиды Эфесской, не сохранилась; мы можем судить о ней по некоторым римским мраморным копиям.

5 Книга издана посмертно в «желтой» (привычно называемой так из-за желтой обложки) серии ИВГИ РГГУ: *Гаспаров М.Л., Подгаецкая И.Ю.* «Сестра моя — жизнь» Бориса Пастернака: Сверка понимания. М.: РГГУ, 2008 (Чтения по истории и теории культуры. Вып. 55).

6 *Маршак С.* Стихотворения и поэмы / Сост. В.В. Смирнова, М.Л. Гаспаров. Л., 1973 (Библиотека поэта. Большая серия).

7 Этот замысел не был осуществлен — книга вышла под другой редакцией: *Диоген Лаэртский.* О жизни, учениях и изречениях знаменитых философов / Общ. ред. и вступит. статья А.Ф. Лосева; пер. М.Л. Гаспарова. М., 1979. О работе над этим изданием см. письмо Б1, примеч. 4.

8 *Гаспаров М.Л.* Очерк истории русского стиха: метрика, ритмика, рифма, строфика. М., 1984.

9 Настоящее имя — Ипполит Павлович Рапгоф .

П38
[21–28 октября 2001 года, Анн Арбор, от руки]

Дорогая Ирина Юрьевна,

от Ронена я неожиданно услышал: «у меня два желания: сделать комментарий к Мандельштаму и написать книжку о книжных заглавиях». Давайте радоваться, что он ее никогда не напишет — а то нам с Вами стало бы стыдно за недостаточность наших знаний и способностей. (Вообще-то начинать нужно было бы с массовой продукции. В советское время в «Книжной летописи» регистрировались все выходящие книги стихов — «Светлый путь», «Счастливый путь», «Радостный путь»... — и это выглядело так, что уже тогда об этом писались фельтоны, у меня где-то есть вырезка. Или рассортировать по десятилетиям заглавия Тарасенковской библиографии стихотв. книг 1900–1955[1]. А если уж брать Ваших французов, то сперва по

любому биобиблиографич. справочнику выписать заглавия всех книг всех символистов — хорошо бы еще увидеть их оглавления, ведь стиль был тот же! У Вас записано, конечно, что «Кипарисовый ларец», в котором Анненский — вероятно, вправду — хранил рукописи итд., скопирован с «Сандалового ларца» не то Кро, не то Роллина[2]. Так же копировали их, вероятно, и немцы; а у англичан своего символизма не было. До Анн Арбора я был на мандельштамовской конференции в Принстоне, там одна из аспиранток, выступавшая с посредственным докладом, подошла советоваться: у нее диссертация по компаративистике, сравнение русских литературных мемуаров 1920 — нач. 30-х гг. с французскими Сартра или Камю?... тут я похолодел, другие имена забыл и стал убеждать ее, что лучше взять, по любой библиографии, мемуары франц. символистов; все-таки более сравнимые времена. Она благодарила, а я думал, не подвел ли я ее: я-то из этих мемуаров знаю только клочки, которые цитировал Брюсов, кажется из Ретте[3]. Впрочем, здесь я обнаружил, что мой Поль Фор[4], пустозвон, доживший до 80 лет, тоже написал мемуары: в библиотеке есть книжечка о нем, даже с портретами, от круглолицых и усатых из тех лет, когда он был принцем поэтов и переводился Бальмонтом, до старческих, с вытянутым, как восклицательный знак в берете, морщинистым бабьим лицом. — Закрываю скобку.) К сожалению, я боюсь, что Ронен с его перфекционизмом и комментария к Мандельштаму не напишет: коллекция подтекстов у него в таком embarras des richesses, что они срослись в необозримую сверхсвязную систему, восхитительно интересную в каждом своем узелке, но расчленению почти не поддающуюся. Он преподает три раза в неделю по два с половиной часа, но по здешним меркам это много, и он устает; я здесь десять дней, лихорадочно высидел свою часть комментариев к трем стихотворениям (примерно по пять страниц на машинке), но он еще даже не сделал критических замечаний. Видимо, главным для меня будет сделать свою часть комментариев-описаний ко всем намеченным нами 30–40 стихотворениям, ловя его устные высказывания, а по части свода

подтекстов положиться на бога и на его здоровье. Это не синекура, голова моя от такой описательской работы сильно устает. Я подсчитал: нужно вырабатывать с машинной точностью по одному стихотворению в два дня: не знаю, получится ли. Между началом и продолжением этого письма я нашел в библиотеке в предпоследнем томе Revue des Etudes Slaves статью про заглавия — посылаю Вам оттиск[5]. Толку от нее мало — эссе; автор — специалист по хлыстовству, Захер-Мазоху и тому подобным темам в русской литературе, он модный, но я его почти не читал. В антрактах между комментарием, библиотекой и слушанием английских лекций Ронена (удивительное сочетание элементарно-общеобразовательного фона и изощренных анализов отдельных отрывочков текста: я спросил: а насколько ваши слушатели подготовлены? — он сказал: одни — настоящие специалисты, а другие пришли просто потому, что даже химики и биологи обязаны выслушать какой-нибудь гуманитарный курс, вот и приходится раздваиваться) — в антрактах, говорю я, читал я старые журналы в библиотеке, в одном мне попалось выражение «намеренно легендарная деятельность Кокто», в другом — наблюдение Г. Адамовича, что зачин тютчевской «Есть в осени...» взят из госпожи Севинье: «Ces beaux jours de cristal du debut de l'automne...» — разве она еще и стихи писала?[6] Там же рядом я прочитал, что формулу L'art pour l'art первым выдал Виктор Кузен, а первым присоединился к ней не кто иной, как Беранже, заявив «искусство есть искусство, и это всё» — правда ли это, Вам виднее. Вы знаете, я переводил Поля Фора[7], он есть в «Зап. и выписках»; здесь я нашел в библиотеке серийную книжечку про него, читать в ней нечего, зато его портреты — за всю 80-летнюю жизнь: от круглолицей и усатой валотоновской маски[8] до поздних, с лицом вытянутым, как восклицательный Знак в берете, морщинистым, бабьим, словно трясущимся, и со светлыми глазами навыкате, как у старого Шервинского. Была такая поэтесса Софья Дубнова, дочь известного историка еврейства[9], ее книжку «Осенняя свирель», 1911, мне всегда хотелось разобрать как центон из блоковских реминисценций;

оказывается, прожила она сто лет, занималась главным образом общественной работой, сперва у нас, потом в Польше, потом в Америке, и оставила воспоминания[10], очень добрые, хотя отца ее убили немцы, мужа[11] наши, а сестра умерла в ленинградскую блокаду[12]. Я выписал оттуда случай, когда они с Чуковским ехали зимой приглашать с докладом к студентам Акима Волынского, и вдруг оказалось, что фамилия извозчика — Онегин: «а что ж такого, наша деревня на Онеге, у нас половина мужиков — Онегины». Но когда оказалось, что его и зовут не по-мужицки Евгений, то Чуковский закричал: «я не могу, чтобы меня вез Евгений Онегин!» и бросился вон из саней, теряя калоши, насилу она его удержала*. Простите, родная, что пишу Вам глупости: это оттого, что голова от комментариев как ватная, а на душе нехорошо, как будто, пользуясь моим драгоценным одиночеством, ко мне на память, как к китайскому императору у Андерсена, сходятся все мои нехорошие поступки[13]. Пожелайте мне, Ирина Юрьевна, вытянуть тот гуж, за который я взялся, а я о Вашем здоровье не устаю бога молить. Держитесь, пожалуйста. Целую Ваши руки.

Любящий Вас М.

21–28.X.01.

1 И.Ю. и М.Л. несколько лет обсуждали и собирали материал к работе о поэтике заглавий, М.Л. здесь предлагает для начального шага использовать библиографию поэтических книг А.К. Тарасенкова: *Тарасенков Ан.* Русские поэты XX века: 1900–1955. Библиография. М., 1955.

2 См. П26, примеч. 1.

3 Речь идет о книге Адольфа Ретте «Le symbolisme: anecdotes et souvenirs» (1903).

4 *Fort P.* Mes mémoires, toute la vie d'un poète, 1872–1943. Paris, [1944].

5 *Эткинд А.* Поэтика заглавий // Revue des Études slaves. 1998. T. LXX. Fasc. 3. P. 559–565. А. Эткинд — автор ряда книг, в том числе «Хлыст: секты, ли-

[*На полях:*] * Т. Скулачева говорила, что один биохимик, коллега ее отца, имел фамилию Заонегин и был счастлив, когда в командировке встретил коллегу по фамилии Заленский.

тература и революция» (М., 1998).

6 Цитата из письма госпожи де Севиньe от 9 октября 1676 г. своей дочери госпоже де Гриньян: «Ce qui m'en fait beaucoup, c'est le temps miraculeux qu'il fait; ce sont de ces beaux jours de cristal de l'automne, qui ne sont plus chauds, qui ne sont point froids» (Lettres de Madame de Sévigné: de sa famille et de ses amis. Paris, 1862. T. 5. P. 99).

7 Ср.: «Поль Фор, проживший долгую жизнь графомана, „король поэтов" 1912 г., привлекал меня светлостью своего пустозвонства, и я переводил его не для эксперимента, а для душевного облегчения: последнее стихотворение в этой подборке („Naviget, hec summa est") помогало мне жить» (Экспериментальные переводы. С. 221).

8 М.Л. описывает выполненный художником Ф. Валлотоном портрет П. Фора во «Второй книге масок» Реми де Гурмона («Le II^{me} livre des masques», 1898).

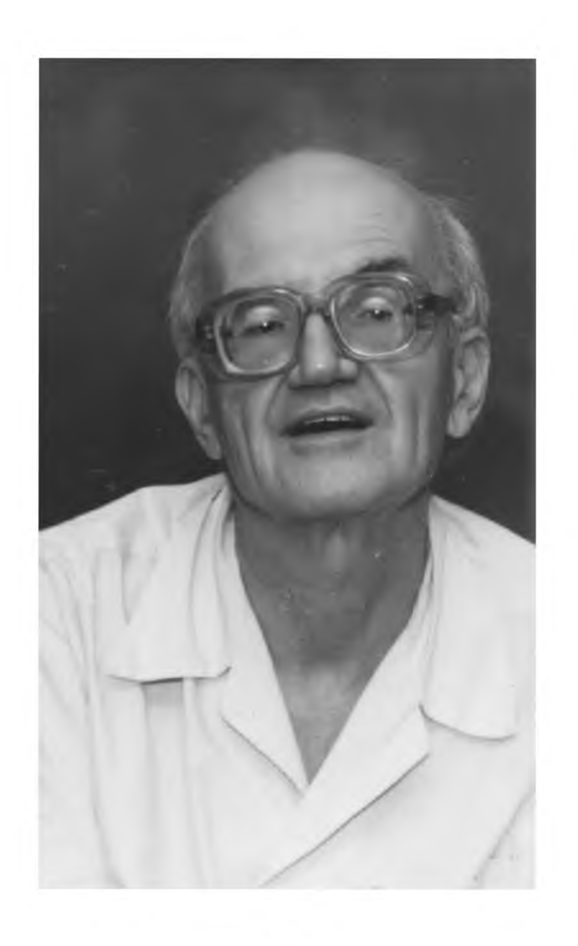
9 Речь идет о С.М. Дубнове. Он покинул Россию в 1922 г., поселился в Германии, а после прихода Гитлера к власти был вынужден эмигрировать в Латвию. Здесь его застала война: здесь же, отказавшись уехать в Америку, или в Швецию, он был убит в декабре 1941 г.

10 *Дубнова-Эрлих С.* Хлеб и маца: Воспоминания, стихи разных лет. СПб., 1994.

11 Генрих Эрлих, видный политический деятель и поэтому числившийся в списках потенциальных жертв гестапо, вместе с семьей покинул Варшаву в начале войны; после 17 сентября они оказались на территориях, контролируемых советскими войсками. Арестованный в октябре 1939 г., летом 1941-го вместе с другим бундовцем Виктором Альтером Г. Эрлих был приговорен к смертной казни (замененной десятилетним сроком).
В сентябре 1941 г. Эрлих и Альтер были освобождены и привлечены к разработке планов создания международной еврейской антифашистской организации, однако в декабре они были арестованы (в Куйбышеве) и приговорены к высшей мере наказания. Приговор не был приведен в исполнение, однако, как стало известно в 1990-х, Эрлих покончил с собой в тюрьме в мае 1942 г., Альтер же был расстрелян в феврале 1943-го.

12 Имеется в виду О.С. Дубнова (Иванова), она умерла в эшелоне, выехавшем из Ленинграда.

13 В сказке Г.Х. Андерсена «Соловей».





«Домашнее» руководство по истории европейской культуры

Карты, нарисованные М.Л. в ходе подготовки Наталии Автономовой к поступлению в университет



«Нельзя обвинить карту мира в упрощенности за то, что на ней не нанесена река Клязьма, — а нашему просвещению сейчас нужнее всего именно карта мира».

См. письмо А9



Наталия Автономова

Париж, 1996



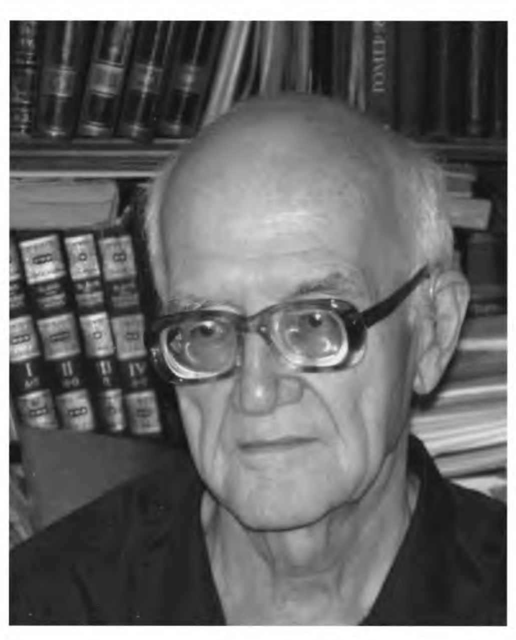
Наталия Автономова с дочерью Ольгой
Кембридж, 2001



С Наталией Автономовой
Москва, ИВГИ РГГУ, 1998



Стэнфорд, 1990



Москва, 1999



Дома



С Омри Роненом



С Ниной Брагинской
в ИВГИ РГГУ. 1996



О. Ронен, О.Е. Майорова с дочерью Аней, Х. Баран, Г.А. Барабтарло, М.Л. Гаспаров, А.Л. Осповат, А.К. Жолковский

Лос-Анджелес, апрель 1995 года





Доклад М.Л. «Русский стих в постсоветской культуре»

Москва, ИВГИ, апрель 1998 года. Заседание ведет С.Д. Серебряный







С.С. Аверинцев, М.Л. Гаспаров, Г.С. Кнабе



С.В. Кадзасов, Л.А. Алябьева, О.Б. Вайнштейн, М.Л. Гаспаров, В.Н. Топоров, А.К. Жолковский

Москва, ИВГИ, июнь 1998 года



С Еленой Шумиловой

Москва. ИВГИ. 1 апреля 2005 года



В Мандельштамовском обществе
РГГУ. 2005

П39
[30 ноября 2001 года, Анн Арбор, от руки]

Дорогая Ирина Юрьевна,

я послал Вам прошлое письмо с отчетом об Америке, а потом подумал, что ничего нового для Вас там нет, что такие же огромные библиотеки, и может быть, тоже с компасами в полу на площадках для ориентировки, есть и в Париже. Отнесем это за счет моей неспособности видеть и описывать. Кажется, я писал и о том, как Аверинцев обиделся за описание Вены: домики, обступившие по колено св. Стефана, вовсе не XIX века, а среди них есть и чуть ли не XVII-го. (Не знаю, есть ли заслуга быть не XIX-го, а XVIII-го века, но для многих почему-то есть). Но, по-моему, не написал, что моя немецкая коллега[1], стажируясь когда-то в Вене, жила, оказывается, в одном из этих домиков и не подумала за них заступаться. Когда я об этом вспомнил, это меня ободрило. А в Анн Арборе я живу в тех же меблированных комнатах, что и два года назад (в десять этажей), а напротив стоят, как я понимаю, другие меблированные комнаты (в двадцать этажей), и как два года назад, так и теперь из окон в окна видно и всю их меблированность, и жильцов с их повадками, так что будь у меня бинокль, я бы мог смотреть их телевизор. Чем не, как писал Архангельский в пародии на Маяковского, наш Елец или Конотоп, только в тыщу раз шире и выше?[2] Улица между этими домами не маленькая, на четыре ряда машин, но едут эти машины четырьмя вереницами медленно-медленно, потому что рядом перекресток, и на нем полагается всех пешеходов пропускать, несмотря ни на какие светофоры. Я по классовому сознанию сам пешеход, но когда я смотрю со своего этажа на ползущие машинные спины, блестящие, как божьи коровки, то проникаюсь к автомобильщикам несвойственным мне сочувствием. И еще я понял, почему мне здесь кажется все похожим на родную обстановку. Мы с Вами привыкли, что когда у соседей играет радио, то, хочешь не хочешь, через стену все слышно. Стены здесь, наверно, совсем другие, но у меня постоянное ощуще-

ние, что за стеной играет радио. А когда иду через двор, то в серых небесах играет радио с такой же степенью приглушенности. Это у меня такие слуховые галлюцинации. Они не новые, еще лет пять или десять назад я, проходя годовую диспансеризацию у психиатра в академич. поликлинике (их при мне сменилось трое, одна глупее другой), то на стандартный вопрос: «никаких голосов не слышите?» уныло ответил: «иногда кажется, что далеко-далеко неразборчиво поют гимн Советского союза, второй куплет» (как я отличал, что это второй, не знаю). Она к такому ответу явно не была подготовлена, поперхнулась и переменила тему. Ну, а теперь это не гимн, а последняя каденция неизвестно чего, которую дальний хор бесконечно и глухо тянет подрагивающими голосами и все не кончает, все не кончает[3]. К сожалению, в отличие от гимна, это уже непрерывно и довольно громко: ночью спать мешает. Вернусь — пожалуюсь Фрейдину, но он разумно скажет, что это еще ничего. Ради художественности можно вообразить, например, что это он жизнь мою допевает. Я так не воображаю, но он и вправду мог распеться от моего настроения. Я здесь два месяца, из них в Анн Арборе семь недель, я за это время написал 6,5 листов комментария к Мандельштаму (правда, кое-что по заготовкам), перевел 3,5 листа стиховедческих статей моего знакомого (правда, очень простых)[4], а для отдыха разметил и рассортировал по 32 вариациям ритма 8000 строк Языкова и Лермонтова [это в поисках ритмико-синтаксических клише; помните, в начале «Онегина» «Пред ним рост-биф окровавленный»? но не помните, наверное, что в «Измаил-Бее» есть строчка про охотника «Пред ним фазан окровавленный»; спрашивается, как к этому должно относиться модное недавно подтекстоведение?] — вроде бы надо радоваться, а я задаюсь вопросом, что же это значит, что здесь или в санатории я могу работать, как машина, а дома — сами знаете, как? Обстановка обстановкой, но нельзя же все на нее валить, за себя отвечать надо или нет? Дальше пересказывать не буду, мы с вами в одном возрасте и в одинаковых неприятностях. (Искал я здесь в библиотеке, нет ли чего о заглавиях, но даже термина тако-

го нет ни в каталогах, ни в библиографиях, а наудачу пока ничего не попалось). Суровый Ронен сказал комплимент нашей с Вами старой статье с разборами стихов Пастернака[5] и добавил, к выпущенным строфам из «Свистков милиционеров»: «Робких (?) берез зачатья» — это не Зачатьевский ли переулок? Я ответил: может быть, это ведь недалеко и от Волхонки и от Лебяжьего, где он жил. Я сюда ехал с уверенностью, что Ронен с его всемирно известным характером скоро и со мною поссорится, и поэтому нужно спешить сделать комментарий, в котором мы хорошо дополняем друг друга, — нет, вроде бы пока не ссорится и даже говорит, что хочет написать о «Записях и выписках» в «Звезду» — он там печатает в нечетных номерах эссе на автобиографическом материале: если попадется, прочтите, они интересные. Послезавтра я ему скажу: если будете писать, то напишите, пожалуйста, две гадости: что выписка из Тихонова на слово «интеллигент» «Я — человек досуга» итд. принадлежит не Тихонову, а Бодлеру и выписка из Марии Шкапской[6] про то, как жмутся в холод друг к другу дикобразы, принадлежит Шопенгауэру. Очень нехорошо жить: в промежутке между началом и концом этого письма я перебирал клочки бумаги, на которых когда-то в аннотации[7] и в архиве записывал стенографическими крючками нравившиеся мне стихи, там есть стихотворение Благининой, очень светлое, которое, однако, кончается: «Чтобы свечке обгорелой слишком долго не чадить»[8]. Вот я и разбираюсь — как и Вы — насколько я обгорел. Не сердитесь, что у меня ничего не получилось повеселее: я это предчувствовал, поэтому и промедлил с этим письмом. Сегодня 30-е ноября, я вернусь ровно через месяц, это письмо придет, авось раньше, а больше писать уже не буду, потому что приехав, все-таки надеюсь Вас увидеть. Иначе будет совсем плохо. Целую Ваши руки, родная, и — помните, я объяснял, что мы с Вами друг другу не то чтоб опорные столбы — и стоим далеко, и опираться совестно, — но оглянешься друг на друга, и легче становится. Цават танэм. Очень Ваш М.

1 М.-Л. Ботт.

2 Аллюзия на начало стихотворения А.Г. Архангельского: «Пропер океаном. / Приехал. / Стоп! // Открыл Америку / в Нью-Йорке / на крыше. // Сверху смотрю - / это ж наш Конотоп! / Только в тысячу раз / шире и выше...»

3 Ср. письмо Б36.

4 Джеймс Бейли.

5 *Гаспаров М.Л., Подгаецкая И.Ю.* Четыре стихотворения из «Сестры моей — жизни»: сверка понимания // Poetry and Revolution: Boris Pasternak's "My Sister — Life" / Ed. by L. Fleishman. Stanford, 1999. P. 150–166 (Stanford Slavic Studies. Vol. 21).

6 См.: Записи и выписки. С. 366, 401. В проникновенной статье О. Ронена о М.Л. и его книге этих «гадостей» нет. См.: *Ронен О.* Прописи // Звезда. 2002. № 7. Перепечатано: *Ронен О.* Из города Энн. СПб., 2006. С. 173.

7 Скорее всего, речь идет об отделе каталогизации Ленинской библиотеки.

8 Стихотворение «Молитва»: «Перелесочек-лесочек, / Перепёлочка-птенец... / Дай мне частьица кусочек / Напоследок, под конец! // Дай мне вздохом-передыхом / Облегчить бездождный день! / ...Я не лыком шита — лихом, / Хоть в иголочку продень! // Дай мне хлебушка-солицы, / Дай водицы — не винца! / Сделай так, чтоб пели птицы, / Чтоб шумели деревца. // Чтоб на свете ошалелом / Перестали зло родить... / Чтобы свечкам обгорелым / Слишком долго не чадить».

ИЗ ПИСЕМ К НАТАЛИИ СЕРГЕЕВНЕ АВТОНОМОВОЙ
1983–2001

Вопрос о том, как публиковать наследие, в частности эпистолярное, не имеет однозначного решения. Некоторые считают, что нужно публиковать все как есть. Мы с М.Л. Гаспаровым очень доверяли друг другу, а потому в наших письмах не было запретных тем. Мне кажется более правильным в данном случае публиковать лишь то, что представляет научный или общечеловеческий интерес, опуская то, что связано с личными жизненными обстоятельствами. Бóльшая часть публикуемых здесь писем (это около двух третей того, что у меня сохранилось) относится к 1990-м годам, когда мы оба часто бывали, словами самого М.Л., на «отхожих промыслах»: я в течение ряда лет подолгу работала во Франции, а он неоднократно выезжал в США.

Привычка и навыки общения с М.Л. формировались во мне в течение долгого времени. Михаил Леонович Гаспаров — мой троюродный дядя (его мама, Елена Александровна Будилова, и моя бабушка по отцу, Елена Петровна Автономова, в девичестве — Гусева, были двоюродные сестры). Я была знакома с М.Л. с детства. Однако наши регулярные встречи начались (и с тех пор уже никогда не прекращались), когда мне было 17 лет. Я училась тогда в музыкальном училище при Московской консерватории, но решила поступать на филологический факультет МГУ. С этого времени и начались наши встречи, которые поначалу были его «руководством моим чтением», а потом переросли в научную и человеческую дружбу на всю жизнь.

Когда я училась на романо-германском факультете филфака, М.Л., тогда молодой исследователь, с трудом (с минимальным перевесом голосов) защитивший «формалистическую» кандидатскую диссертацию на кафедре античной филологии, был неофициальным руководителем всех моих курсовых и диплома. По мотивам нашей работы над сонетами Шекспира и переводами Маршака была написана совместная статья, вышедшая в журнале «Вопросы литературы» в 1969 году, незадолго до защиты моего диплома[1]. В статье утверждалось (и доказывалось на сравнительно-статистическом материале), что яркий барочный Шекспир имел мало общего с умиротворенно-романтическим автором русского перевода сонетов, вышедшего в эпоху «советского классицизма»... Защита получилась скандальной, потому что мои преподаватели по кафедре английского языка (за единственным исключением И.В. Гюббенет) не простили мне критического отношения к маршаковским переводам Шекспира, тогда считавшимся классическими. Я надеялась под (фактическим) руководством М.Л. продолжить работу над английским сонетом, а затем, шире — над европейским сонетом эпохи Возрождения, однако от надежд на аспирантуру на филфаке пришлось отказаться. Публикация статьи имела свои следствия и для М.Л.: он был отстранен от руководства изданием собрания сочинений Маршака, к которому должен был приступить[2].

История с изучением переводов стала для меня, таким образом, толчком к смене профессии. Посредником в этом процессе выступила Т.В. Васильева, которая работала тогда в Институте философии. В тот же год я поступила в аспиран-

1 *Автономова Н.С., Гаспаров М.Л.* Сонеты Шекспира — переводы Маршака // Вопросы литературы. 1969. № 2. С. 100–112. С тех пор М.Л. неоднократно перепечатывал эту статью, в том числе в «Избранных трудах» (Т. II. С. 105–120).

2 После этой публикации (я помню, как «Литературная газета» публиковала протестные письма) статья М.Л. о том, как маршаковские переводы вписываются в общую эволюцию его творчества, ждала публикации 25 лет (см. об этом: Избранные труды. Т. II. С. 120).

туру Института философии, где занялась философской проблематикой гуманитарного познания на материале французского структурализма, а потом осталась работать в том же Институте. Мой уход из филологии не прервал нашего регулярного общения. М.Л. продолжал интересоваться моими делами, хотя к новым предметам моих исследований — Фуко, Лакану, Деррида — относился критически (об этом подробнее — в Заключении). Некоторые их тексты он знал довольно хорошо — уже хотя бы потому, что иногда читал или просматривал их по моей просьбе. Так было, например, с томами 2 и 3 «Истории сексуальности» Фуко, которые я попросила его посмотреть на предмет аутентичности изображения в них некоторых античных сюжетов.

М.Л. был для меня бесценным наставником в работе над переводами, к которой я вскоре обратилась. Первым таким переводом были для меня «Слова и вещи» Фуко (1977), книга, публикация которой без купюр (хотя и с редакторскими сносками в местах антимарксистских пассажей) была и остается ярким исключением в советской интеллектуальной истории. В 1990-е годы, когда распахнулась дверь в современную западную мысль, главными для меня стали переводы таких сложных в терминологическом отношении книг, как «Словарь по психоанализу» Лапланша и Понталиса и «О грамматологии» Деррида. Дело в том, что психоаналитическая и феноменологическая традиции в России, когда-то блестяще начинавшие, оказались застопорены почти на шестьдесят лет советского периода, а потому открытость к этих течениям западной мысли в 1990-е годы породила большие сложности в работе на стыке языков, культур, интеллектуальных традиций — немецкой, французской и русской.

Новый момент нашего сотрудничества с М.Л. начался уже в Институте высших гуманитарных исследований (с 2006 года — им. Е.М. Мелетинского) при РГГУ, где М.Л. работал по совместительству с момента основания Института (1992); я пришла в Институт пятью годами позже. «Философия и филология» все четче вырисовывалась как наша

общая исследовательская тема. По этой теме мы провели совместный семинар для студентов и аспирантов и хотели его повторить. Мы планировали сделать для «желтой серии»[3] ИВГИ экспериментальную книжку о философии и филологии, которая бы включала наши критические разборы статей друг друга, фрагменты наших разговоров, а также имеющие отношение к делу отрывки из писем. Однако мои долгие преподавательские отлучки во Францию и тяжелая болезнь М.Л. не позволили этим планам осуществиться.

За время работы в ИВГИ мы сделали общий доклад на международном конгрессе «100 лет Роману Якобсону» (Москва, РГГУ, 1996), общий доклад на тему «Лотман о культурной памяти и культурная память о Лотмане» на Седьмых Лотмановских чтениях (1999), доклады для конференции РГГУ «Новые концепции образования» (Голицыно, 2000). М.Л. тогда не смог поехать на конференцию и попросил меня прочитать его доклад «Опыт античности для педагогики будущего», направленный против упрощенных использований того, в чем виделись античные идеалы, в современной педагогике; этот доклад вызвал немало разноречивых откликов. М.Л. поддержал мой энтузиазм по поводу издания сборника ответов на анкету для сотрудников ИВГИ и сам придумал его название — «Свой путь в науке» (М.: РГГУ, 2004; Чтения по истории и теории культуры. Вып. 44).

Привычка общения была очень важна для нас обоих. Когда мы не могли общаться лично, мы писали друг другу письма. Их научный лейтмотив — философско-филологический: проблема понимания, выработки (или утраты) языка общения, необходимость его беречь и развивать. Когда у меня во Франции начались курсы и спецкурсы, связанные с тематикой российской науки — в частности истории философии и психологии, а также с некоторыми разделами русской литературы в сопряжении с психологическими исследованиями (об этом подробнее в Заключении), он всегда радовался, когда мог мне что-то посоветовать, сообщить об интересных

3 Серия «Чтения по истории и теории культуры».

книжках, поделиться своими соображениями по некоторым темам моих курсов, особенно — когда мои темы приближались к филологическим.

Главная черта этих писем — исключительно серьезное отношение М.Л. к науке, как он ее понимал, и к ее ключевым вопросам (мы знаем, что это великий разносторонний ученый, однако обычно он пишет не о науке как таковой и своем к ней отношении, но о каких-то конкретных предметах). Он живет наукой, и в этом одновременно и трагедия и величие его жизни: наука — сверхценность, которая требует жертвовать слишком многим из того, что к ней не относится. Другая важная черта этих писем — явленный в них редкий масштаб человеческого внимания и ответственности, готовности ответить на проблемы другого человека.

М.Л. был мне не только наставником, но и воспитателем. Точнее, он пытался помогать мне в анализе моих душевных проблем не столь уж распространенным сейчас способом — путем проговаривания («выговаривания»), а затем разбора мотивов и способов поведения в разных ситуациях. Это была своего рода практическая этика. Впечатления от внешнего мира шли у М.Л. прежде всего через слово, а потому слово у него несло повышенную, гиперболическую нагрузку. Он задавал такую планку ответственности за сказанное слово, какой я никогда и ни у кого больше не видела. Мне кажется, что эта установка на внятно сказанное слово, которая может показаться архаической, становится для нас сейчас как никогда более актуальной. Конечно, его письма несут на себе отпечаток времени и места, но они выходят за рамки обстоятельств и сохраняют, как мне кажется, значение исторического свидетельства и одновременно вызова нашей сегодняшней эпохе. Сейчас, когда я перечитываю его письма, я слышу его интонацию и ощущаю его поддержку. Быть может, теперь эти письма будут ободрять и других людей.

Наталия Автономова

А1
[1983 (?), Москва, от руки]

Дорогая племянница,

у тебя есть неожиданные читатели: недавно меня спрашивал, точно ли ты моя родственница, один молодой (сравнительно) индолог-бенгалист из нашего института, потому что читал твою книгу и твоего Фуко[1] и был доволен всем, кроме стиля. Он хороший ученый и, насколько я знаю, хороший человек, потому я и принял его к сведению; фамилия его Серебряный. Как у известного князя. После этого мне еще пришлось на днях разговаривать про Фуко с одним западным немцем (на банкете после лит-теоретической конференции с ними, где мне пришлось, как снег на голову, делать доклад) — но это уже было из области юмористики, на таком ломаном английском изъяснялись мы оба о парадоксе человека и прочих непонятных вещах. Так что бодрись и мужествуй. У меня все работы в этом году еще гиблее, чем у тебя, так что я не свысока говорю. Сын в больнице (хоть в общем ему лучше), а сам я сейчас еду оппонировать в Ленинград, а 17–29.IV — с лекциями во Фрунзе. Напиши мне что-нибудь: я о тебе соскучился (Г-69, Воровского, 25а, ИМЛИ, сектор ант. лит-ры, МЛГ). Что у вас с Н. Трубниковым?[2] Когда он слег в январе, Таня Васильева запретила мне звонить ей, и я с тех пор послушно ничего не знаю.

Целую тебя и сочувствую в бедствиях.

Твой любящий дядя.

1 Имеется в виду книга: *Автономова Н.С.* Философские проблемы структурного анализа в гуманитарных науках. (Критический очерк концепций французского структурализма). М.: Наука, 1977; и предисловие к переводу «Слов и вещей» М. Фуко (М., 1977).

2 Главные вопросы, обсуждавшиеся Н.Н. Трубниковым, — о смысле человеческой жизни, о жизни и смерти; работал в разных жанрах — от философских трактатов до художественных произведений.

А2
[20 декабря 1986 года, Малеевка, от руки]

Племянница,

всего тебе мыслимо хорошего в Новом Году; последние о тебе вести были накануне поездки во Францию, я надеюсь, что она началась и кончилась благополучно и что с этим тебя тоже можно поздравлять. Пишу тебе из нестандартного места, дома творчества в Малеевке: одиночная комната на запоре, 13 часов работы в день, хорошая прочистка головы, убавил лекарств, приятно почувствовал себя машиной, которая еще может работать в режиме, если не давать ей времени думать и чувствовать. К сожалению, вся работа — чужая: редактирую, дописываю, перевожу, что и для себя все равно кажется чужим. Это у меня отгульный отпуск, не истраченный за несколько лет; перед Новым Годом вернусь в Москву, и опять все закрутится по урывкам. Пожелаем взаимно управляться со своими урывками: план будущего года у меня очень тяжелый — наверное, как и у тебя. Попробую частично жить в снятой комнате, но это, видимо, плохо мне помогает <...>.

Целую тебя и желаю, чего всегда.

Твой М.

20.12.86.

Стихи сына:

1-я строфа писана лет в 12, остальные сейчас.

Ходят мухи по стене,
Шестиногие вполне,
Разнося заразу.
Отчего так тошно мне,
        Отчего все сразу?
Закрутился я с людьми,
С первого же разу:
Их ведь хлебом не корми,
Лишь участие прими,
        И во многих сразу.
Не поесть и не поспать,
И не кончить фразу:
Видно, надо привыкать —
Лишь в могиле тишь да гладь,
        У людей — все сразу.

А3
[10 апреля 1987 года, Москва, от руки]

Племянница,

если за «Слова и вещи» Фуко надо было расстрелять, то за эти книги[1] — всего лишь поставить в угол. Я прочитал полпервого тома, там излагаются вещи, знакомые каждому гимназисту, членятся на неоригинальные детали и переименовываются в полумодные термины. Общий смысл: греки считали еду, вино и секс (стандартный ряд) явлением природы, как таковое — уважали, но в потреблении его требовали (как во всем) умеренности, с такими-то вариациями. Дальше предвидится всё то же. Англичанин изложил бы все 4 тома на 20 журнальных страницах. Сейчас (10.4., 10^{30}) звонил тебе, не застал, в 19 ч. еду в Череповец, хорошего не жду[2]. Пью в среднем трижды в день валокордин (вместо бесполезного реланиума) и феназепам: магнитные бури! Плановой рабо-

ты так и не написал. В понедельник 27-го утром попробуй позвонить! Книжка Гинзбург[3], которую я тебе, кажется, дал, соблазняет самому писать рваные воспоминания, два эпиграфа я уже знаю, фольклорный и литературный: 1) Шульц сладко выпрямился в кресле, посмотрел на часы и сказал: Es ist ganz die Zeit job tvoju mat' zu sagen; 2) «Что вы за человек? — спросил я его. — Что за вопрос? — ответил он и начал врать» (Воспоминания гр. Вл. Соллогуба о Дантесе). А вне эпиграфа — стих греческим размером:

«Мне сходить, я проехал остановку».

Психологические подробности — многие светлые — при разговоре. А при встрече, может быть, один тяжеловатый разговор <...>.

Привяжи себя к столу и работай больше, чем я (это легко). Качество само придет.

Крепко целую, и до после Череповца.

Твой любящий дядя.

10.4.87.

1 Речь идет о двух томах «Истории сексуальности» Мишеля Фуко, которые я попросила М.Л. прочитать на предмет выверки античных сюжетов. Это том 2 «Пользование наслаждениями» (так М.Л. переводил название этого тома; в русском переводе закрепилось позднее более «утилитарное» «Использование наслаждений») и том 3 «Забота о себе». Что же касается «Слов и вещей», то это был мой первый большой перевод с французского, в редактировании которого М.Л. принимал самое деятельное участие.

2 Конференция в Череповце, посвященная 100-летию И. Северянина (см. письмо Б13 от 17 апреля 1987 г.). Несмотря на пессимизм М.Л., посвященная Игорю Северянину череповецкая конференция стала важной вехой в процессе «возвращения» этого поэта в поле зрения отечественной филологии. Механизм подготовки этого мероприятия раскрыт в «Записях и выписках» (с. 281), в статье «Психология»: «В. Сапогов обослал всех письмами: „будет конференция по Северянину, шлите тезисы“ — все отказались, „никогда не занимались“. Обослал вторично:

„будет конференция, ваша тема такая-то, шлите тезисы“ — все прислали. Легче признаться „я ничего не знаю о Северянине“, чем усомниться, что „я лучше всех знаю тему 'Северянин и (скажем) Пастернак'“».

3 Речь идет либо о книге Л.Я. Гинзбург «Литература в поисках реальности: Статьи, эссе заметки», вышедшей в первой половине 1987 г., либо о ее более раннем сборнике «О старом и новом: Статьи и очерки» (1982).

А4
[8 августа 1988 года, Москва, от руки]

8.8.88(!) Дорогая племянница, уточняю: с визитами здесь строже, чем обычно, официальные сроки для них — среда с 14 до 17 и суббота с 10 до 13: в это время люди сидят в «комнате для свиданий» и разговаривают во всех ее углах. В остальные дни, видимо, нужно приходить, звонить и говорить: «вызовите на прогулку Гаспарова». Гаспаров натягивает брюки и туфли, выходит, и за ним защелкивается дверь. Срок этих прогулок — с 16 до 18 ежедневно, но я, как ты понимаешь, по собственной инициативе на них не ходок. Все это «видимо», потому что одежду для прогулок я получил десять минут назад. Меня тут сильно встряхнули, после чего обнаружилось, что больше всего на свете мне хочется (и давно уже) умереть. Я обещал под честное слово, что здесь, в больнице, не буду предпринимать мер для этого (оно и бессмысленно), что до нового года буду отвлекаться доделываемыми делами, а там постараюсь приискать какие-нибудь зацепки за жизнь. В чем надеюсь на твою теоретическую помощь. Ради бога, своего образа жизни не ломай и в больницу ко мне не рвись — успеем поговорить и после. Я и так тебе за очень многое благодарен.

Пусть тебе будет полегче.

Д.

A5
[Без даты, записка, машинопись]

Был у меня сюжет: дон-Жуанов, как известно, было два (один Тенорио, другой Да-Маранья, уточняет Мериме), и вот, я полагаю, один сам гонялся за женщинами, и о нем писали Моцарт и все классики, а другой, наоборот, бегал от женщин, и о нем писал, кажется, Дюрренматт (надо перечитать). И вот они встречаются в кабаке и за стаканами амонтильядо грустно делятся жизненным опытом, пока не врываются с двух сторон две толпы женщин, их преследующих по противоположным мотивам, и не происходит бурная сцена из аристофановской хоровой комедии. Причем, конечно, оба дон-Жуана похожи друг на друга как две капли воды, и их все время путают[1]. К сожалению, ничего этого я не напишу, и сын не напишет: по крайней мере, я до этого не доживу. Вот и у меня героем неожиданно оказывается дон-Жуан, только вместо героинь я сам себе и простак и мститель.

1 Ср.: Записи и выписки. С. 124 («Дон-Жуан»).

A6
[2 марта 1991 года, Москва, от руки]

2.3.91. Племянница, родная, спасибо за письмо, я очень его ждал. Хорошо, что ты так себя чувствуешь, как пишешь: если я правильно понимаю, это значит — несмотря на то, что нагрузок много, все-таки число их конечно. <...> Ты сама обмолвилась в письме, что кусок жизни кончился. У меня тоже; у меня последний, у тебя предпоследний (или пред-пред-). Чем больше изменить, тем лучше. Я, по-видимому, безнадежен: в науке я ничего нового не сделаю, повторять старые упражнения могу с приятностью, но без пользы, молодые и более способные ученые уже достигли средних лет и сделают всё то же лучше меня, а добрые люди, которые хорошо

ко мне относятся, простят. <...> Только ты за меня не огорчайся и не трать силы на утешение — это я начал писать, и вдруг оказалось, что только тебе могу сказать то, чего никому не говорю. Обо всех невозможностях, которые я должен делать, писать неохота; о том, что происходит вокруг, начиная с вильнюсского погрома[1], ты сама читаешь, слышишь и приблизительно воображаешь; а разные мрачные анекдоты — при встрече. В остальном — ничего, живем, улыбаемся, терять нечего. Я очень рад, что Оля не огорчает тебя — дай бог, чтобы продлилось. <...> Если сможешь — пиши мне. Обнимаю тебя и целую. Твой помощный-беспомощный зверь.

1 Речь идет о штурме 13 января 1991 г. телецентра в Вильнюсе советскими военными подразделениями и спецподразделениями. 20 января схожие события произошли в Риге.

А7
[5 апреля 1991 года, Малеевка, от руки]

5.4.91

Дорогая племянница, ты из Москвы скрываешься в Париже, а я в рабочем доме в Малеевке. Сижу здесь шестой день. Ехал со страхом, потому что бывал я здесь два раза, и один раз глушил себя работой очень удачно, а другой раз было так скверно, хоть в петлю. Но пока вроде бы больше похоже на первый раз, я уже написал больше скучных, но необходимых комментариев, чем дома написал бы за месяц. Конечно, все время помню, что по-честному мне пора бы помирать; но твердо напоминаю себе, что по нынешнему всероссийскому кризису я один моим домашним кормилец и поилец, так что пока нельзя. Конечно, грустно без разговоров с тобой и писем, но я понимаю, что у тебя с одной стороны — дочь, с другой — лекции, с третьей — хлопоты, а с четвертой — собственная работа, так что буду ждать твоего приезда. Что здесь тогда к июню будет, и гадать нельзя. Газет я здесь не читаю, от этого тоже на душе легче, так что не знаю:

вот три дня назад повысили цены, и появилось ли что-нибудь в магазинах? Полагаю, что нет. Позвонил я сегодня по сломанному автомату домой, спрашиваю: «ничего страшного не было?» — «Нет, говорит жена, — только тебе звонили из Верховного совета СССР, сказали: хотели посоветоваться; Алена сказала: „Докатились!"». Я просил Алену о срочной психучебной программе для тебя, но по ее интонации понял, что вряд ли она чего достанет; прости. С сильной тоской думаю о том, что в июне надо будет ехать в Марбург на Пастернака[1], а в июле, чего доброго, в Лондон на Мандельштама[2]. Очень завидую, что ты на разных языках говоришь, и думаю, почему я — нет? Бездарность, склад характера или обстоятельства? — наверное, склад характера. Завтра попробую здесь начать письменный самоотчет — вроде выяснения, из каких источников и по какому подбору получилась та человеческая компиляция, которую я собой представляю? Может быть, от этого станет легче, а может быть, наоборот; но во мне эта задача уже год как скребет так сильно, что мешает существовать и работать. Если получится, будет тебе запоздалый материал по ментальности маргинального советского ученого, к которой ты вряд ли когда будешь возвращаться. Очень стыдно существовать: всю жизнь чувствовал себя временно исполняющим обязанности ученого и человека, теперь, наконец, и ученые пришли настоящие, и люди новые («Вы не думайте, пока наше поколение не вымрет, ничего хорошего в науке не будет!» — сказала Тане Миллер одна знакомая, когда нашим директором сделали Сучкова[3]), а ко мне относятся с огорчительной вежливостью, как будто еще на что-то надеются. А всем другим еще хуже, прислониться не к кому, соприкоснешься в разговоре — и сам держишься как опора, а не опирающийся; и с тобой, когда разговариваем, тоже ведь так. Живи и набирайся, ради бога, сил, здесь они очень скоро израсходуются. Где это было сказано: «душа все время учит человека, но не повторяет ни одного урока»? Обнимаю тебя и целую, и желаю укрепления сил телесных и душевных.

Любящий тебя М.

Ты не бойся, приедешь — плакаться не буду, а буду ободрять. См. оборот:

Прежде, чем отправлять свое письмо, я перечитал твое от 5.2. Знаешь, к теме «Слово в культуре» я сам хорошая иллюстрация, всё в меня входило через слово. Природу не воспринимаю, потому что она не дискурсивна. Не помню, говорил ли я тебе, на каком странном предмете я понял, что такое дискурс — это мне долго не давалось, и даже Фуко я редактировал, плохо понимая это слово. <...> А о свободе, которую ты умеешь чувствовать, ты мне расскажи связно еще раз, или, если будет время — напиши. Ты рассказывала, и даже несколько раз, но у меня это плохо усваивалось и надолго не задерживалось. А когда я сам об этом задумываюсь, то ни к какой свободе не прихожу, только к необходимости. Неприятная свобода — это осознанная необходимость, а приятная — неосознанная необходимость. Или наоборот? Если бы мне удалось хотя немного из этого выбиться, это мне бы очень помогло.

Еще раз целую тебя.

М.

1 Конгресс, посвященный 100-летию Б. Пастернака, Марбург. См. материалы конгресса: Beiträge zum Internationalen Pasternak-Kongress 1991 in Marburg / Hrsg. von S. Dorzweiler und H.-B. Herder unter Mitarbeit von S. Grotzer. München, 1993.

2 Речь идет о конференции, организованной School of Slavonic and East European Studies (Университетский колледж, Лондон). См. сборник: Столетие Мандельштама: Материалы симпозиума / Mandelstam Centenary Conference / Comp. and ed. by R. Aizelwood and D. Myers. Tenafly, NJ, 1994.

3 Ср.: Записи и выписки. С. 341 («Будущее»).

А8
[11 апреля 1991 года, Москва, от руки]

11.4.91. Племянница, любимая моя,

пожалуйста, исправь одну свою главную мысль: что ты ничего не сделала, что тебе нечего показать дочери из своей жизни, что стыдно не защитить стариков и детей, что ты делала что-то не то и не так. Подумай о другом. Ты не конъюнктурничала, ты старалась сама понять окружающий мир и в нем свой предмет и старалась сказать то, до чего ты додумывалась. Говорить приходилось на чужом идеологическом языке, и поэтому получалось тяжело и нескладно. Но кривить душой не приходилось, и одурманивать себя увлечением, чтобы не замечать этого кривления душой, тоже не приходилось. (Сейчас любят говорить о правде, лжи, искренности как о чем-то самопонятном. Господи, ведь каждый из нас знает, что можно довести себя до того, что любую объективную неправду произнесешь с абсолютной искренностью. Но тебе и здесь не в чем себя винить, ты была трезва.) Ты не клялась ни нашими марксистскими догмами застойного времени, ни нашими иррациональными увлечениями послезастойного времени, ни заграничными постструктуралистическими умственными забавами. Рационализм оставался для тебя ключом к миру, подходившим твоему душевному складу, и ты его держалась и держишься. Он не моден, за него с удовольствием клюют и справа и слева, — зато он прочен. В памяти потомков (твои слова) ты останешься при нем, а это совсем неплохое место. На что-то не хватало изъяснительских способностей — ничего, будешь доучиваться риторике. На что-то не хватало сил — но какие были силы, ты выкладывала их полностью. Я не умею понимать слова «честь», и слово «честный» для меня значит только: в полную меру своих сил. Это у нас обоих было. Не умели распоряжаться своими силами, отвлекались на мелочи, не успевали нужного — постараемся быть хоть немного толковее в трудный остаток дней. Но порядочность мы сохранили — или, вернее, выработали?

Я не люблю этого слова (как и «интеллигентности»), хотя для многих оно — абсолютное мерило. Но если мне часто хочется умереть, то отчасти потому, что я думаю: Солон говорил: «никого не называй счастливым, пока он жив», вот так и никого не называй порядочным, пока он жив; может быть, завтра иначе сложатся обстоятельства — и я стану подлецом; так вот, лучше не дожить до этого. Конечно, мы не всему научились, чему надо было. Я, например, так и не научился быть добрым. Но научился хотя бы вести себя как добрый. Ты, наверное, тоже найдешь здесь, в чем себя упрекнуть, но и на это найдутся смягчающие «но». Детей мы не научили жить, но я думаю, что это невозможно. Им придется учиться на своих пробах и ошибках, как и нам. Видеть это будет больно, но помочь нельзя. А наше с тобой дело было учить людей взаимопониманию. Через рационализм («дважды два для всех четыре»), через осознание своего отношения к языку, через самоотчет о том, как мы приходим к пониманию текстов (это уже моя область). Эта служба связи — дело филологии, а не философии; ты можешь угрызаться разве что в том, что служишь не под той вывеской, но на такие угрызения, право, жаль тратить силы. А что взаимопонимание сейчас — дело важнейшее, ты сама спорить не будешь. Постарайся, родная, собраться с душевными силами, они тебе скоро понадобятся: здесь уже много хуже, чем когда ты уехала, а когда приедешь, будет еще хуже и, видимо, надолго: примерно как в 1919 году. И помирать пока нельзя ни тебе, ни даже мне: на нас семьи. Считай, пожалуйста, что это мы сидим в метро, ты в воду опущенным голосом излагаешь мне свои ощущения, а я тебя трясу за плечи и вразумляю. Больше ни о чем писать не хочу, пусть это будет вроде постскриптума к прошлому письму. Это я приехал из Малеевки на два дня в Москву, доправить по книгам то, что я писал там без книг, и бабушка[1] дала мне твое письмо. Спросила: «как она там?» — я прочитал ей отдельные фразы — она сказала: «бабушка Марья Алексеевна в таких случаях говорила: не надо кусать себя за хвост; и сама этого не делала». Я ответил: «я вроде бы тоже всех учу не угрызаться о прошлом, а думать об оставшемся

будущем». Я встряхиваю тебя еще раз, очень обнимаю и очень целую. Пиши мне, если сможешь.

Любящий тебя твой помощный зверь.

1 Речь идет о матери М.Л., Елене Александровне Будиловой.

А9
[22 апреля 1991 года, Малеевка, от руки]

22.4.91. Дорогая племянница, я тебе полторы недели назад отправил письмо — но по моему загородному сидению я не знал, что почта подорожала, не наклеил дополнительные марки и не уверен, дошло ли оно. Писал я там, чтобы ты не смела грызть себя за то, что ничего не сделала и не оставила уважаемого следа в жизни и в науке. Угрызаться можно только из-за двух вещей: если бы ты работала не в полную силу и если бы ты думала одно, а писала другое. Ты знаешь, что этого не было; поэтому призови себя к душевному порядку. Мы с тобой были исправными ломовыми лошадьми российского просвещения — именно просвещения, а быть откровением новых истин или столпом гражданских свобод мы и не брались. Это другая специальность. Конечно, много мы делали хуже, чем могли бы, потому что не умели найти достаточно простых и внятных слов. Значит, будем учиться риторике дальше. Я даже знаю, чему тебе учиться важнее всего: изживать страх перед упрощенностью, засевший, наверное, со студенческих времен. Нельзя обвинить карту мира в упрощенности за то, что на ней не нанесена река Клязьма, — а нашему просвещению сейчас нужнее всего именно карты мира. Я хорошо помню, как находил ключи ко многим сложностям где-нибудь в придаточных предложениях, где все было сказано двумя словами. Наверное, и у тебя так было. Думай не о том, чего не сделано, а о том, что еще придется делать — придется, потому что по нынешним обстоятельствам помирать нам пока нельзя, хотя мне и по-преж-

нему хочется. Постарайся немного запастись силами: я понимаю, что в Париже тебе трудно, но в Москве будет еще труднее. Я утешал себя и других, что сейчас, конечно, хуже, чем в тылу 1943 г., но не так еще, как в тылу 1919 г. — а теперь мы уже быстро приближаемся и к 1919 г. Послезавтра я возвращаюсь в Москву — уже новорежимную, с повышенными ценами; а к твоему приезду их еще повысят, и чего доброго, не раз. Я здесь за три недели сидения по 14 часов в день немного привел себя в порядок — машинный режим существования удалось выдержать. Знаешь, что мне помогло? то, что я живу в минуте от столовой, а не в десяти минутах, как три года назад, когда эти десятиминутные пробелы, в которые я только и мог думать о том, какой я нехороший, довели меня чуть ли не до петли. Сейчас во мне тоже сидит навязчивая мысль, как я мешаю людям даже самим своим видом, но здесь ее удавалось заглушить. Сидел, сочинял статьи и примечания и чувствовал себя машиной, перерабатывающей многомерную сложность предмета в дискурсивную линию. Вот тебе и еще одно самоощущение к теме «слово в культуре». Потому я и боюсь красоты в природе (и в человеке), что она не дискурсивна. Но машину свою я здесь починил, а энергией запастись было неоткуда, и в Москве опять начнется обычная каторга — полегче, чем у тебя, но все равно уничтожающая. А мне за май еще нужно написать самую трудную из задолженных работ. Прости меня, если предыдущие мои письма до тебя все-таки дошли, и я утомительно повторяюсь. Выживи, пожалуйста, и я тоже постараюсь — может быть, еще на каком-нибудь повороте пригожусь для опоры. <...>

Твой помощный зверь.

У меня лежит оттиск Тарлинской по точным методам анализа перевода[1], гляжу — там ссылка на статью Автономовой и Гаспарова 1969 г.[2] Так что филология тебе кланяется и просит не забывать.

Сколько нынче стоит заграничное письмо, здешняя почта не знает, наклеиваю марки наугад, по пропорциональному

расчету. Авось дойдет. Хочется написать, как в анекдоте: «а если не получишь, то прости».

М.

1 *Tarlinskaja M.* On Equivalence in Translation: Shakespeare's Sonnet 66 and Ten Translations into Russian // International Journal of Slavic Linguistics and Poetics. 1984. Vol. 30. P. 85–129.

2 Имеется в виду статья «Сонеты Шекспира — переводы Маршака» (см. с. 276 настоящей книги).

А10
[2 октября 1991 года, Москва, машинопись]

2.10.91

Племянница, родная, твое письмо от 17.9. я получил счастливым чудом, в промежуток между двумя больницами: только что вышел из привычного ВНЦПЗ за Каширской, где ты бывала (не досидел, поэтому вышел хуже, чем вошел), и послезавтра еду до 8.XI в Узкое[1]. Сроду бы не поехал в такое аристократическое место, если бы не его юго-западное местоположение: мне придется возить для работы много книг из дома (везу, например, целую немецкую мифологическую энциклопедию в 8 толстых томах)[2], и, во-вторых, допуская маленькую надежду, что ты вернешься в Москву, я подумал о том, что тебе легче было бы заглянуть туда ко мне в гости. Но ты, как я понял, приедешь уже позже.

Ты долго не писала, я очень беспокоился; я помнил, что ты собиралась приехать к концу лета, чтобы устроить Олю в новую школу. Поэтому на твоем Голубинском адресе лежат два моих письма. Больше всего я думал: вдруг тебе удастся (удалось) получить долгосрочную работу во Франции и остаться там надолго? Сердце от этого очень болело, но все равно я был бы этому очень рад: здесь явно в остающиеся нам годы будет возможно не жить, а только выживать. (Впрочем, я ничего другого не умею, и вообще ученый не конвертируемый, но

ты-то с дочерью заслуживаешь лучшего). <...> тут я приневолил себя к мысли, что, видимо, поздно, и нам с тобою предстоит умирать в тех гробах, в которые мы сами себя положили. Видимо, так оно и будет, только не там, а тут. Ну зато хоть видеться будем. Я твое отсутствие чувствую все время, мы с тобой очень однопородные звери, и вдобавок очень привыкшие друг к другу: как ни считай — полжизни. Ты пишешь, что тоже испытываешь похожие чувства, — ну, значит, обнимемся и поцелуемся (если позволишь) на расстоянии. А на твой приезд у меня и вправду отложена какая-то бутылка с заграничного аэродрома. Вот только с закуской перспективы неясны. В газете напечатали статистику прожиточной советской «потребительской корзины»; Аля подсчитала наши семейные доходы и расходы с учетом помощей всем отросткам семьи, и вышло ровно-ровно по среднему, с маленьким верхом. А ведь это, как-никак, член-корреспондентская зарплата.

4 августа умерла Елена Александровна. До твоих отца и матери по тем телефонам, что были у нее в книжке, мы не дозвонились. У нее была опухоль щитовидки, говорили — доброкачественная, а когда (через ее сопротивление) перепроверили и оказалось — злокачественная, то было уже поздно. С января она могла говорить только шепотом, с июня — глотала только жидкое, в июле — почти не могла дышать, только хрипела и кашляла. Меня гнала, чтобы я не видел ее в таком виде, а Алю после всех свекровных неприязней держала за руку и не отпускала. Аля при ней весь больничный месяц сидела, как святая. Когда хоронили, академические могильщики по собственной инициативе накрыли ее полотнищем с какими-то православными надписями, я вспомнил газету «Безбожник»[3]. Больше всего перед смертью заботилась о том, чтобы я нашел и взял разобранные ею письма от Дм. Ефимовича[4]. Взял, храню, но читать еще не собрался с духом.

А на следующий день Алена родила вторую внучку. Пока девочка здорова и развивается даже ускоренно. Алена, к Алиному изумлению, обнаруживает материнскую заботливость, какой в помине не было при первой внучке. <...>

В Академии вряд ли будут большие перемены. Может быть, сместят президента, но, например, Ф.Ф. Кузнецов, достаточно замаравший себя при путче, твердо остается в ИМЛИ. Больше слухов не слышал, не от кого. Думаю, что вернешься в то же болото, из которого уезжала; если нет, слава Богу. (Я прочитал Зиновьева, расшифруй мне при случае, кто есть кто, я угадал немногих[5]; Ел.Ал. сказала: «Зиновьев вместе со мной был в аспирантуре: злой»). Если успеешь вернуться до 8 ноября — напиши по адресу 117321, санат. «Узкое», а ехать туда автобусом 49 от м. Беляево (конечная) прямо до санатория, недолго. Напиши, когда позвонить тебе (и по какому телефону, вдруг я потерял? Потерял же я твой парижский адрес!), если нужно. Я постараюсь через год отделаться от лекций в университете, они мне мучительны, но для встреч на скамеечке найдем мой архивный день или согласуем наше соседство по институтам на Волхонке. — Сборник переводов о метафоре[6] прошел давно, я видел его минуту в чужих руках, и достать его, кажется, невозможно.

<...>

Еще просьба: не угрызайся за свои сочинения, за ссылки на Маркса и пр. Сейчас не такое время, чтобы отступаться от Маркса: он слабейший, в грязи, и всякий осел его пинает. Ты не лавировала и не лавируешь совестью, рационалистами нам оставаться по гроб жизни, а какими словами писать то, что думаешь, так, чтобы напечатали, и так, чтобы поняли, — это наука риторика, мы ей всю жизнь учимся. Мы с тобой не генераторы идей (оставим это Тане Васильевой), мы просветители, давай на том и доживать остаток жизни. У меня была тоже статья 1958 г. с обзором западной литературы по римской литературе и с рефреном «вот если бы меньше внимания поэтике, а больше — лит.-политическим полемикам в Риме, то было бы интереснее»[7]. Вижу, какой я был односторонний (правда, так думал), но стыда не испытываю. Ты пишешь: «ты прошел сквозь идеологию, как сквозь камень, а я нет». По-моему, ты неправа — давай поговорим об этом подольше, когда приедешь. И о том, что такое идеология вообще.

О себе писать не хочется: раздергался по мелочам, испортились нервы. В Узком хочу три недели делать один компилятивный мифологический комментарий[8] только ради восстановления душевного равновесия. Я бы сказал: раньше у меня был какой-то ритм начитывания нового и сочинения «своего», а сейчас мне на первое оставляют все меньше времени, и я истощен. Остальное — подробности. Дописываю от руки, потому что нельзя больше стучать на машинке. Я тебя очень люблю, целую в глаза и глажу по головке. Твой помощный зверь.

1 Академический санаторий (теперь уже в Москве), где М.Л. часто бывал — прятался для работы.
2 Имеется в виду словарь Рошера. См. письмо Б10.
3 Ср.: Записи и выписки. С. 73. В 1920-е годы Е.А. Будилова работала в газете «Безбожник». Там она познакомилась с отцом М.Л. — Дмитрием Ефимовичем.
4 Подробнее о нем см.: Записи и выписки. С. 73–75.
5 Речь идет о романе А.А. Зиновьева «Зияющие высоты» (написан в 1974 г., издан на Западе в 1976-м; в нем выведены сотрудники Института философии АН СССР, где автор сам и работал).
6 По-видимому: Теория метафоры: Сборник / Пер. с англ., нем., исп., польск. яз. Под ред. Н.Д. Арутюновой и М.А. Журинской. М., 1990.
7 *Гаспаров М.Л.* Зарубежная литература о принципате Августа // Вестник древней истории. 1958. № 2. С. 221–233.
8 К «Мифологической библиотеке» Аполлодора — см. письмо Б10.

А11
[6 ноября 1992 года, Стэнфорд, от руки, на бланке Stanford University]

6.XI.92

Племянница, родная, я послал тебе письмо в Москву еще в десятых числах сентября, а потом, по-моему, и второе, уже отсюда, но, кажется, почта ходит так, что и оно могло не дойти. Даже жаль, я там написал рассуждение на тему «почему фрейдизм появился тогда, когда он появился», и больше об

этом не думал. Здесь у меня была еще неожиданная встреча с твоей тематикой. В Стэнфорде аспирантствует страшноватый русский поэт-авангардист Алексей Парщиков. Он спросил меня: какой стихотворный размер был у нас государственным? не 5-ст. ли ямб? (это чтобы понимать диссидентство в поэзии). «Нет, если бы я был государство, я предпочел бы 4-ст. ямб, он заверен классиками и скуднее оборотами, в нем легче выследить неположенное. Но я, наверное, был бы плохим государством, поэтому не полагайтесь на меня итд.» А белый стих? «Подозрителен как симптом бурж. разложения и преследовался; допускался в больших формах, где можно статистически уследить, случайны ли были отклонения от оптимума. Для Маяковского «ямбом писать» было понятием идеологическим, итд.»[1] А потом я подумал: ведь будь я Деррида, я бы взял и написал обо всем этом важную статью под заглавием «стих и насилие», и кто-то принял бы ее всерьез.

Здесь собеседники даже жалуются, что во Франции мода на Деррида будто уже спадает, а в Америке еще кипит. Был полгода назад маленький скандал: оказалось, что покойник Поль де Ман в 1940 в Бельгии печатал пронемецкие и антисемитские статьи, о которых потом не поминал. «Может быть, он и за деструктивизм ухватился оттого, что разрушение образа автора освобождало его от ответственности за прошлые свои сочинения».

Я здесь живу в треугольнике кафедра — жилье — библиотека, по-английски разговаривать практически не приходится, в случае надобности меня усердно опекает пара аспирантов. Скоро буду читать перед здешними античниками свою старую (но еще милую) статью о Геродоте по-английски[2], а на вопросы отвечать только через переводчика, то-то будет стыд. Слушают у меня один курс человек пять, другой — человек шесть, ликвидируют свою мифологическую безграмотность. Чтобы не заикаться, сижу перед пятерыми, закрыв глаза, как пифия, и так говорю лекцию. А сперва должен дома всю ее проговорить про себя, поэтому на подготовку лекций уходит много времени. Остальное — неторопливый просмотр книг и журналов комплектами и на ксерокопиро-

вание такими же грудами, как у тебя. Сейчас — по Мандельштаму, впереди — по стиховедению. За всем этим ничего не успеваю писать: за полтора месяца — только несколько крошечных заметок. А нужно во что бы то ни стало сделать хотя бы одну большую статью и две небольшие. Поэтому грустен; а так как все время думаю, что и ты ничего не успеваешь и расстраиваешься, то вдвойне. Если это письмо до тебя дойдет, напиши мне. Я здесь с ручательством до ок. 20 декабря. Потом, если в Лос-Анджелесе найдут деньги на мое приглашение, то туда, но так как покамест их еще не нашли, то, вероятно, в Москву. А в Москве буду прятаться в больницу, чтобы хоть что-нибудь постараться написать.

<...>

Мне без тебя нехорошо. Крепко обнимаю тебя и целую. Напиши, если сможешь. Анни[3] — низкий поклон.

Твой помощный зверь.

1 Ср.: Записи и выписки. С. 61 («Стихосложение»).

2 См. письмо Б31.

3 Анни Эпельбуэн.

А12

[2–3 декабря 1992 года, Стэнфорд, от руки]

2.12.92. Племянница, родная, спасибо за привет: приятно, что из Парижа письма приходят всего за неделю. А то мое первое, которое я сразу послал в Москву, видимо, так и не дошло; даже жаль моих фантазий о месте психоанализа в эволюции человеческой культуры. Не потому, что они умные, а потому, что они явно с другой точки зрения, чем у тех философов, которые сейчас вокруг тебя, и тебе между этими противовесами легче было бы нащупать и держать точку собственного мысленного равновесия. А то ведь у тебя частые сомнения, что ты — поручик, который идет не в ногу, и тебе хочется подделаться под поступь роты, но до конца не получается. А на самом деле такие поручики-не-в-ногу, как мы, совершенно необходимы, потому что если рота будет по-

головно уверена в единственности своего пути, то никуда, кроме болота, она не придет. Когда меня здесь спрашивали, какая у тебя тематика, я говорил: «критическое осмысление Деррида и его предшественников», на что мне говорили: «тогда вряд ли: Деррида(-ы) здесь и без того много, а критика его — пока не ко двору». Но разговоры эти были со славистами, а твоя тематика — по кафедре компаративистики, почему — неизвестно, и ни с кем компетентно-доброжелательным я поговорить не мог. Может, у меня получится выезд с докладом в Принстон, там один старый мандельштамовед служит по компаративистике[1]; если он окажется доброжелателен, расспрошу подробнее. Письмо твое было еще сравнительно оптимистично, но я уже тревожусь о ста заботах, которые на тебя навалили в оплату за Париж. Мне чем дальше, тем труднее работать, гонясь сразу за несколькими зайцами, и тебе, по-моему, тоже. Одна надежда: твоя главная задача — перевод, от него легче отрываться-возвращаться. Может быть, за эту неделю ты уже нашла ритм. Что с терминами не ладится, я понимаю. После наших совместных редактирований я вообще был в унынии: мне стало ясно, что писать о философском психоанализе, плохо зная психиатрический психоанализ, невозможно. Тебе нужно, наверное, для оттеняющего понимания читать не-французские и не-философские сочинения по психоанализу: вероятно, английские, потому что с немецкими, боюсь, горя еще больше. И чувствовать, что эта наука, которую ты переводишь, для тебя не священное писание, а игра: интересно и приятно играть в нее, соблюдая все правила этой умственной игры, но незачем считать эти правила божьими скрижалями. Мне повезло, что анализом стихотворений я занялся именно в порядке семинарской игры, пародируя Жолковского. (А Жолковский сейчас сам играет в психоанализ, и его последние разборы самых невинных текстов выглядят эротоманскими.) Нужно как можно лучше заучивать правила их рассуждений (и есть все основания браниться, когда оказывается, что правила эти расплывчаты), но не нужно угрызаться из-за того, что ты недостаточно в эти правила веришь. Прости, что я так отвлекся от простого во-

проса: как найти удачные термины для психоаналитических понятий. Наверное — просто составить мысленно свой собственный психоаналитический словарь, краткий и ясный, и к нему подгонять переводимое. Тебе ведь все равно придется писать к этому словарю предисловие, краткое и ясное. Может быть, если помнить об этом, переводить будет легче. Без такого предисловия этот словарь был бы только жестоким издевательством над потребностями русского читателя: мы об этом уже говорили. Только бы тебя не очень измучили отвлекающие доклады «о том и о сем». Обнадеживает название твоего сектора: «...связанное с проблемой здоровья»[2] (если оно правда чему-то соответствует), потому что если не для общественного здоровья, то для чего же психоанализ нужен? У меня подходит к концу стэнфордский срок, написать я ничего не успел, от очень хорошего отношения ко мне чувствую только свою неудовлетворительность, и когда оглядываюсь на свое прошлое, вижу: психоанализ (по книгам) и психотерапия (у врачей) помогли мне понять себя, но не помогли найти отношений с людьми: единственный вывод, который удалось вывести: «такой, какой ты есть, ты никому не нужен, поэтому не навязывайся, прячься, а в разговорах будь улыбающимся, понимающим и ободряющим — пока хватит сил; и помни, что всем другим так же плохо и от того же самого». Здесь, без языка, это только нагляднее чувствуется. Если бы я был лучше устроен, я бы здесь ходил на лекции и привыкал бы к английскому со слуха; но, вероятно, мне утешительнее думать, что я не способен к контактам из-за бездарности к языку, а не к людям. На сознательном же уровне я говорю себе: больше в таких заграничных побывках я не буду, поэтому мне важнее доступ к книгам, чем к людям, — и сижу в библиотеке. На прошлой неделе я здесь сделал доклад перед античниками — читал англ. перевод (сделанный в Ленинграде, и очень неважно: здешняя аспирантка сильно его отредактировала) одной моей старой статьи. Было забавно: мое чтение все поняли (судя по смеху в нужных местах и потом по вопросам), но все вопросы я понимал только через переводчика, хотя отвечал на них иногда сам. Идеальная иллюст-

рация бесконтактности: вместо диалога — два нашинкованных монолога. Я сменил авторучку, потому что продолжаю на следующий день: очень хорошо, что так получилось, потому что меня уже сносило на размышления о собственном ничтожестве, которым не было бы конца. <...> Поэтому только повторяю: дай бог тебе наладить рабочий ритм и не изнемочь в гоньбе за несколькими зайцами. А в остальном будем чувствовать себя одинаково: как мужики на отхожем промысле. Тебя еще будут отрывать и волновать вести из дома. Есть официальный термин: телефонное воспитание: мать на работе, ребенок один, и она ему по телефону каждый час-два напоминает съесть то-то и не забыть про уроки. При мне так жила заведующая аннотацией в Ленинке[3]; а тебе предстоит так воспитывать Олю из Парижа. Не жалей повторять ей на все только две вещи, о которых мы говорили: первое, «не думай, что своим протестантским поведением ты утверждаешь собственную независимость: на самом деле это просто в тебе начинают кипеть гормоны, и ты утверждаешь только свою независимость от них»; второе, «не говори: я не такая, какой вы хотите меня видеть, а такая, какой меня хотят видеть мои референтные сверстники; на самом деле ты и такая, и такая, и многая другая, и вполне естественно со сверстниками быть буйной, а дома смирной, — а быть дома буйной так же нелепо, как быть смирной со сверстниками». Прости, что я так глупо пытаюсь твою беду руками разводить. — Не помню, писал ли я тебе, как проясняется моя здесь дальнейшая перспектива: 15 декабря я переезжаю в Лос-Анджелес, там буду до 8 февраля по адресу Univ of California — LosAngeles, Slavic Dept., 405 Hilgard Ave., Los Ang., Ca 90024-15502, потом во второй половине февраля объеду с докладами два-три-четыре университета, вернусь в Калифорнию и, видимо, в последних числах февраля, улечу в Москву. Обратный билет с открытой датой уже есть, и, как я только что с огорчением узнал, по-видимому, это значит, что сделать остановку в Париже мне не удастся — особенно если слависты не могут помочь в оплате дороги. Тогда надежда моя на нашу с тобой парижскую встречу отодвигается, может быть, на июнь: ты ведь, как я понял, наде-

ешься продлиться и после 1 мая. В июне в Париже должна быть конференция к 100-летию Маяковского, я с Подгаецкой обещал им совместный доклад[4], но (написал я) если они могут пригласить только одного, то пусть приглашают Подгаецкую, она куда более измучена, чем я, и Париж (в котором она не раз когда-то работала по своей французской специальности) ей нужнее. Но если Окутюрье[5], как ты пишешь, смотрит на меня снизу вверх (это очень смешно), то, может быть, он постарается пригласить нас обоих. Окутюрье и мне показался необычайно милым и добрым. А насчет Эткинда[6] ты не совсем права: я о нем слышал от ленинградцев недоброе — главным образом, что высокомерен, — но змеиного в нем ничего нет; да и высокомерия в нем по отношению к себе я никогда не чувствовал, хотя познакомился с ним совсем молодым. <...> Но, конечно, для этого я должен сперва написать этот парижский доклад (и две статьи для Эткинда, большую и маленькую), — а я рассчитывал это сделать в Стэнфорде и не сделал; надеялся сделать в три Лос-Анджелесские недели перед лекциями (которые начинаются 10 января) и тоже теперь сомневаюсь, потому что выпадут рождественские несколько дней — меня на них настойчиво зовет (и оплачивает) в Сиэтл Тарлинская, а это большая отвлекающая психологическая нагрузка. Поэтому теперь, как обычно, вся надежда, что вот приеду в Москву и спрячусь на месяц в больницу работать — что, собственно, можно было бы сделать и не ездя в Америку. Нехорошо. Целую тебя, родная, если позволяешь, и очень жду от тебя вестей — хотя бы дисциплинарно-отчетных. <...>

Твой помощный зверь.

3.12.92.

1 Имеется в виду Кларенс Браун, первый переводчик прозы Мандельштама на английский язык: The Prose of Osip Mandelstam: The Noise of Time, Theodosia, The Egyptian Stamp / Trans., with

[*На полях:*] Я ему (Окутюрье. — *Ред.*) буду отсюда писать: мне предстоит обсчитывать франц. стих его (!) переводов из Пастернака.

a critical essay, by Clarence Brown. Princeton, NJ, 1965. Сборник положил начало более широкому интересу к Мандельштаму на Западе и выдержал несколько переизданий. В 1973 г. Браун выпустил сборник переводов стихотворений Мандельштама, выполненных им вместе с Вильямом Мервином, а также отдельную книгу о поэте: *Brown C.* Mandelstam. Cambridge, 1973.

2 Речь идет об одном из подразделений Национального центра научных исследований Франции (CNRS), работавшем при Амьенском университете (его научным профилем был психоанализ и проблемы здоровья), где я стажировалась в 1992 г. после франко-российской конференции «Психоанализ и социальные науки» (Москва, март–апрель 1992 г.).

3 См. письмо П39, примеч. 7.

4 См. письмо П6.

5 Мишель Окутюрье — в течение долгих лет глава кафедры славистики университета Париж-IV (Сорбонна), ныне почетный профессор того же университета, специалист по русской поэзии, литературной теории, роману XIX века, переводчик. На переводах «Спекторского» Пастернака, сделанных Окутюрье, М.Л. проверял свои гипотезы о механизмах эволюции современной французской метрики и ритмики.

6 Е.Г. Эткинд.

А13
[5–6 декабря 1992 года, Стэнфорд, от руки]

5–6.12.92

Племянница, родная, второе твое письмо я получил через несколько дней после первого и тотчас отвечаю. Ты на меня не сердись, что долго не было писем: я ведь даже не знал, в Париже ли ты, или какая-нибудь обычная в нашей жизни неприятность помешала, и все время с беспокойством об этом думал. Теперь буду писать — если не каждую неделю, то каждые полторы-две, а на твои письма отвечать вне очереди, поэтому пиши чаще!

Всей душой поздравляю с английским переводом словаря!![1] Наверное, ты сама уже чувствуешь, как легче стало переводить; а я-то хорошо знаю, всю жизнь старался иметь под рукой параллельные шпаргалки. Во-первых, это подает

надежду, что ты лучше уложишься в сроки. Во-вторых, по-моему, мировая наука уже привыкла пользоваться английским Джонсом[2] так же твердо, как оригиналом. (Так греческий перевод Библии, сделанный вполне историческими 70 переводчиками в Александрии, официально считался «боговдохновенным», т.е. полностью заменяющим еврейский текст.) Поэтому по нем. подлиннику сверяй только самые катастрофические случаи, а в остальном не угрызайся.

Что касается «как переводить?», то это ты решишь, когда определятся твои темпы. До 1 мая — 5 месяцев: работай 3 месяца, до 1 марта, по-черновому быстро (но не до безумия: чтобы поверх первонаписанного был один слой правки, а больше не надо), и тогда будет яснее, на что тратить оставшиеся 2 месяца. Тогда, в феврале, мы еще успеем обменяться письмами об этом — а остановиться в Париже, сказали мне, я не смогу, билет Нью-Йорк–Москва беспосадочный и нерушимый, до смерти жаль.

«Economique=энергетич.»[3] мне бы очень хотелось оставить: иначе по-русски (вероятно, больше, чем на других языках?) «экономический» будет восприниматься как «экономный». Может быть, для «econom.» сохранить «энергетич.», а énergetique переводить «энергийный»? Я бы попробовал. Чтобы экономику=устроение не путать с бережливостью, есть русское написание «икономия (душевная)» в церковных книгах (сиречь домостроительство душевное, а по-нынешнему говоря, управдомство). Но такой стилистической смелости ни одно издательство не допустит.

О том, что «ничего умного сделать» ты так и не успеешь, — не печалься. Если ты, пропустив сквозь себя словарь, сложишь в голове детски-ясную картину, как ты бы сама написала его, — а это тебе будет необходимо для вступ. статьи, — то это уже будет умным делом. Позаботься еще, пожалуйста, вот о чем: многие наши читатели будут читать словарь этот не для справок по отдельным словам, а подряд, чтобы познать предмет; им нужно дать путеводитель по словарю. В XIX в. к русскому словарю лит. терминов 1821 г. был приложен указатель: I общие понятия, II содержание,

III стиль, IV стих, V жанры, 1) эпич., 2) лирич., 3) драматич., а) трагедия, комедия, фарс..., б) монолог, диалог, хор, ремарка... итд., и в каждой подрубрике перечислялись статьи по ней (кончая «см также»)[4]. Непременно сделай такое тезаурусное оглавление: тебе же легче будет, и читатели спасибо скажут. А ты на этом поумнеешь, честное слово. Считай, что эти месяцы у тебя не на торопливое набивание зоба (это у меня сейчас такое время, а ты его уже пережила), а на переваривание. Для этого ведь тоже московские условия не годятся.

Я уезжаю через 10 дней, уже пакую посылки в Москву и с тоской смотрю на результаты моего зобонабивания. Всё, что я сделал за 2 месяца с небольшим, — это просмотрел все славистические журналы (вплоть до финляндских) лет за 25, переснял всё о Мандельштаме, а по стиховедению убедился, что написано много, а толку мало (времени на это пошло порядочно): вычитал переводы двух книг, моей на английский и Тарановского на русский[5]; составил две антологии русских стихов для двух моих курсов, которые могут еще пригодиться; и всё. Главное, т.е. Мандельштам — будет очень полезен для компилятивных примечаний, но, конечно, устареет очень быстро. Ничего умственно-просвещающего прочитать не успел; в свободные урывки читал мемуары по русскому XX веку. Даже заграничные издания эмигрантских и наших молодых поэтов не успел толком просмотреть, а они мне очень нужны по части стиха.

А долги мои такие. К Новому году для Эткинда — большой (в лист) очерк истории рус. стиха для франц. Истории рус. литературы и маленькая (пол-листа) статья о французском стихе Цветаевой. К возвращению — совместная с Подгаецкой статья о композиц. схематике стихотворений Маяковского к газетным красным праздникам (Маяковский и Пиндар, или Маяк. как Gelegenheitsdichter). И тотчас по возвращении — большая (2 л.) и трудная вступительная статья к Мандельштаму в Б-ке поэта; а потом уже подходит срок двухлетней институтской плановой работы, которой я еще не начинал, «Идиостиль Маяковского», 3 листа. Это не считая нескольких мелочей. Если сумею взять себя в руки

в Лос-Анджелесском антракте 16 дек. — 10 янв., то хорошо, если хоть что-то напишу. Но (я уже писал) пять дней из этого съест рождественская поездка к Тарлинской; а после 10 января не только начнется преподавание, но и вернутся из Москвы Вяч. Вс. Иванов с женой, а жена эта сочиняет новую теорию рифмы и нуждается в моих одобрениях. Кстати, еще был неожиданный контакт по психологической части: ездил я с докладом в соседний Беркли, обратно меня везла соотечественница, бывшая жена моего однофамильца Б.М. Гаспарова, автор прекрасной книги с анализом личности Чернышевского[6], — оказалось, что с этой темы она перешла на место самоубийства в русской культуре XIX в. (по газетам, медицинским книгам итд.; получается, что журналисты замечали то, что подсказывали им, скажем, романы Достоевского) и заодно работает на hot-line[7], куда звонят колеблющиеся самоубийцы. Рассказывала интересные вещи, которые не хочется пересказывать: я вспомнил, что вокруг меня в знакомых семьях было 4 самоубийства в возрасте 15–25 лет. <...>

Славистам здесь живется туго, мой приезд — это подвиг со стороны Флейшмана, и на повторение такого выезда куда бы то ни было у меня надежды мало. Кажется, я все-таки Флейшману не очень в тягость: он явно человек такого же кабинетного склада, и когда оказалось, что я не имею никакой охоты, скажем, съездить посмотреть Сан-Франциско, то вздохнул с облегчением. Съездить-таки пришлось, потому что к нему приехал его немецкий сотрудник по Пастернаку[8], однорукий молодой человек из нем. Поволжья, необычайно милый, но не столь ленивый и нелюбопытный, как я, и попросился в Сан-Франциско в первый же выходной. Всю поездку я старательно смотрел, но ничего не видел: стоят дома и ходят люди, как везде. А квартирное соседство с ним для меня — редкая удача: лучше этого только полное одиночество, но оно вдвое дороже. Может быть, оно будет в Лос-Анджелесе. <...> NB MSH — это Sciences de l'homme, или sur l'homme, или как?

Пошла моя последняя неделя в Стэнфорде — проверяю письменные работы и отсылаю в Москву бандероли. В следующий раз напишу из Лос-Анджелеса. Прости, что мое по-

следнее письмо было нервозное. Я тебя очень люблю, обнимаю и целую.

Твой помощный родич.

6.12.92.

1 Речь идет о французском «Словаре психоанализа» Лапланша и Понталиса, который мне подарили на психоаналитическом конгрессе в Дублине (1992) в английском переводе. В это время я начала работу над переводом Словаря на русский язык, что в ситуации перерыва психоаналитической традиции в России, длившегося в течение 60 лет, порождало множество проблем, которые мы систематически обсуждали с М.Л.

2 По-видимому, неточность: имеется в виду скорее полное английское издание сочинений Фрейда (Standard Edition of Complete Psychological Works of Sigmund Freud by J. Strachey (1953–1974)), Эрнест Джонс — автор известной биографии Фрейда (1953–1957).

3 Речь идет об одном из случаев подбора русских эквивалентов к французским (и немецким) терминам психоанализа. В данном случае для французского *économique* М.Л. предлагал даже вариант «икономический», которым обозначалось в России душевное домостроительство (в отличие от внешней экономики), но это было, конечно, из области фантастики... Интересно, что в принципе тот же вариант перевода (économique как «энергетический») приветствовал и Поль Рикер, с которым мне доводилось обсуждать сложности перевода психоаналитической терминологии.

4 М.Л. передает, не вполне точно, содержание раздела «Методические таблицы», помещенного в конце «Словаря древней и новой поэзии» Н.Ф. Остолопова (СПб., 1821. Т. 3. С. I–XXX).

5 *Gasparov M.* A History of European Versification / Transi. G.S. Smith, M. Tarlinskaja. Oxford, 1996. Сборник работ К.Ф. Тарановского «О поэзии и поэтике» вышел лишь в 2000 г.; см. письмо П33.

6 Ирина Паперно — автор книги «Chernyshevsky and the Age of Realism: A Study in the Semiotics of Behavior» (1988; русское издание: *Паперно И.* Николай Чернышевский — человек эпохи реализма. М., 1996). В 1997 г. вышла ее книга «Suicide as a Cultural Institution in Dostoevsky's Russia» (русское издание: *Паперно И.* Самоубийство как культурный институт. М., 1999).

7 Горячая линия.

8 Сергей Дорцвейлер — см. письмо П6.

А14
[11 декабря 1992 года, Стэнфорд, от руки]

11.12.92. Племянница, милая, бедная, вот и третье твое письмо пришло: сажусь и сразу отвечаю. Наверное, ты два моих тоже уже получила. Хотя американцы на свою почту тоже жалуются: билет мне из соседнего Лос-Анджелеса шел полторы недели, уже начиналось беспокойство. <...>

Письмо твое (без даты, а штемпель 7.XII) мне понравилось, рассуждаешь ты разумно, и правильно себе напоминаешь, что по своему предмету ты достаточно редкий специалист, и что эти парижские месяцы при всех неладностях достаточно редкая благодать, которую нужно использовать разумно и спокойно. И, конечно, радуюсь, что английский перевод уже облегчает твою жизнь. Я думаю, что если ты сейчас наладишь темп выработки, то и после перерывов сможешь его легко восстанавливать. <...> Больше всего я желаю — каждый раз, думая о тебе, думаю об этом, — чтобы отношения твои с французским начальством были хорошие и чтобы эта долгая твоя командировка была не последней. Тем живее желаю, чем лучше вижу, что у меня таких выездов, видимо, больше не будет: слависты здесь живут скудно и все скуднее. Я помню, еще давно мне Тарановский объяснял в письме: когда при Хрущеве запустили спутник, то Америка бросилась изучать Советский Союз и не жалела денег на славистику, а как стало ясно, что Советский Союз в космосе отстал, так и субсидии прекратились, и Якобсон заплакал горючими слезами, видя, как созданная им американская славистика поползла по швам. Ну, а сейчас, когда на месте Советского Союза — одни атомные развалины, заботы о славистике здесь — роскошь, а не необходимость.

А жалко, потому что полезных книг вокруг — много, с ними я и «Занимательную Грецию» улучшил бы, и «Рим» написал бы, и комментарий к «Мифологии» закончил бы. (Заметь, говорю только о научно-популярной продукции; о чисто научной не решаюсь — здесь уж как получится при моей слабеющей голове.) Хорошо, что у тебя есть сейчас работа — пе-

ревод: она лучше успокаивает, чем другая. Когда я вернусь в Москву почти ни с чем и спрячусь в больницу, чтобы сделать хоть что-то, первые две недели я буду не научные труды трудить, а буду переводить французский «Роман о Розе» силлабикой без рифм: по-старофранцузски я мало чего понимаю, но с некоторым трудом раздобыл английский прозаический перевод. Совсем как ты.

Можно, я попробую выговориться насчет себя? А в следующих письмах опять буду тебя подпирать. Я себя все время переспрашиваю: ну вот, жизнь твоя кончается, скажи: где в ней была неправильность, что бы ты изменил, случись жить во второй раз? <...> Помнишь, я писал: в детстве человек хочет быть сильным, быть привлекательным, быть умным; на силе я в детстве же поставил крест, привлекательность оставил под вопросом и ставил на ней крест лет пятнадцать или двадцать, на уме сосредоточился, чего-то достиг, и пора ставить крест наступила только теперь. Наверное, мне надо было так же сразу поставить крест и на привлекательности: тяжело, конечно, но ведь не тяжелее, наверное, чем мальчишке — на силе. <...> Может быть, эта переплавка некрасоты в псевдодоброту происходит только при мучительных температурах. Тогда не жалко. А если можно того же добиться как-то легче — тогда жалко. <...>

Что касается свежего креста на уме, то здесь, как обычно, всё яснее. Я себя не недооцениваю и знаю, в каких областях я умнее очень многих (и ты о себе это изволь не забывать!), в каких морально устарел, а в каких вообще ничто. Но окружающие об этом не думают, считают меня умным слишком во многом и используют мои способности не лучшим образом. (Я понял: я ценю Скулачеву именно за то, что она доброжелательно и трезво видит, что́ я могу и что́ нет, и действует соответственно: не заставляет меня формулировать связные правила разметки ударений в стихе, а спрашивает как «носителя языка», как бы я разметил здесь, и здесь, и здесь, и из моих мгновенных ответов сама выводит формулировки.) Я кажусь умнее, чем есть, и добрее, чем я есть, поэтому все время чувствую себя обманщиком — постоянно

в фальшивом положении. Если я со страхом думаю о возвращении, то именно о возвращении в эту среду. <...>

Я сильно устал: просто от возраста и оттого, что старался всю жизнь работать за троих. Наверное, приблизительно так же сильно, как и ты. (Очень неприятно чувствовать, что уже не можешь работать столько часов в день, сколько три года назад.) Поэтому временами хочется, чтобы кто-нибудь меня пожалел и по головке погладил*. Я к этому не привык: я всю жизнь сам был поглаживателем по головке. Да и не все это умеют: я не раз ведь пробовал выговориться тебе и подставиться под твою руку, но всякий раз видел у тебя на лице такую погруженность в свои собственные душевные невзгоды, что прекращал попытку и начинал сам тебя утешать. Я и сейчас ведь пользуюсь, чтобы выговориться этим письмом, потому что лица твоего не вижу и потому что знаю, докучное письмо легче пробежать взглядом и отбросить, чем докучный разговор. Ты так и делай, пожалуйста.

<...>

Спасибо, что дочитала письмо. Больше я так докучать тебе не буду. Сегодня я отправил в Москву 4 посылки (книг мало, все больше ксероксы!), завтра благодарные мои четверо студентов поят меня с Флейшманом кофеем и говорят мне, какой я хороший, а еще через два дня одна из них (которою я потом и из Москвы руководить буду) упаковывает меня в самолет, и через час в Лос-Анджелесе меня встречают именитые ученые Жолковский и Осповат. И так далее. На случай, если предыдущие письма так и не дойдут до тебя, напоминаю адрес: Univ of California-LosAngeles (UCLA), Slavic Dept., 405 Hilgard Ave., LosAngeles, Ca 90024-1502. Там я с 15 дек. до 8 февр. с отлучкой на Рождество к Тарлинской в Сиэтл (19–26 дек.).

[*Внизу страницы:*] * Марина Цветаева непременно написала бы: «*всех* кто-то гладит, а меня нет!» Писала же она, подчеркивая: «*все* писатели получают какие-нибудь пособия, а я нет!», «у *всех* есть кто-нибудь, кто их любит больше всего на свете, а у меня нет!» Про это *все* в ее хлестаковском стиле — можно написать интересную диссертацию.

Очень желаю тебе хорошей музыки: я люблю, когда ты о ней говоришь и пишешь. А ты пожелай мне хороших стихов: в Стэнфорде я почти не читал стихов, раньше это было невозможно. Обнимаю тебя, глажу по головке и целую.

Твой помощный зверь.

А15
[17 декабря 1992 года, Лос-Анджелес, от руки]

17.12.92

Племянница, голубушка, пишу тебе уже из Лос-Анджелеса. Послезавтра улетаю на рождественскую неделю к Тарлинской и оттуда вряд ли смогу писать, заранее прости недельную паузу. Здесь я до 7.1. живу в пустой квартире Вяч. Вс. Иванова, тихо и спокойно, только слишком просторно. С Флейшманом простились очень хорошо; по некоторым обмолвкам, он сам, приглашая меня в соседи, не был уверен, легкого ли сожителя взваливает себе на шею, но моя тихость превзошла, видимо, его ожидания, и мы расставались взаимно-благодарные. Здесь мой сосед (не по квартире — по этажам) совсем другого характера — полумолодой Осповат из Москвы, круглая лысина и круглая борода, веселый, занимается биографией Тютчева и очень хорошо разговаривает; из всех попутчиков, с которыми мне приходилось сходиться (попутчиков — буквально: познакомились и встречались мы преимущественно в поездках на Тыняновские чтения в Резекне), с ним было легче всего. Здесь сразу же завязался у нас московский кухонный разговор заполночь — о том, как в нынешних условиях разваливается взаимопонимавшийся коллектив приблизительно 1945 г. рожд., основной батальон структурализма и семиотики (Тименчик, Левинтон, Жолковский итд., для меня же еще и ты, и Гиндин, и Настопкене, и Рабинович: я всегда вменял себе в заслугу, что не устарел для этих людей). У каждого, говорит, из-под научных интересов вдруг стали клубами вздымливаться интересы политические или идеологические, а то и религиозные, и каждого понесло

в отдельную сторону. Я об этом знал, уже весной тартуская газета «Alma mater» начала ретроспективную дискуссию о прошлом и настоящем «тартуско-московской школы», и я тоже написал заметку под заглавием «Взгляд из угла» — из стиховедческого[1]. Но я-то, правда, себя при этой школе чувствовал одиночкой, сидящим в углу, поэтому мне и теперь легче; а у всех остальных, кроме того, были дружбы, которые теперь натягиваются и рвутся. У тебя, мне кажется, положение было больше похоже на мое, — отличие свое от профессиональных философов ты чувствовала всегда и от умственного одиночества не отвыкала. Поэтому нам с тобой, вероятно, легче перенести эту идейную качку, опираясь на наш рационалистический балласт. Маршак, с которого мы когда-то начинали[2], с самых 1910-х гг. сделал ставку на классичность, понимая, что в декадентских завихрениях он не выдержит конкуренции, а классика, так или иначе, из моды не выйдет никогда. Точно так же и здравый смысл в науке. Кстати, когда мне приходилось упоминать твое имя в разговоре с любыми русскими филологами, они, не дожидаясь пояснений, сами вспоминали нашу статью о сонетах Шекспира: знаешь, это совсем не плохо. Попутно мне было рассказано, что Якобсон терпеть не мог Америку и — несомненно из-за подсознательного отталкивания — говорил по-английски только с фантастическим (на англо-американский слух) акцентом: видимо, не мог простить, что в 1940 главные американские слависты, которых никто не помнит, поклялись на долларе не впускать его в америк. славистику, — есть такая страшная клятва, — и он работал во Французском институте[3] с Леви-Строссом, пока старые Сепир и Боас не надавили своим авторитетом в его пользу[4]. Рвался в Россию совершенно искренне, но с ребяческим тщеславием хотел автоматически стать академиком, а здесь Виноградов был тверд: «только через мой труп». (Я сказал: какое законсервированное с 1916 г. было у Якобсона представление о русской Академии Наук!)

Мне прислали оттиск американской статьи о положении в России[5] — там было сказано, что термин «the perlod of stag-

nation» пустил в ход филолог Гаспаров в статье о Горации. Не помню там этого, но допускаю, потому что больно уж прост термин. <...>

Теперь остается пустяк: сидеть и работать. Какие-то пустяки для очистки совести я делаю, но только пустяки. Очень устал — наверное, просто от непривычного преподавания и от непрерывного книжного листания; а каково-то тебе? Сделай милость, когда получишь это письмо, обругай меня в ответ и напиши: «работай! Подумаешь, непривычное преподавание! А каково настоящим преподавателям, которые на полной неделе?» итд.

Где здесь почта, еще не знаю, но постараюсь завтра это письмо отправить. Спасибо тебе, родная, за письма: теплее стало жить. Крепко обнимаю тебя и целую. Если я успел понаписать глупостей в прошлых письмах, то прости.

Твой помощный зверь.

У Пастернака есть рифма (о «творчестве») Бетховена — любовь оно[6]. Мой итальянский корреспондент спрашивает: если возможно произношение и «любофь-оно» и «любовь-оно», то м.б., Пастернак учитывает здесь и два произношения имени: русское Бетховен и немецкое Бейтхофен? Я ответил, что даже в самых элитарных русских кругах произношение Бейтхофен, кажется, не было. А по твоим впечатлениям, насколько оно на слуху у русских профессионалов?

1 *Гаспаров М.Л.* Взгляд из угла // Московско-тартуская семиотическая школа: История. Воспоминания. Размышления / Сост. С.Ю. Неклюдов. М., 1998. С. 113–116.

2 Речь идет о моей первой курсовой работе на филфаке МГУ. См. с. 276.

3 École libre des Hautes Études в Нью-Йорке, где читали друг другу лекции Якобсон, Леви-Стросс, Адамар, Кассирер и другие ученые, философы, художники, находившиеся в эмиграции в США в 1940-е годы.

4 В основе истории о взаимоотношениях Р.О. Якобсона с американской университетской средой лежат реальные события, однако на каком-то этапе они подверглись искажению.

Якобсон, прибывший в США в июне 1941 г., действительно был встречен недружелюбно рядом американских лингвистов — не славистов! — и испытал определенные трудности с получением подходящего университетского места. М. Халле сообщает, что несколько ученых поставило свои подписи на долларовой купюре, которая была передана Якобсону с предложением использовать ее при оплате билета обратно в Европу (*Halle M.* The Bloomfield-Jakobson Correspondence, 1944-1946 // Language. 1988. Vol. 64. № 4. P. 738). Э. Сепир, труды которого оказали влияние на Якобсона, умер в феврале 1939 года, т.е. за два года до приезда Якобсона в Америку. Более вероятно содействие Ф. Боаса, более сорока лет руководившего кафедрой антропологии Колумбийского университета (вышел на пенсию в 1937 г., умер в декабре 1942-го). С осени 1943 г. Якобсон начал работать приглашенным профессором лингвистики в Колумбийском университете, а в 1946-м занял там пост профессора чехословацких штудий (Czechoslovak studies).

5 Имеется в виду статья: *Greenfield L.* Russian Nationalism as a Medium of Revolution: An Exercise in Historical Sociology // Qualitative Sociology. 1995. Vol. 18. № 2. P. 189-209.

6 «Разметав отвороты рубашки, / Волосато, как торс у Бетховена, / Накрывает ладонью, как шашки, / Сон и совесть, и ночь, и любовь оно» («Определение творчества», 1917).

А16
[26 декабря 1992 года, Лос-Анджелес, от руки]

26.12.92

Племянница, привет тебе по возвращении из Сиэтла. Сколько часов разницы между Лос-Анджелесом и Парижем, не знаю, прикину наудачу и в новогодний час заочно обниму тебя и пожелаю всего самого хорошего. Здесь в последнюю декабрьскую неделю кафедра не работает, поэтому если там и лежат твои письма, то я получу их только после Нового года, тогда и напишу следующее письмо. Видел я здешнюю русскую газету, там большая статья о французской программе «Пушкин»[1], где перечисляется и финансируемый Лапланш. О Москве ни в газетах ничего хорошего нет, ни по телефон-

ным Алиным оговоркам не чувствуется. Давай держаться и трудолюбиво зарабатывать нашими отхожими промыслами. В последнюю неделю ободрял я Марину Тарлинскую. На людях она держится образцово, видом куда моложавее наших сверстниц из восточного полушария, но замучена постоянным напряжением и вроде бы даже ростом стала ниже. Матери ее сильно за восемьдесят (но дает уроки и помогает при местном музее), мужа своего в его семьдесят она вытащила из рака и держит на ногах диетой и, три раза в день, промываниями фруктовым соком (от этого она еще больше прикована к глухому Сиэтлу), и не может не думать, что в обозримом будущем останется одна. Вслух об этом, конечно, не говорит, но меня заклинала почти без разума: «просись всюду на долгосрочную работу, говори, что и по-английски читать можешь, я тебе любые лекции переведу!» Жалко ее. Вслух, конечно, она позволяет себе жаловаться только на научное одиночество, и правда, она автор единственных на свете научных книг об английском стихе (одна сухая, другая увлекательная), но их никто не читает, потому что в моде не факты, а красивые концепции. Сейчас она была в расстройстве оттого, что появился молодой энергичный сочинитель «автономной теории метра», книга, статьи за статьями, и тоже не хочет ее понимать[2]. Я, чтобы ободрить ее, за день прочитал пару его статей и за другой написал полемическое отмежевание от них, она перевела, немного дополнила и послала в журнал, где идет его очередная статья, подписав двумя именами[3]. <...> Сиэтлской внезапной совместной статьей я воспользовался, чтобы сразу по инерции начать собственную (о Маяковском, которая пойдет докладом пополам с Подгаецкой на парижскую конференцию), и написал, хоть не больно хорошо, половину; если не размагничусь здесь на приволье в пустой квартире Иванова, то постараюсь за пустые предновогодние дни дописать ее и начать следующую, тогда хоть совесть не так будет грызть за бесплодность. Знаешь, есть надежда новый год здесь встретить в одиночку, потому что все знакомые разъехались: такое счастье!

В записной книжке у меня раскрылись выписки из Ремизова — первое, что мне попалось в Стэнфордской библио-

теке. «Еще в Петербурге я спросил К. <это автобиографический герой>, как он к человеку относится. Ничему не удивляюсь, — ответил К., — жду от всякого самой последней подлости, но верю в добро. Такая у меня повадка»[4].

Обнимаю тебя и целую в усталый лоб, хорошая моя.

Твой помощный зверь.

1 Программа финансовой помощи изданиям научной литературы в переводе с французского языка па русский, работает с начала 1990-х годов при Посольстве Франции в России.

2 Имеется в виду Ричард Кюртоп. Ср. письмо П7.

3 Статья в печати не появилась.

4 Цитата из книги-коллажа А.М. Ремизова «Учитель музыки» (часть вторая, глава «Буйволовы рога», раздел «Китайский повар»).

А17
[7 января 1993 года, Лос-Анджелес, от руки]

7.1.93

Племянница, родная, вот и дошли до тебя мои письма, и от тебя пришло двойное, длинное-длинное. Я смотрелся в него как в зеркало: как хорошо быть одному, не выходить из комнаты и пр. Вот только здоровье у тебя хуже: астма бродит, и сердце болит, и бессонницы. У меня тоже сон разлаживается и ангуассы бывают, но куда как легче. (Только позвоночник устает от долгого стояния, хождения или сидения.) Давай постараемся хотя бы сохранить здоровье: ведь когда вернемся, ты же представляешь, как оно вихрем будет тратиться!

Как мне самому, оказывается, нужно полное одиночество, я убедился в этот двухнедельный новогодний промежуток: из Лос-Анджелеса все знакомые разъехались, все библиотеки закрылись, несколько дней я сидел, не выходя на улицу, новый год встретил один за столом и в кои веки чувствовал себя человеком. За две недели, начиная с Сиэтла, написал две статьи, одну в лист, другую в полтора. Правда, написал так,

что нужно переписывать обе заново, хотя бы для кратких докладов и публикаций, но все равно удивляюсь на себя. <…> Теперь мне надо написать еще лист, компиляцию из самого себя для Эткинда, и минимум-миниморум будет выполнен. Если останется время, то буду не науку делать, а приводить в порядок записные книжки за 15 лет. Мария-Луиза Ботт уже два года требует, чтобы писал мемуары. Я ей послал, наконец, описание нескольких случаев из своей (главным образом, научной) жизни и попытку перечня детских впечатлений из военных лет. Она неожиданно похвалила. Давалось мне это трудно. Заметил, например, что все мои воспоминания, кроме единичных, — бескрасочные, под серым небом. И что когда хочу описать человека, то говорю: длинный, узкий, квадратный, как шар на шаре и пр., как будто живу в кубистической картине. <…>

Прости, племянница, что я сразу сполз на самого себя, и даже с абзацев сбился. Это я пользуюсь эпистолярной дальностью: когда мы вместе, то я ведь сразу переключаюсь на тебя и говорю только о твоих заботах. Я подумал: а ведь я, кажется, даже не показывал тебе мои ответы на салонную французскую анкету, которую мне два года назад с некоторым смущением предложила Ботт («…Марсель Пруст заполнял ее два раза»). А она, мне кажется, говорит обо мне больше, чем мне бы самому хотелось. Переписываю ее на обороте — прости, если я ошибся и ты ее помнишь. Если захочется, напиши мне свои ответы[1].

<…>

Когда я здесь включаю телевизор, то замечаю, что у медленно говорящих понимаю почти все. Языковой барьер вокруг меня городит не столько моя бездарность, сколько мое представление о своем месте. Я загранице не нужен: если был бы нужен — звали бы. И она мне не нужна: мне нужно только спрятаться взаперть, а для этого здесь удобств не больше, чем в отечестве. Ты любишь Париж, и я за тебя всем сердцем рад, но мне ведь все места одинаково непонятны. Значит, пусть едут те, кому это душевно нужнее. Я всю жизнь прожил с ощущением, что людям я только в тягость; но здесь

(в России) к такому мне хотя бы привыкли, а зачем я там? Ты не думай, я при всех удобных случаях пишу заграничным знакомым «не нужен ли вам визитинг-профессор? Могу читать лекции практически о любом куске русской поэзии», — но про себя знаю, что совершенно не нужен, а если с этим не соглашаются, то только из любезности.

У меня была в последней здешней статье маленькая научная радость, но все-таки у меня хватает трезвости понимать, что все, что я сейчас могу сделать, могут (после меня) сделать и другие. Точно так же, как и ты о себе это понимаешь. Когда я думаю о том, чтобы себя встряхнуть, то думаю не о науке, а о переводах. Вот вернусь, спрячусь в больницу и буду переводить «Роман о Розе» силлабическим стихом.

Жаль, что пропало письмо с фантазиями по поводу исторических причин возникновения психоанализа. Приблизительный смысл был такой. Психоанализ — это реабилитация пола как самостоятельной силы или ценности. (Каким бы викторианцем ни был лично Фрейд.) Это значит: во-первых, человечество выстояло в борьбе с природой, избежало опасности вымереть, секс перестал быть только средством к размножению и впервые смог стать самоцелью. А во-вторых, эту победу над природой человечество одержало только организацией, разделением труда, то есть утратой самообеспечения для отдельного человека, утратой удовольствия от собственного труда — тем, что тяжело называется «отчуждением». Единственным трудом, который мог давать человеку немедленное удовлетворение, оставался постельный труд. Его и постарались освободить для человечества (как отдушину) теоретически Фрейд, а практически хиппи. Эта революция в этике любви (а за нею начинается еще более трудная революция в этике смерти) — прямое следствие той победы общества над природой, которая состоялась к концу XVIII в. и после которой весь XIX век пошел на осознание того, что общественная машина, доставившая эту победу, стала после нее невротически тяжела и нуждается в перестройке — но в какой? Тут среди других пророков XX в. и пришел Фрейд. Если непонятно или глупо пишу — переспроси, пожалуйста.

Про «во-первых...» писали часто (хотя больше подразумевали), а про «во-вторых» — мало, понятия «постельный труд» в этом социальном смысле я не встречал: видимо, нащупал его в собственном жизненном опыте.

<...> Кажется, письмо получилось невеселое, но ты не думай, я все время помню, как мне вот здесь и сейчас хорошо: запертой гостиничный номер, полночь, за окном дождь, до лекций еще три дня, и я пишу тебе письмо.

Твой помощный зверь.

Анкета.

Что для вас самое большое несчастье? — Сделать подлость.
Где вам хочется жить? — Взаперти.
Совершенное земное счастье? — Делать свое дело.
Какие недостатки вы извиняете скорее всего? — Беззлобные.
Любимые герои в романах? — Князь Мышкин.
Любимая фигура в истории? — Сократ.
Любимые героини в действительности? — Не встречал.
... в книгах? — Тоже.
Любимый художник? — Рембрандт и Мондриан.
Любимый композитор? — Нет.
Какие свойства вы цените в мужчине? — Ясность ума.
... в женщине? — Твердость сердца (можно и наоборот).
Любимая добродетель? — Нет.
Любимое занятие? — Книги.
Кем или чем Вам хотелось бы быть? — Человеком.
Главная черта Вашего характера? — Робость.
Что Вы цените в Ваших друзьях? — Непохожесть на меня.
Ваш главный недостаток? — Бесчувственность.
Ваша мечта о счастье? — Отдых в могиле.
Любимый цвет: — Синий.
... цветок? — Нет.
... птица? — Королек, der Zaunkönig.
... писатель? — Пушкин.
... лирик? — Верлен.
Ваши герои в действительности? — Не встречал.

Ваши героини в истории? — Оставшиеся неизвестными.
Ваши любимые имена? — Constantia.
Что Вы презираете больше всего? — Ничего.
Какие исторические фигуры Вы презираете б.<ольше> всего? — Никого.
Какие военные достижения Вы уважаете б.<ольше> всего? — Того генерала, которому поставили памятник за то, что он не пролил ничьей крови.
Какие реформы Вы уважаете б.<ольше> всего? — Нужные.
Каким естественным даром Вам хотелось бы обладать? — Добротой.
Как Вам хочется умереть? — Вовремя.
Ваше теперешнее расположение духа? — Усталость.
Ваш девиз? — Лицевой: Non ignare mali, miseris succurrere disco; оборотный: возьми все и отстань.

P.S. На что, по-Вашему, больше всего похожа эта анкета? — На разговор Панурга с Фредоном. Этот вопрос и ответ я приписал сам. Ботт не поняла: у них в немецкой славистике Рабле не проходили.

1 См.: Новое литературное обозрение. 2006. № 77. С. 171–173.

А18
[23 января 1993 года, Лос-Анджелес, от руки]

23.1.93

Племянница, бедная, я получил сразу три твоих предновогодних письма — парижский штемпель на них 4.1., стало быть, пять дней они лежали на почте и две с лишним недели летели. Мое письмо тоже, видно, будет идти непонятно долго и придет к тебе, я уверен, когда и болезни твои и душевные мучения уже, пусть не совсем, отодвинутся в прошлое. Отвечаю тебе из этого прошлого, прости, что так запоздало.

Когда мы планировали, что и сколько и когда нужно сделать в Париже, оба мы про себя думали, что по расчетам этим ничто гладко не сбудется и что вмешается какая-нибудь болезнь или непредвиденная забота. Но не говорили об этом, потому что всего не предусмотришь, а думать об этом наугад — это только возбуждать в себе умную Эльзу[1]. Так ведь? Несчастье свалилось — что ж, оно не первое; свалилось не вовремя — так несчастий вовремя не бывает: значит, надо пережить и плестись дальше. Самое главное: не думай, что же из этого будет и как же дальше будет. Никто с тебя не спросит невозможного — например, всечеловеческого счастья или царь-квартиры для одной Оли среди всечеловеческого несчастья. С тебя спросят (то есть ты сама спросишь) только одно: в полную ли силу ты делала то, что ты могла делать? И ты ответишь: в полную.

У болезни твоей три причины. О самой очевидной ты сама мимоходом пишешь: переутомилась, отрываясь от словаря и сочиняя статьи. Очень хорошо понимаю: это значит, что мы рассчитываем свои силы такими, какими мы их помним, а они уже слабеют. Рассчитывать их с упреждением на слабость очень трудно, я и сам этому никак не могу научиться. Давай учиться вместе: всё равно вполне не научимся, но хоть укоротим разрыв между мнимым и действительным. Когда меня просят о невозможном, а мне совестно говорить «нет» и хочется надеяться на чудо, то я напоминаю себе, что когда чуда не произойдет, то подводить понадеявшихся на меня и говорить им «извините, не смог» будет еще совестнее. Иногда помогает, хотя и редко. Попробуй остаток парижского времени понаблюдать над своими физическими силами — записывай, что ли, по строчке в день «утро — двойка, день — тройка, вечер — тройка с минусом». За пятерку считай «сделала все предположенное» и отмечай двумя словами, в чем была работа: перевод, разговоры, поездки и пр. Может быть, за два месяца немного накопится представления о твоих теперешних силах, и легче будет ими разумно располагать. В Москве такие наблюдения будут совершенно невозможны, поэтому

не откладывай. Помни: это только о физическом самочувствии! Душевное отложим, это другая статья.

Вторая причина — та, о которой ты совсем не пишешь. Тебе в глубине души не хочется и страшно работать над словарем[2]. Это причина не главная, но ею можно воспользоваться, чтобы бороться с болезнью: напоминать себе: «врешь, притворяешься, это ты уходишь в болезнь от нежелания работать; не хочешь работать — так и скажи, и не работай, сколько духу хватит, а болезни на себя не накликивай». Попробуй. А почему тебе бессознательно страшно работать над словарем, — мне кажется вот что. Ты не знаешь предмета на том уровне, на каком этого требует словарь, — не знаешь той традиционной учебничной психиатрии, над которой надстраивается практический психоанализ, а над ним философствующий психоанализ. Это все равно, что быть специалистом по философии языка, а переводить книгу, написанную на материале турецкого языка, которого ты не знаешь. Ничего страшного в этом нет, все мы так работаем, и кончается это тем, что таки выучиваешь турецкий язык в той мере, в какой тебе надо. Но попутных угрызений совести, мешающих работе, бывает очень много. Постарайся, чтобы все это происходило в тебе сознательно, и будет легче. Ты много знаешь (не меньше, чем я и любой другой добросовестный ученый — конечно, каждый в своей группе областей), и прибавить к своим знаниям еще одну смежную полуколонизованную область тебе по силам. Другое дело: не слишком ли много таких смежных полуколонизуемых областей и как их удержать сознанием в подчинении? Вот французы тебе предлагают специализироваться по советской психологии — и это нужно сделать, потому что для того, чтобы удержаться во Франции, ничего не жалко, — хотя предмет этот тебе и неинтересен. Вот в Америке намечается слабый шанс занять место по филологии — и эту специализацию тоже нужно освоить, хотя ты от нее отвыкла, и душа к ней не лежит. Ты знаешь, пытаясь разобраться в твоем умственном хозяйстве, я вспомнил твой путь: музыка — филология — философия — и нынешняя твоя область на стыке нескольких наук,

которую уже и философией не назовешь. И о каждой на допросе ты скажешь, что в конечном счете не совсем к этому лежит душа. Кроме самой первой — музыки. Ее ты любишь безоговорочно и душевное облегчение испытываешь только от нее. Давай попробуем на нее опереться? Все разные науки, которыми ты занималась и занимаешься, имеют в конечном счете один предмет: культуру. Это понятие большое и страшное, я до сих пор не научился его охватывать взглядом в целом, а без этого уже трудно заниматься частностями. Я его стараюсь охватить через стили эпох, а их через поэзию (что общего между Вергилием и стоиками, Корнелем и Декартом, Пастернаком и Бергсоном?) Для тебя естественно подбираться к ним через музыку. Попробуй в каждой области, которую тебе приходится знать, больше всего смотреть на ту границу, которой она смыкается с музыкой: той, которую ты любишь и которую ты не любишь (и потому хуже знаешь и пр.). Разумеется, не обязывая себя ничего об этом писать. Вдруг получится? Ты понимаешь, что я об этом говорю очень наугад, а я и сам в себе не разобрался, просто думаю о том, в каком направлении надо разбираться. А тренировка в этом разбирании у нас одна и та же: «какими упрощенными словами я расскажу свой сложный научный предмет моим детям?» Умоляю, не бойся упрощать. Усложнением и темными обиняками от невыразимого пусть занимаются молодые. Или имитирующие молодость шарлатаны. Мы с тобой уже в том возрасте, когда нам нужна простота, и без нее трудно.

Третья причина болезни — та, о которой ты пишешь больше всего: это выходит боль по X. А перед этим, ты помнишь, была полоса, когда она отступила и не мучила. И после этого будет спокойная полоса, и тоже широкая. Наверное, такие приступы неминуемы, и их только нужно каждый раз перетерпеть. А перетерпливать так же, как болезнь: не думать о том, как же я дальше жить буду и насколько легче мне было в прошлом. Совсем не было тебе легче, и я помню случаи, когда ты так же мученически мучилась. Кажется, во всех конечных счетах — от ревности. Боюсь, что и сейчас ревность в тебе работает больше, чем это кажется сознанию. Не надо,

родная, это нехорошее чувство. На самом деле просто так устроен мир: никто из нас не нужен тому, кому хотелось бы. Помнишь, чем наводил себе душевный порядок Гораций? «Ты меня мучишь, Гликера, своей безответностью; но погоди, тебя вот так же будет мучить Дафнис, в которого ты влюбишься, а его Хлоя, а ее Меналк, а его Лидия» итд., до бесконечности или до возврата к началу, — «а в меня безответно влюбится такая-то». Наверное, это нужно просто для того, чтобы человеческий мир существовал как целое, а не распался на взаимовлюбленные пары, которые бы, ни о ком и чем другом не думая, залюбили бы друг друга до телесного изнеможения и голодной смерти: цель Шопенгауэра средствами Рабле. Прости, что получилась дурная шутка. Но одиночество — наше нормальное состояние, это, к сожалению, не шутка. <...> Я думал: может быть, тебе опять начать писать ему письма? Односторонние, без ответов, просто чтобы выговариваться и ощущать контакт, а потом эта потребность выписалась бы, ослабела и отпала. Но это можно только в совершенной уверенности, что ответных писем не будет, чтобы это не превратилось в выманивание ответов и в горе, когда это выманивание не удастся. Я из Америки примерно раз в две недели писал письма Подгаецкой — разумеется, только делового и научного содержания, как и разговоры наши, — чтобы только ощущать односторонний контакт (помнишь, я тебе сказал: мы с ней друг для друга — опорные столбы: друг на друга не опираемся не только потому, что далеко стоим, но и потому, что каждый привык не сам опираться, а других опирать; но оглянешься друг на друга — и легче). <...>

Прости, родная, что я так многословно чужую беду руками развожу. Брось, если это тебе уже не нужно. <...> Постарайся сосредоточиться на ощущениях «здесь и теперь», и пусть Париж тебе поможет. Не дописываю письмо и тем более не перечитываю: бегу бросить в ящик, чтобы поскорее дошло, а то сегодня здесь суббота, иначе оно залежится до понедельника. <...>

Твой помощный зверь.

Умер Тарановский: вместе с этим опускаю и письмо его вдове. Ты написала на Новый год 61 письмо (а я ни одного): до чего тебе трудно одной!

1 Эльза — героиня одноименной сказки из сборника братьев Гримм.
2 Речь идет о работе над тем же «Словарем по психоанализу» Лапланша и Понталиса (в 1996 г. вышел в издательстве «Высшая школа», сейчас готовится к печати новое, дополненное издание).

A19
[1 марта 1993 года, Принстон, от руки]

1.3.93 (без начала)

...о деньгах или об удовольствии от убийства табуируются, в другой — культивируются (об убийствах — на войне или в декадентской литературе, авторы которой сами побоялись бы убить и мышь). И так далее; история культуры перетасовывает эти области по-разному, как история литературы у Шкловского и Тынянова перетасовывала высокие и низовые жанры. Теперь понимаю, почему я не люблю Юнга, который объявляет вечной и всеобщей ту систему бессознательного, которой он современник. А называть ли такой психологический тип, как, например, у меня — накопительский, — анальным по Фрейду или скряжническим по Фромму, не все ли равно? Главное — четче и логичнее систематизировать эти типы. (Это я уже думаю о твоем Лапланше, для которого Фромм не существует.)

А заграничные публикации, конечно, вырабатывай в первую очередь: без них никуда. Даже в ущерб переводу. Но постарайся — хотя бы предпоследний месяц — себе очистить для сосредоточенного сидения над переводом, чтобы этим успокоить совесть. А там — сколько успеешь, столько успеешь. Я сказал: на предпоследний, — потому что на последний все равно скопятся и свалятся все неожиданности и помешают работе.

Ну вот. А душевное наше хозяйство, — конечно, горе горькое, и ничего о нем не скажешь, кроме малоутешительного: у всех ведь так. Счастливых старостей в XX веке не бывает: сверстники расходятся (потому что дорог стало больше), а дети отшатываются (потому что время стало меняться быстрее). Чудесные исключения бывают, но это исключения. Нам остается, во-первых, оглядываться в прошлое и благодарить бога за то, что в нем что-то было. А стало быть, теперь мы платим за то, что было. <...>

Когда я говорю, что есть люди, которые к нам с тобой хорошо относятся, я с удивлением думаю о нынешней своей кончающейся командировке. С малознакомыми и новознакомыми людьми вдруг получались очень хорошие разговоры: старенькая преподавательница (моложе меня на два года), устроившая мне визит в Блумингтон[1], разговаривала со мной так, что на прощание мы обнялись и я ее по головке погладил, а главный заграничный мандельштамовед Омри Ронен (венгерский еврей из Одессы), знаменитый на весь мир скверным характером, смотрел на меня прямо-таки влюбленными глазами и уверял, что от моего доклада об антиномичности русского модернизма даже у мерзавцев светлели лица. Я понимаю, что это только до скорого разочарования, но все-таки от этого веселей. Я не знаю, как ты разговариваешь с людьми и как люди с тобой, но мы ведь во стольком похожи, что и здесь, я думаю, ты должна возбуждать похожие чувства. Ну, а заслуживаем (не заслуживаем) мы их в одинаковой степени: настолько-то мы друг друга знаем. Это два мои положительные впечатления от поездки: во-первых, видимо, научился хоть как-то говорить с людьми, не обижая их, а во-вторых, убедился, что мои сообщения могут еще быть интересны и студентам, и преподавателям.

А всё остальное грустно. Когда я кончу это письмо, то буду писать следующее в Германию моей цветаевской знакомой журналистке. Когда-то она мне процитировала фразу Кафки: «каждый человек — это прекрасный сон для других и страшная явь для себя»[2]. Вот и я сейчас возвращаюсь оттуда, где я был прекрасным сном для других, туда, где я страш-

ная явь для себя. Ничего нового в этой яви я не открыл, но и старого довольно. Помнишь, в том автобиографическом реестре, который я тебе показывал, значилось: было три детских желания — быть сильным, быть красивым, быть умным; в первом я сразу отчаялся, второе оставил под вопросом, на третьем сосредоточился; на первом пришлось поставить крест с самого начала, на втором — в середине жизни, на твоей живой памяти, на третьем — вот сейчас, в последние годы. После этого нужно помирать, и очень хочется, но приходится жить, притворяться работающим, чтобы кормить-поить ближних. Я — машина для думанья, износившаяся и морально устарелая; на легкие поделки еще способен, но на то, чего от меня ждут, — нет. Когда машина для думанья вышла из строя, а никакого другого отношения к жизни у меня нет, то невольно возникает мысль: а может быть, это я напрасно так односторонне себя обрабатывал, может быть, лучше было бы учиться и различать краски, и сколачивать полки <...>? Но понимаешь: нет, ничуть бы не было лучше. В начале письма я написал: плакать хочется; нет, неправда, не хочется, глаза сухие и ум сухой. Иногда бывает, что хочется, чтобы меня пожалели, послушали, по головке погладили. Но тут же вспоминаешь: нечего, другим живется еще того похуже: ступай лучше сам жалеть других.

Ты меня, племянница, тоже не жалей: не твоя это специальность. Отношения у нас асимметричные: это я тебя жалею, а когда вижу, что тебе от этого легче, то радуюсь, что хоть кому-то чем-то умею помочь. Пусть хоть так. Поэтому давай, родная, на прощанье еще раз напомним себе: не будем гневить бога жалобами на горькие свои доли, а будем жить хваляще и благодаряще его, что он хоть нас оставил друг другу и не дал тебе оравнодушнеть, а мне озлобиться вконец. Я хоть и пишу, что жалости от тебя не вижу и не хочу, а все-таки вот такое письмо мне больше написать на свете не к кому <...>.

Твой помощный зверь.

P.S. Родная моя, вдруг — сюрприз: привет тебе от твоей старой знакомой Лены Алексеевой, у которой я живу на последней моей остановке, в Принстоне. Я знал, что меня ждет чело-

век с таким именем, занимающаяся мандельштамовским архивом, который здесь хранится, но совсем не ждал, что это она самая и есть. Худая, болезненная (год была неработоспособна оттого, что ее укусил какой-то здешний клещ), детям 7 и 10 лет, муж[3] очень приятный и добрый, но явно требующий внимания; нервы натянутые. В голосе иногда слезы, но владеет собой; архив разбирает добросовестно, бесплатно и самоотверженно, очень устает, но торопится, потому что через несколько лет муж ее явно снимается и покинет Принстон, а она за ним. Я заочно, по письмам боялся ее строгих интонаций и мандельштамовской компетентности, но случилось чудо: при всей ее закрытости и моей закрытости, общий язык нашелся, и разговоры получаются такие человеческие, что мне все еще непривычно. Вот и еще одним хорошим человеком в жизни больше; смешно, что за этим пришлось ехать в Америку. Очень хорошо говорила о тебе, я тоже. Кажется, она хочет что-то послать тебе с этим моим письмом. Если захочешь ей написать (это я от себя говорю), то адрес: E. Alexeeva, 330 South Olden Lane, Princeton NY- 08540. Я ей рассказал про тебя, что мог. Возвращение мое все ближе, на душе все хуже.

Твой М.

1 Н.М. Перлина.
2 Письмо М.-Л. Ботт от 5 марта 1986 г. (Новое литературное обозрение. 2006. № 77. С. 148).
3 Пьер Делинь, один из ведущих математиков современности, с 1984 г. — пожизненный приглашенный профессор в Принстоне.

A20
[18–25 марта 1993 года, Москва, от руки]

18.3. — 25.3.93

Племянница, родная, письмо твое, которое оказия должна была опустить в Москве 6 марта, дошло до меня 17-го: я не посмотрел на штемпель и не знаю, где было опоздание. К этому времени ты уже позвонила мне и сказала, что всё ничего,

что критическое положение твоих сомнений миновало. Но, наверное, накатят новые волны сомнений, поэтому давай подумаем, как нам вообще понимать себя и свое поведение в нынешней неустойчивой жизни. Говорю «нам», потому что ты сама пишешь: речь идет о качествах, свойственных нам обоим. И мне так кажется.

Главное наше общее качество, ты права, — пассивность, «я стараюсь ничего не выбирать, и пусть будет так, как само собой получится» (Вариант: «...а предоставляю выбирать за меня другим», это неверно: с выборами других, каждого порознь, ты умеешь соглашаться или не соглашаться, а безличную равнодействующую этих выборов, «стечение обстоятельств», действительно, принимаешь без спора). Но не забудь: ты очень хорошо представляешь ядро своих интересов, «рациональное в совр. культуре», и представляешь, чего ты избегаешь, напр., религиозности или неопозитивизма (любопытно, как объединяются эти несхожие вещи). Этого и достаточно. А между этими крайностями у каждого лежит широкое нейтральное поле, в котором любопытство толкает нас схватиться за тему, а здравый смысл говорит: не справишься. Это у всех, поэтому не угрызай себя за нерешительность; я тоже, как ты знаешь, не умею говорить «нет» подворачивающимся заботам. Не жалей, что ты не противопоставляла стечениям обстоятельств свой путь напролом. <...>

Конкретнее, сейчас ты мучишься: может быть, лучше бы руководствоваться не своими научными интересами, а личными отношениями, выгодными для устройства в жизни. У Грибоедова было противопоставление «Кто служит делу, а не лицам»[1]. Мне кажется, что служить лицам — это особый талант, и у нас с тобой его нет. Здесь тоже контрастный пример перед глазами: Ира Шталь (она часто смотрела на меня, как на сумасшедшего, но недоуменнее всего — когда я сказал: «а не все ли равно, кто высказал мысль?»). Согласись, мы на нее не похожи. Обращаясь с людьми, мы стараемся угодить каждому, расхождения их взглядов кажутся нам несущественными, а потом они оказываются почему-то непримиримы: связавшись с одним, приходится ссориться

с другим, а нам это неприятно. Мне удавалось избегать таких неприятностей (до поры до времени) только потому, что я очень уж демонстративно «служил делу» и казался нелицеприятен, поэтому минимум две пары взаимоневыносящих филологов сохраняют со мной хорошие отношения с обеих сторон (конечно, это — пока не включается материальная заинтересованность, трудоустройство и пр.). Вспомни: твоя собственная карьера, достаточно удачная, и в Москве и в допущении до заграничного пирога, держалась не на лицах, а наоборот, на независимости от лиц: это значило, что ты — безвредная. (За что меня выбрали в академики? За безвредность.) Право, это не худший двигатель.

Конечно, ты к своему душевному складу не прикована: если захочешь — можешь перестроиться, сосредоточиться на обходительности с выгодными лицами, научиться дипломатии и в конце концов добиться своего. Но вряд ли это стоит свеч. Сравняться с природными талантами в этом деле ты всё равно не сможешь, а труда и времени уйдет непомерно много. Это потому, что выработка таких качеств требует полной перестройки своего стереотипа: бросить всё и предпочесть привычному лучшее. Для этого мы с тобой слишком инерционны <...>. Ты пишешь «признать свои внутренние трудности непреодолимыми...» — это неточно, все преодолимо, даже я одолел бы и иностранные языки, если бы весь на этом сосредоточился и пожертвовал бы всем остальным, — но я этого не сделал, потому что предпочел привычное мучение непривычному. Думаю, что тебе не стоит пытаться: если бы ты могла, то начала бы давно.

<...>

Прости, что я морализирую (или аморализирую) так нудно. Мне очень хочется надеяться, что кризис миновал и эти рассуждения тебе уже не нужны. А если еще нужны, то главная их цель — чтобы ты не мучила себя угрызениями, попрежнему полагалась на стечения обстоятельств, по-прежнему хваталась за всякий подворачивающийся жизненный случай, приемлемый для тебя, но хваталась бы не судорожно, а в ясном сознании: «если придется, то отпущу!» Поверь,

жизненных случаев на наш век хватит, а самая полная формулировка античной жизненной мудрости — не у философов, а в басне Федра: «И радости и горя в жизни поровну». Именно оттого, что поровну, мы и оцениваем жизнь по настроению: то «ах, на целую половину хорошо!», то «ох, на целую половину плохо!» Постарайся только об одном: давать себе ясный отчет, какие предпочтения сейчас для тебя стоят на первом месте, какие на втором итд. Обычно ты это умеешь; а сейчас, мне иногда кажется, даже знакомство с психоанализом помогает тебе иногда разбираться в себе. Ты умная: пожалуйста, не забывай это.

А что ты в болезнь уходишь не от словаря, а от людей и служб — я это еще лучше понимаю.

<…>

Мне хотелось еще посоветовать: постарайся в научных разговорах не очень стилизоваться под собеседников, пусть они не чувствуют тебя стопроцентной единомышленницей. Но не решаюсь, боюсь, что я сам слишком стилизуюсь. Мне жалко, что я плохо понимаю склоки внутри французского психоанализа, а потому и твое между ними положение. Были бы мы рядом, поговорили бы — может быть, я наводящими переспросами помог бы тебе разобраться в собственных взглядах. Мне тоже нужно разбираться в своих взглядах, а попереспрашивать меня некому. Ощущение, будто я не успеваю переваривать умственную пищу, которую глотаю; думаю: «вот дали бы мне хоть полгода — ничего не писать, а только понимать» — да кто же даст? Звонила мне Нина Брагинская — делилась такими же чувствами.

<…>

В Москве все плохо, хотя и не так невообразимо, как кажется из-за границы. Я боялся, что через полгода вернусь в совсем другую страну — но нет, все перемены к худшему — в пределах предсказываемого, история не так уж далеко убежала вперед. («Так ли? — спросил Смирин. — Может быть, она убежала и далеко, но по очень однообразной местности»). Академические институты борются за выживание. Дома у меня — тоже все в пределах предсказуемого. «Занима-

тельная Греция» не вышла и во втором издательстве, передается в третье. Жена кончила большую повесть (по документам) о послевоенной жизни, кажется — неплохо; конечно, в стол. <...> Я — в привычном параличе, сижу в углу и жду, к какому ответу меня призовут; могу делать только механическую работу, от которой легко отрываться, — к счастью, пока есть что считать, а как писать о Мандельштаме — не знаю.

Конференция по Маяковскому в Париже будет 16–19 июня, но приглашение я еще не получил: ...ну вот, в промежутке между двумя предложениями этого письма мне позвонили, что приглашение пришло. Но с 23 июня будет другая конференция на ту же тему, но в Америке[2], и на нее мне сейчас уже берут билеты из Москвы. Если получится слетать в Париж и обратно, а на следующий день в Америку — хорошо. Если нет — не знаю, что делать; согласовывать так, чтобы лететь в Париж, а потом из Парижа в Нью-Йорк, было бы всего разумнее, но именно поэтому, боюсь, нереально. Буду стараться, в надежде, что ты в это время еще будешь в Париже, и можно будет увидеться по-человечески. А отправку этого письма я задержу еще на несколько дней, пока не увижу приглашения своими глазами. Прости.

В Америке я опять задержусь: после конференции участникам предлагают остаться на 3–4 недели и провести семинары по любым темам с участниками этой «Норвичской русской школы» (в Вермонте)[3]. Я хочу воспользоваться этим, чтобы еще на неделю съездить в Принстон в мандельштамовский архив; а Тарлинская, наверное, воспользуется этим, чтобы выписать меня за ее счет в Сиэтл, сочинять совместно научно-популярную книжку по английскому стиховедению. Во всяком случае, июль я буду, по-видимому, в отлучке, вернусь не позднее середины августа — кончится виза. До смерти обидное разминование: ты сюда, а я туда. Утешаюсь только тем, что хоть осенью я буду на месте в Москве: поездка в Италию вроде бы отменилась, тамошнее министерство просвещения слишком поздно дало санкцию на мой приезд, и фактически использовать ее уже нельзя. Я не жалею (разве что о заработке от лекций): для моей слепоты Италия слиш-

ком непомерная роскошь. Но мой переводчик и заботник[4] чувствует себя виноватым и будет стараться устроить мой приезд по другим каналам (вероятно, через издательство, которое в апреле выпускает мою книжку с его послесловием[5]) — то есть неизвестно в какой момент. Все это, конечно, очень и очень условно, потому что в промежутке между двумя продолжениями этого письма случилась и политика, вчера Ельцин объявил войну парламенту, и когда ты получишь это письмо, то результаты уже будут (скорее всего грустные), а сейчас все висит в воздухе, и очень плохо.

<...>

Целую тебя и люблю. Твой Помзверь.

1 «Горе от ума», действие 2, явление 2, Чацкий.

2 Речь идет о конференции в «Русской школе» Норвичского университета, шт. Вермонт.

3 Норвичская «Русская школа» («Russian School»), центр интенсивного обучения русскому языку, основанная в 1958 г. и просуществовавшая до 2000-го, была известна как своей богатой культурной программой, так и связями с русской эмиграцией. Во время своего проживания в США «Русскую школу» навещал А.И. Солженицын. В 1990-е годы под руководством Е.Г. Эткинда там прошло несколько научных конференций; некоторые материалы опубликованы в серии «Норвичские симпозиумы по русской литературе и культуре».

4 С. Гардзонио.

5 *Gasparov M.L.* Storia del verso europeo / Ed. it. a cura di Stefano Garzonio. Bologna: Il Mulino, 1993.

A21
[27 апреля 1993 года, Москва, машинопись]

27.4.93

Племянница, родная, Аверинцев (много промедлив) передал мне твое старое письмо с комментарием. Знаешь, чему я радуюсь? Мне кажется, что в твоей долгой стажировке ты лучше стала работать, больше стала находить вкус в своем деле, чем в Москве. Здесь тебе не давали сосредоточиться домашние дела и мешала необходимость приноравливаться

к таким-то установкам начальства и коллег. Наверное, и во Франции тоже, но я обращаю внимание: ты жалуешься на то, что трудно, но не жалуешься на то, что неприятно. Может быть, это просто расстояние сглаживает обертоны, но мне нравится уже то, что ты тратишь письменное время и бумагу не на научные, а на сердечные жалобы. Впечатление такое, как будто в первый раз за много лет ты имеешь возможность по-человечески (в меру, если не потребности, то способности) работать, — да так оно, кажется, и есть. Конечно, тебя разрывают лекции и словарь, конечно, тебе и там приходится приноравливаться к птичьему языку научного окружения; конечно, если бы я мог прислушаться и разобраться в твоих суждениях, то, наверное, горевал бы о том, что для меня они вряд ли все приемлемы. Но все равно, давай не забывать и за это благодарить бога.

Ты научилась везти свой воз по-настоящему, а не так по-игрушечному, как это делается в академической Москве. Ты еще раньше научилась везти дом и семью, зарабатывать деньги, не полагаясь ни на кого и не сваливая неудачи ни на кого. Тебе осталось только третье, наверное, самое трудное: привыкнуть, что сердцем тоже можно стоять, ни на кого не опираясь, радоваться временным поддержкам, но не огорчаться оттого, что они временные. Ты умеешь ценить, что есть люди, которые к тебе хорошо относятся. Ты умеешь не жаловаться на безлюдье, а радоваться ему. Безлюдье — то единственное положение, когда нам с тобой позволительно душевно расслабиться. Давай научимся ни на кого не опираться полным душевным весом. Нет таких святых, которые бы это вынесли. Мы ведь сами не всякого опирающегося на нас выносим; чего же требовать от других? Я знаю, что жить без расслабления очень тяжело. Но иначе, вероятно, не бывает — разве что у единичных исключений. Если можно выговориться и выжаловаться — и это хорошо. Ты говоришь, что можешь выговариваться в меня, — давай радоваться, это ведь тоже не у всякого бывает. И, насколько я о себе могу судить, меня еще надолго хватит, даже кажется, что по гроб жизни. (Если тебе покажется, что я становлюсь глух, скажи,

тогда подумаем.) Я тоже, как ты видишь, пользуюсь случаем выжаловаться в тебя — если не устно, то эпистолярно. А больше у меня ведь тоже ничего нет. Фрейдину слушать меня неинтересно. С Подгаецкой мы твердо держимся (как я когда-то сказал), как два опорных столба, которые сами ни на кого опираться не привыкли (да и стоят далеко), а только оглядываются друг на друга и хоть тем ободряются, а кроме научно-служебных дел, ни о чем говорить себе не позволяем. <...> А разговор с Аверинцевым при получении твоего письма не получился: никаких точек соприкосновения. (У меня все больше записей в книжке о том, что диалог — вещь немыслимая, что это лишь нашинкованные монологи, и что собеседник занят пониманием собеседника ровно настолько же, насколько геолог пониманием камня). Показывал фотографию, где он с Наташей сняты с папой римским. Когда я рассказал об этом сыну, сын сказал: «это как в анекдоте, который кончался: „и итальянский король спрашивает: а кто это тут в белом рядом с ребе из Бердичева?“»

<...>

Обнимаю и целую. Держись, родная моя. Неотступно твой помощный зверь.

М.

Письмо удивительно похоже на занудные моральные эпистолы Сенеки. Это от спешки. Прости!

Очень твой.

А22
[4 мая 1993 года, Москва (?), машинопись]

4.5.93

Племянница, в телефонном разговоре ты напомнила, что я на тебя сердился, когда ты сказала, что отдала бы всю науку за Х. Это правда, сердился, и осознанно, и буду сердиться. Наука для меня сверхценность, и я в таких случаях не только обижен за науку, а и огорчен опасностью потерять тебя. Попробуй вообразить, что ты действительно выбросила из со-

знания науку и организовала жизнь без нее, — и ты сразу увидишь, что я перестаю быть тебе нужным, потому что для всего другого любой встречный будет тебе лучшим советником и путеводителем, чем я. Даже если ты, не покидая науки, переменишься в ней и вдашься в иррационализм, веру или иные попытки насвистать о том, о чем нельзя сказать, — мы потеряем общий язык. Конечно, нас соединяет не только наука, и говорим и пишем мы о ней меньше, чем о чем ином, — но обо всем ином нам удается хоть сколько-нибудь понимать друг друга только от научной привычки сознательно относиться к своим словам и соглашаться, что дважды два есть четыре, а не кврази уна фантазия[1]*. Я это говорю не ради предостережения: я почти не боюсь, что ты в самом деле отвернешься от научности, мы слишком долго прожили вместе (странно так говорить, а иначе не скажешь), свыклись и сообразовались друг с другом, и вряд ли в моих старых, а твоих пожилых годах так уж переменимся. И очень этому рад. Хотя, конечно, нынешние твои работы я себе не представляю, и насколько ты смотришь на Деррида со стороны, а насколько изнутри, не знаю. Когда я по телефону сказал, что постструктурализм и деструктивизм — это нарциссическая филология, ты развеселилась; я подумал, что мое представление о самовлюбленном приборе повторяет выражение Дидро о взбесившемся фортепиано[3]. Они (и ты) все время напоминают, что не всё можно взять разумом, а иное только интуицией. Мне хочется отвечать, что и наоборот, не всё можно взять интуицией: она действует только в пределах собственной культуры. Попробуем перенести их методы с Бодлера и Расина хотя бы на Горация (не говорю: на Ли Бо), и сразу явится или бессилие, или фантазия. Они исходят из

[*На полях:*] * а не моя Воля и Представление[2].

[*На полях:*] Герменевты и интерпретаторы ищут не то, что в тексте, а то, что за текстом («что делает текст возможным»). Конфуция спрашивали: «Учитель, а что будет на том свете?» — он отвечал: «А на этом свете вам уже всё понятно?» Метафизика прежде физики опасна.

предпосылки: раз я читаю это стихотворение, значит, оно написано для меня. А на самом деле для меня ничего не написано, кроме стихов из сегодняшней газеты. Гораций точно объявлял, что пишет для потомков, которые будут, пока стоит Рим, но таких потомков, как мы, он не воображал и в страшных снах. Чтобы понять Горация, нужно выучить его поэтический язык. А поэтический язык, как и английский или китайский, выучивается не интуицией, а по учебникам (к сожалению, для него не написанным). Для меня в этом мире не создано и не приспособлено ничего: мне кажется, что каждый наш шаг убеждает нас в этом. Кто считает иначе, тот, видимо, или слишком уютно живет, или, наоборот, так уж замучен неудобством этого мира, что выстраивает в уме воображаемый и считает его единственным или хотя бы настоящим. Так что вместо «нарциссическая филология» можно сказать «солипсическая филология». А я привык думать, что филология — это служба общения. <...> — Что же касается рассуждений о человеческом взаимонепонимании, то уж не сердись, я никак не могу смотреть иначе. Мне они казались такими очевидными, что даже мрачными их не назовешь. Я понимаю, что они дошли до тебя, как раз когда ты влюбилась в Y. и посмотрела на мир и человеческие отношения светлым взглядом, и дай бог, чтобы подольше. Но мне всегда казалось, что послебахтинские рассуждения о диалогичности всего на свете — это непростительный оптимизм. Нет диалога, есть два нашинкованных и перетасованных монолога. Каждый из собеседников по ходу диалога конструирует удобный ему образ собеседника; с таким же успехом он мог бы разговаривать с камнем и воображать ответы камня на свои вопросы. (С камнями сейчас мало кто разговаривает — по крайней мере, публично, — но с Бодлером или Расином всякий неленивый публично разговаривает именно как с камнем и получает от него именно те ответы, которые

[*На полях:*] Что такое диалог? Допрос[4]. Как ведет себя собеседник? Признается во всем, чего домогается допрашивающий. А тот принимает это всерьез и думает, что кого-то (что-то) познал.

ему хочется услышать.) Максимум достижимого — это учиться языку собеседника; а он такой же чужой и трудный, как горациевский или китайский. Конечно, это меня просвещает и обогащает — но ровно столько же, сколько обогащает изучение горациевского или китайского языка (можно ли говорить о диалоге с учебником китайского языка?). Я очень стараюсь в разговорах учить язык собеседников (и поэтому разговоры мне так тяжелы) — но и это, по-видимому, не каждый делает, потому что этому моему старанию люди удивляются и даже считают за это меня хорошим человеком. Но навязывать им свой язык я не имею права (именно потому, что знаю, как трудно его учить). А поэтому и о себе ничего никому не могу сказать (кроме тех урывков, когда по поводу чужой душевной неприятности говоришь: «понимаю, я вот тоже...»). Вспомни наши разговоры: сколько раз мы пробовали обсудить какую-нибудь мою душевную проблему, и после нескольких реплик соскальзывали на обсуждение твоих. А ведь ты знаешь меня едва ли не лучше всех и доброжелательна ко мне едва ли не больше всех. Я не жалуюсь — просто, вероятно, это значит, что все мои проблемы были выдуманы и сводились к неоригинальному желанию: и съесть пирог, и в руках его иметь (т.е., например, и в науке чего-то достичь, и остального хорошего в жизни не упустить; чтобы я заткнулся, мне достаточно сказать: «а ты хотел бы наоборот?» — и я умолкну). Но ведь к этому, пожалуй, сводятся все проблемы у всех проблемствующих, — тебе с твоим психологическим материалом это, наверное, еще видней. Вот и это письмо — не реплика в диалоге, а кусок монолога на тему «у кого что болит». («А что у тебя болит?» А ничего у меня не болит, кроме старости, точнее — устарелости. Когда будешь примеривать свою жизнь на ближайшие восемь-десять лет, помни, пожалуйста, что это последние наукоспособные годы,

[*На полях:*] В любом диалоге речь моего собеседника началась до меня, я обязан поймать ее на лету, угадать саморазумеющееся для него, поддержать, не понимая, и обогатиться ненужным, а его отпустить довольным.

потом будет очень тяжело, — разве что тебе, может быть, больше повезет, чем мне). Видимо, я ищу дорожного попутчика, в которого можно было бы выговорить свои заботы (насчет пирога, который хочется и съесть и иметь, и вот он съеден, что теперь?) с уверенностью, что завтра мы расстанемся и, главное, что послезавтра он меня забудет и не будет презирать за мой вздор. Ты иногда спохватывалась и спохватываешься: а стоило ли то-то и то-то мне рассказывать, вдруг мне больно? Конечно, бывало больно, но я давно научился эту боль подавлять и радоваться, что тебе хорошо или что я помог, чтобы тебе было хорошо. <...> Ох, если попаду я в июне в Париж, то-то переберем мы твои (а не мои) душевные, научные и житейские дела и обстоятельства! Никаких суток не хватит. Но попаду ли?

Обнимаю тебя и целую.

Твой, знающий свое место в углу,

помощный зверь.

1 «Sonata quasi una fantasia» — название сонаты op. 27 Nr. 2 cis-moll Бетховена, более известной под названием «Лунная».

2 «Мир как воля и представление» (1818) — главный философский труд А. Шопенгауэра.

3 Полемизируя с неприемлемым для него субъективным идеализмом Беркли, Дидро пишет: «Был момент сумасшествия, когда чувствующее фортепиано вообразило, что оно есть единственно существующее на свете фортепиано и что вся гармония вселенной происходит в нем».

4 Ср.: Записи и выписки. С. 234.

А23

[12 января 1994 года, Москва, от руки]

Племянница,

исправно пишу тебе на следующий день после твоего улета. С прилетом! Я думаю, что состояние облегченного «уф!» у тебя уже кончилось, вместо московских забот на тебя наваливаются парижские заботы и уже требу-

ют сочувствия. Представляю и сочувствую, а о подробностях жду письма.

После того как ты уехала, у меня ощущение, что вот — я — пучок социальных отношений, похожих на железные прутья, которые кто-то гнет и ломит в разные стороны, и вот из этого пучка выпал один прут, лежит рядом и еще дрожит и трясется.

Когда я разговариваю с тобой или с кем другим, то есть бываю консультантом и ободрителем, то всё остальное, что во мне есть, ощущается излишеством и тяжелым грузом. Мне всё тяжелее переключаться с отношения на отношение. А когда я остаюсь наедине с собой (идя по улице или в постели перед сном), то тяжелым и лишним грузом давят уже все мои железные прутья без исключения.

Это я к тому, что если я от подавленности буду медленно откликаться на твои письма — не сердись. Это я постарался отжаловаться на себя сразу и суммарно, чтобы запретить себе в дальнейшем входить в подробности: тебе это не интересно, ты не опора, а опирающийся. Мне сейчас очень трудно без опоры, но опираться у меня безнадежно не получается: выговориться я не могу ни в тебя, ни в Фрейдина, ни в Подгаецкую: как будто органа нет. Можно было бы попробовать выписываться в самоанализные сочинения (на тему «Отчего я такой»: вариант 1, вариант 2...), но это имело бы смысл, только если сразу уничтожать написанное. Как Чернышевский в ссылке, чтобы не сойти с ума, что-то без конца писал и сразу жег. Отправить письмо тебе — это всё равно что его уничтожить: я постараюсь этим побуждать себя к писанию.

Последнее, о чем ты говорила перед отъездом, уже внутренне отсутствуя, — это о том, как ты будешь зарабатывать деньги через два года, вернувшись из Франции. Еще раз: выбрось эти мысли из головы. Что будет через два года, не знает никто. <...> Пример у тебя в руках: словарь Лапланша, — если бы ты знала, что с тобой будет через два года, ты бы не бралась за него. Старайся больше заработать сейчас, — а там видно будет.

<...>

Будь критична и рационалистична.
Обнимаю тебя и целую.

Твой.

12.1.94. на скучном докладе про «Пир во время чумы». Всех вокруг воспринимаю, как сквозь ватную стену.

А24
[15 февраля 1994 года, Москва, от руки, на бланке «Коммунистическая Партия Советского Союза. Российский Социально-Политический Институт ЦК Компартии РСФСР»]

15.2.94.
Дорогая племянница,

для интереса пишу тебе на бланке, унаследованном РГГУ от ВПШ[1]: нам их дали, чтобы пользоваться как оборотами. Пишу дня через три после твоего звонка, писем твоих еще не получал, но, видимо, это дело обычное: на днях ко мне пришло новогоднее поздравление из Литвы, шло полтора месяца, а Париж все-таки ближе. Пишу на тяжком заседании: фонд фундаментальных исследований, раздающий гранты так называемым перспективным исследованиям, я в нем заседаю, я же от пары грантов и прикармливаюсь. Если ты не прочно зацепишься во Франции, то и на ваши философские перспективы здесь что-то перепадает, так что и ты не пропадешь: это я к тому, чтобы ты не убивалась мыслями, как же ты будешь жить через два года, — как умная Эльза. Всё равно никто не знает, что будет через два года, — даже если не будет очередного периодического путча. Так что пока зарабатывай франки и езди по конференциям. Про русский либерализм я по-прежнему ничего не знаю, — и вообще мне кажется, что существовал он убого и робко и ярких фигур не оставил — ну, не ярче Милюкова или, пожалуй, Ключевского. Но историкам легче быть либералами, чем публицистам. Здесь, наверное, очень важно проследить, как русский либерализм был отражением запад-

ного либерализма, но этого, по-моему, абсолютно никто не исследовал. Я тоже мыслей не имею, потому что западный либерализм представляю себе очень плохо — ни Гладстона, ни Гизо. А немецких либералов не знаю даже по именам — может быть, вообще с запада на восток среда для либерализма становилась все менее питательной? Я встречал ссылки на английские статьи более-менее по русскому либерализму XIX в., начиная со Сперанского, так что слушатели американской конференции могут быть подготовлены и не довольствоваться азами. Впрочем, на конференциях средний образовательный уровень всегда ниже индивидуальных. Жалко, что я сейчас не рядом: вдвоем мы бы что-нибудь сочинили с потолка. А можно было бы просветиться и по библиотекам. Хорошей тебе командировки, — только не в ущерб переводу словаря. О словаре я по-прежнему думаю с большой неприязнью: многословен, односторонен и слишком деликатесен для русского потребителя, который и Фрейда-то едва читал. Вышел журнал НЛО[2] с юбилейными статьями о Бабеле с точки зрения фрейдизма и даже со ссылками на Мелани Кляйн — это такой кошмарный бред, что я оценил фразу, сказанную на памятном заседании о Лотмане: «он был очень широкой доброжелательности человек и одного только в филологии не принимал напрочь: фрейдизма»[3]. Но все равно, я очень хочу, чтобы ты поскорее разделалась со словарем и освободила руки для Деррида (или, хочется мне воображать, для анти-Деррида). — Перескакиваю: вот сейчас передо мной лежит список грантов на 1994 г., и первый по алфавиту проект в нем: К. Абульханова-Славская. «Российский менталитет: паттерны взаимодействия в индивидуальном сознании», из чего следует, что даже разумные люди нынче занимаются неразумными темами — то есть, разумными с точки зрения историко-социологической, но непонятными для меня с точки зрения индивидуальной психологии.

Прости за многословие и малосодержательность — это от удовольствия поговорить с тобой и от большой неохоты думать и говорить о себе. Себя я по-прежнему чувствую машиной, физически изношенной и морально устарелой,

которой давно пора на слом. Отношусь к этому спокойно и покушаться на себя не буду, но на душе всё время нехорошо. Я уже говорил, что представляю себя грудой обломков, которые надо утилизировать (это дело долгое), а потом спокойно помереть. Сейчас у меня работа почти буквально этому соответствующая: нужно переделать десяток статей по семантике стиха, чтобы свести в книгу. Любопытно: материал там — наполовину советская послевоенная поэзия, и выглядит она сейчас, через какие-то десять–двадцать лет после статей, такой уж архаичной и отжившей, что даже умилительно. Как будто целый материк культуры отвалил берегом и уходит вдаль. Мне его не жалко, но новых ориентиров у меня нет, поэтому чувствую себя как в морской болезни. Перед этим я читал полторы тысячи страниц корректуры Плутарха (это должен бы делать Аверинцев, но он, конечно, в Женеве), и это было очень одуряюще. Потом в апреле мне предстоит поездка в Италию, где я, во-первых, буду чувствовать себя шарлатаном — на конференции специалисты будут обсуждать мою книжку о европ. стихе[4], а я уже всё в ней забыл и ни на один вопрос не отвечу, — а во-вторых, буду чувствовать себя обязанным смотреть по сторонам и воспринимать Италию, а я ее заранее не изучал, а что изучал, то забыл: буду как слепой и глухой перед картиной. <...> Глядя в будущее, я не могу понять, как устроена человеческая старость, чем может и должен жить человек, когда его умственная машина износилась: видимо, каждому по потребительским способностям, а они у меня не выработаны. <...>

К следующему письму я получу твои письма, буду отвечать на них и ободрять тебя, а о себе постараюсь не писать. Мое дело — быть для тебя опорным столбом и помощным зверем. А ты уж раз в месяц терпи мои ламентации. Это за то, что ты меня знаешь лучше, чем кто-нибудь на свете. А я тебя, и это все-таки хорошо. Давай держаться друг за друга дальше, а я постараюсь быть не очень обременительным. Хватит с тебя твоих забот. Жду писем о твоих заботах.

Целую тебя и люблю.

Твой помощный зверь.

1 Российский государственный гуманитарный университет с 1991 г. размещается в здании бывшей Высшей партийной школы при ЦК КПСС (ср.: Новое литературное обозрение. 2006. № 77. С. 197).

2 Новое литературное обозрение. 1993. № 4 (Бабелю посвящены статьи М. Ямпольского, А. Жолковского, Г. Фрейдина).

3 Скорее всего, эта фраза прозвучала в одном из выступлений на Первых Лотмановских чтениях в РГГУ (6 декабря 1993 г.). Ср.: «Здесь уместно вспомнить отношение Лотмана к фрейдизму, который он с определенной брезгливостью перетолковывал на свой лад: фрейдизм превращался в простенькую и плоскую структурно-функциональную схему, демонстрирующую интеллектуальную недалекость венского мэтра» (*Живов В.* Post scriptum к поэтике бытового поведения и посвященного ее круглому столу // Новое литературное обозрение. 2006. № 82. С. 125).

4 См. письмо П9.

А25
[24 февраля 1994 года, Москва, машинопись]

Племянница, родная, при случае напиши подробнее, что значит для тебя «сочинение на тему Я и мой постмодернизм (в обыденном смысле слова)» со склонностью к временным погружениям в хаос и пр. Я от этого встревожился, потому что испугался, не разделит ли это нас с тобой. Я настолько всё время на краю этого хаоса, что боюсь его, как огня. <...> Если ты так крепко стоишь на ногах, что можешь позволить себе роскошь поиграть с хаосом, это прекрасно; тогда благодари за это лишний раз судьбу и воздержись от очередной жалобы на нее. У тебя очень нелегкая жизнь, ломовая, но твой крест все-таки вырезан по твоему плечу, как мой (которого никому не пожелаю) по моему. Когда мне хочется ныть на свою жизнь («блажен, кто смолоду был молод», а я не был, итд.), то я говорю себе «цыц!» только за счет этого ты и смог что-то сделать в науке и иметь от этого радость; разве ты хотел бы наоборот?» — и смолкаю. Правда, теперь я уже могу возразить сам себе: «ну вот, а теперь твои умственные способно-

сти кончились, радости от науки — вместе с ними; с чем же я остался?» <...> Прости за это отвлечение. Потерять меня не бойся, пока мы похожи друг на друга, — а крутые горки нас с тобой укатывают в одном направлении, так что душевное сходство между нами с годами скорее прибавляется, чем убавляется. По крайней мере, мне так кажется. (Даже несмотря на то, что ты человек с заграничными привилегиями, а я нет: об этой социально-психологической разнице я помню.) Подохнуть мне очень хочется, но сам я для этого ничего делать не буду, а здоровье у меня еще хорошее, так что мы еще поопираемся друг на друга.

<...>

Держись, родная. И за меня тоже, пожалуйста. Я ведь знаю тебя давнее, чем многие другие, — и, может быть, лучше. <...> Ты меня тоже, поэтому друг от друга нам не уйти — разве что вдруг разительно переменимся, а это в нашем возрасте редкость. Люблю тебя (говоря ненаучно, но со всей ответственностью), обнимаю и целую.

Твой помощный зверь.

24.2.94

А26
[Март 1994 года, Москва, машинопись]

Племянница, родная,

пишу под равноденствие: если не успею кончить, буду дописывать под первое апреля на общем заседании Академии. По телефону ты во второй звонок была немного спокойнее, чем в первый, а теперь, я надеюсь, совсем успокоилась. Не стоит твоя публикация таких переживаний. Считай, что если здесь и есть неприятность — то это тебе за то, что не успела своевременно себя отредактировать. Если бы на нас не валились время от времени такие расплаты, мы бы совсем от рук отбились. Совеститься тебе приходится разве что перед одним человеком — Дерридовой женою (по твоим словам; я даже не спросил: она что, русская,

что может отличить хороший перевод от плохого?[1]). Читающим россиянам все равно даже такой твой перевод будет легче читать, чем французский подлинник. А конкуренты твои по переводам из Деррида, честное слово (говорю не глядя), сами переводят не лучше.

Постарайся дальше поменьше отвлекаться на переводы: сил и времени у тебя на них уходит много, а культуртрегерской пользы от них не больше, а меньше, чем от твоих собственных работ. (Это я с прежней ненавистью думаю о Лапланше; но тут тоже делать нечего, ты бралась за него тогда, когда еще не имела иных французских заработков.) Записывай урывками всё, что тебе приходит в голову для книги о Деррида: пригодится. Насколько я понимаю, чтобы она была не апологетическая, а объективная, нужно будет твердо выяснить две отвлеченные вещи. Во-первых, разницу между наукой, литературой и вьющейся между ними философией. (Я прочитал еще одну статью о еще одном постструктуралистском классике, Барте, — там написано, что даже французы чувствовали его крен в сторону литературы и спрашивали в последние годы, отчего он не напишет роман). А во-вторых, что, собственно, имеют в виду Деррида и прочие, когда пишут во имя свободы против догматизма и авторитаризма. Какой свободы? (Я намертво ощущаю себя от природы несвободным: какая свобода, если все наши отвлеченные мысли перекашиваются от больного зуба или от семейной неприятности? /для психоаналитика — тем более/. Я чувствую себя марионеткой, которую дергают за веревочки, и думаю, что гораздо важнее проследить, откуда эти веревочки тянутся, нежели вообразить, будто их и вовсе нету.) И какого авторитаризма? Авторитарно каждое писаное слово, как бы щегольски оно ни играло в независимость от всего; самим фактом, что деструктивист[2] пишет, он навязывает читателям собственный авторитаризм. Чтобы уйти от авторитаризма, нужно или молчать, храня свое про себя, или говорить только устно, как Сократ, чтобы сказанные слова испарялись, не успев догматизироваться. Но до этого никакой деструктивист не доходит и не собирается. А значит, и от-

носиться к ним нужно как к ученым и как к писателям: как к тем, кто пытается насвистеть то, что нельзя сказать (как выражался какой-то комментатор Витгенштейна). Твоя личная тема — это рациональность в современном сознании: это твердый берег, с которого ты смотришь на их бурное море, клубящееся между двух стульев.

По тому же самому — потому что в тебе больше рациональности, чем в тех, о ком ты пишешь, — я и не посоветовал бы тебе проходить психоанализ. Всё, что в нем есть рационального, ты знаешь и так. Достаточно ли этого, чтобы лечить людей, я не думаю: полагаю, что нужно еще элементарное психиатрическое образование (иначе каждый пациент, пройдя лечение и кое-чего почитав и послушав, годился бы в психоаналитики, а это ведь не так?). Но, конечно, здесь я могу и ошибаться. А всё, что в нем есть иррационального и что идет не от огромного Фрейдова ума, а от детского его тщеславия, побуждавшего организовывать психоанализ как орден с посвящениями, — это, мне кажется, не для твоего трезвого склада ума. Тарасов был одним из лучших по Москве гипнотизеров, но обо мне категорически говорил, что мне гипноз противопоказан — по моему душевному складу. Мне кажется, что точно так же для тебя нет нужды в психоаналитическом опыте (как бы сложны ни были отношения между психоанализом и гипнозом). Конечно, может быть, я и тут ошибаюсь, и на самом деле ты с возрастом меняешься в сторону интуитивизма. Но пока (со мной, по крайней мере) ты была не такая. Я понимаю, что ты думаешь о возможности этим зарабатывать в Москве. Но в Москве уже много психоаналитиков с психиатрическим образованием, конкурировать с которыми будет трудно. («Если хотите пройти курс — я могу посоветовать, у кого, — сказал мне как-то Фрейдин, — психоаналитики уже есть очень хорошие, только будет это страшно долго». — «Нет, — ответил я, — всё, что со мной происходило и происходит, лежит настолько на поверхности вещей, что смешно углубляться в недра».) Зарабатывать ты сможешь, читая лекции О психоанализе: чтобы изучать лягушку, необязательно уметь квакать. Подозреваю, однако,

что всё это я говорю зря: конечно, если тебе захочется хотя бы из чистого любопытства, ты это сделаешь (разве что тысячу долларов пожалеешь). Ну, и к лучшему, хоть я и боюсь, что этот шаг в иррациональное нас с тобой отдалит друг от друга, а мне этого страх как не хочется.

Я не беру назад моих слов, что тебе до моих душевных неприятностей нет дела. У нас много было случаев, когда я пробовал, собравшись с духом, в тебя выговариваться, но в первую же мою паузу ты начинала говорить о собственных неприятностях, я начинал ободрять, и мы возвращались к обычным своим ролям. Это получалось так естественно и незаметно, что, наверное, ты этого не замечала и не запоминала; прости, что я запоминал. Я сам виноват. Отвечать можно только на что-то поправимое, доступное советам или хотя бы разъяснениям. А что было тебе отвечать на мои жалобы, когда мой путь прочерчивался с непрерывной связностью от детских замечаний «на тебя смотреть противно» до нынешнего гроба? Что тебе сейчас отвечать на мои жалобы, когда я могу жаловаться только на то, что старею и голова отказывает? Тут ничего не посоветуешь, а значит, и говорить нечего. Можно только праздно сочувствовать, этого я и сам не умею и не люблю. Всегда чувствовал себя неудобно, когда старик жаловался мне на старость или слабость, будь то университетский латинист (был такой случай, почему-то запомнившийся) или Сергей Бобров. Впрочем, Боброва я как-то умел отвлекать и взбадривать)[3]. <...>

[*От руки:*] Прости, что пишу сухо и как будто с железным лязгом. Это чтобы не жаловаться. А тебя я очень боюсь потерять, если разладится наш общий рационалистический язык.

Целую тебя. Твой помощный зверь.

1 Мои жалобы связаны с тем, что в одной из русских антологий переведенный мною фрагмент из Деррида отправили в печать, не внеся правку, которую я посылала. Что же касается Маргерит Деррида, то она хотя и не русская, но русский язык знает профессионально и переводила, в частности, «Морфологию волшебной сказки» В. Проппа.

2 М.Л. упорно писал слово «деструктивист» вместо «деконструктивист» не потому, что не знал, как правильно сказать, просто он очень не любил этот термин и считал его абсурдным (деконструировать — это все равно что «раз-за-вязать»)...

3 Подробнее см. «Воспоминания о Сергее Боброве» (Записи и выписки. С. 385–394).

А27
[7 апреля 1994 года, Москва, от руки]

Племянница, пишу тебе позже, чем собирался, и из непредвиденного места: слег на неделю в академическую больницу с почечным камнем, как десять лет назад. Не обошлось без анекдотов. В приемном покое спрашивают: «звание?». Академик. «Доктор или не доктор?» Доктор. Записывают, отводят в палату, при обходе почти не замечают. На следующий день Аля идет к врачу узнавать, что и как, спрашивает об академике таком-то. «Как?» — смотрят, в бумагах записано: «доктор, ст. н. с.». Видно, непохож я был на академика, чем и горжусь. Сильно засуетились. На следующий день посылают меня в другое отделение, где есть отдельные палаты. Прихожу с котомочкой, заведующая в ужасе смотрит и орет в телефон: «как вы смели прислать академика без сопровождающего персонала?» Вот какое бывает у нас чинопочитание. Палата — почти как номер в партийной гостинице, где я однажды стоял, оппонируя в Киеве: даже электрокамин красуется. Но мне, кажется, больше помогла первая, общая палата: геолог, бригадир-строитель и шофер. Вечером подходят ко мне: «мы о вас спрашивали врача (а врач меня и не видел), вы — наш человек, выпьем по случаю дня геолога»: старый зычный геолог только что получил большую академическую премию. Крепко выпили, поругали правительство, а на следующий день мой камень перестал болеть: может быть, ультразвук помог, а может быть, водкой вымыло. Главную боль я отмучил еще дома, так что на днях выпишусь и пошлю тебе это письмо. Последнее, что было со мной перед болезнью: это голосование в От-

делении за новых членов-корреспондентов по филологии: двадцать кандидатур, и последняя по алфавиту Ира Шталь. Не прошла, конечно, но теперь она будет штурмовать академию каждые два года и когда-нибудь пройдет. Таковы дела.

<...>

Ты сказала по телефону: «я человек несамостоятельный...» Ты неправа. Все свои решения ты принимала сама, хотя бы тебе подсказывали иное и, может быть, лучшее. (NB знаешь ли полную форму пословицы «дураку хоть кол теши, он тебе свои два вытешет». Это не про тебя, ты не дура). Но когда ты решалась, то тебе непременно был нужен кто-то одобрить и поддержать решенное. Все твои друзья для этого при тебе. А я и подавно. Ты знаешь, что ты мне самый близкий человек. Пользы от меня немного, пальцем о палец ударять я не умею, но от твоих забот я никогда не сторонился. Что со мною может быть? Разве что помру — но физически я здоровый, а нарочно убивать себя не буду, не такое, к сожалению, сейчас время, чтобы можно было уходить на свалку по собственному желанию. Или разве что выживу из ума? Умом я слабею, но сердцем вроде бы таков же, как и раньше. Если вообще у меня была такая вещь, как сердце. Я очень хорошо чувствую границы одиночества, от этого мне бывает плохо, и я иногда тебе жалуюсь, но именно поэтому я никогда не позволю себе усугубить твое одиночество, а сделаю все, чтобы его смягчить. Жить тебе будет трудно, но начинать третью жизнь в 50 лет еще не поздно. Пока я жив и тебе не кажется, что я в маразме, говори себе: у меня еще верных десять лет впереди. У Свифта в «Стихах на смерть доктора Свифта» говорится: «Дураки помоложе — в ужасе: они считали, что раньше меня не помрут, а вот я умер, и перед ними как защитная стена упала. Вот кто жалеет обо мне со всею искренностью!» Давай доживать дальше, поддерживая друг друга, сколько можем. У нас ведь это получалось.

Целую тебя и люблю. Твой помощный зверь.

7.4.94. в акад. больнице.

А28
[22 мая 1994 года, Москва, машинопись, на бланке: «Коммунистическая партия Советского Союза. Российский Социально-Политический Институт ЦК Компартии РСФСР»]

Племянница, я не писал было тебе, потому что мне казалось, что ты приезжаешь в июне, — ну, а раз в июле, то письмо дойдет, тем более с половинной оказией. Звонила Бокадорова, покудахтала в телефон, где она оставила письмо, — ничего страшного, послезавтра получу. Я-то его ждал по почте, а по почте они доставляются в другой угол института. К твоему приезду постараюсь разобраться в вопросах. Жаль, племянница, что после первого залпа писем ты почти ничего не писала: для меня твои письма кое-что значат. А телефонные звонки, сжатые платежом до сухости, до страха лишнего слова, дают гораздо меньше.

Ну вот, в Иннсбрук ты съездила, хотя и собиралась отказаться (я так и думал), самоутвердилась в том, что и по филологии ты сохранила силы. Правда, Хармс за последнее время почти стал философом[1]. Это их обэриутское бедствие: в их кружке было два профессиональных философа, т.е. учившихся на философском факультете; один из них, писавший книжечки про взятие Зимнего, погиб на войне[2], а другой, ничего не писавший, выжил, сочинил в стол много философских интерпретаций к сочинениям своих друзей и передал их молодым обэриутоведам[3], на которых они произвели неизгладимое впечатление. У меня аспирант пишет по Хармсу[4], и это тоже будет философия. Хоть я ему и твержу, что философия у Хармса пародическая, и что изучать пародическую философию куда трудней, чем серьезную.

<...>

В Италии я жил почти сплошь среди соотечественников, переселившихся туда работать. Последним был Б. Успенский, не устроившийся по конкурсу в Стэнфорд и после этого устроившийся заведовать славистикой в Неаполь. Живут нелегко, работают на железнодорожных расстояниях от

жилья, одна из лучших лотмановских учениц преподает латышский язык[5]. За две недели я только пять раз ночевал в гостиницах, остальное — у добрых людей, поэтому все время был в напряжении общения, оттого и устал. Кроме того, хоть ни в одном музее я не был и даже на родной Форум не ходил, но приходилось заставлять себя смотреть по сторонам, чтобы отчитываться по возвращении, — а хотелось больше всего зажмурить глаза. Устал за две недели, как за два месяца, а в Москве скопилось столько же работы, сколько и у тебя. Самые душевно облегчительные впечатления были от того, как я объяснялся с итальянскими стиховедами и издательскими работниками на ломаном английском — он у меня как раз на этом уровне.

Мне позвонили из Айрекса[6], что стипендия на американскую командировку (крошечная) мне утверждена. Почти одновременно пришло письмо от Алексеевой, что начальник Принстонского архива собирается закрыть мандельштамовский фонд, чтобы подвергнуть его химической обработке на предмет сохранения гибнущей бумаги. Так что если я попаду туда, то скорее всего придется работать с микрофильмами (а это совсем не то). <...>

За лето я должен сделать огромную статью в чужой сборник (она же — глава в свою книгу) и подготовить несметную прорву выписок по Мандельштаму, чтобы в Принстоне можно было писать комментарий. И отбиться от двух других больших долгов по обещаниям, и сделать много маленьких неотстающих срочностей. Приезжай: буду отвлекаться от всего этого, ободряя тебя.

<...>

Всё время чувствую, что я уже сработался до нуля и пора бы помирать, всё время знаю, что нельзя: деньгами помогаю семье и ободрениями тебе. А если не лень потратить несколько часов, напиши: 121019 Волхонка 18/2, ИРЯз, сектор стилистики и языка худож. литературы.

Целую тебя.
Твой старый опорный столб.

22.5.94

1 По-видимому, имеется в виду прежде всего публикация в 90-е годы ряда философских сочинений Я. Друскипа, в свете которых работы обэриутов стали восприниматься главным образом как философская программа и лишь затем как явление литературного авангарда. Главные темы трактатов Друскипа — смысл и бессмыслица, бытие и небытие, неподотчетность мира логическому порядку и др. М.Л. интересовал вопрос о том, можно ли считать использование этой философии обэриутами серьезным или же скорее — пародийным. Решить этот вопрос прямыми текстологическими доводами в любом случае затруднительно, если вообще возможно.

2 Л.С. Липавский.

3 Я.С. Друскин.

4 И.В. Кукулин.

5 М.Б. Плюханова.

6 IREX — International Research and Exchanges Board, организация, созданная в 1968 году рядом американских университетов для координации научных обменов с Советским Союзом и Восточной Европой.

А29
[17–19 октября 1994 года, Принстон, от руки]

17.X.94 — 19.X

Племянница,

я тут сразу навел справки, нет ли работ по психопатологии у Достоевского[1]. Мне назвали книгу: James L. Rice. Dostoevsky and the healing art: an essay in literary and medical history. Ann Arbor 1985. Если высокомерные французы выписывают американские провинциальные издания, то полистай ее, особенно библиографию. Но специально для тебя в ней ничего нет: «Записки из подполья» упоминаются лишь мимоходом, из вещей что-то говорится лишь о романах и о «Двойнике», а главное внимание автора — на эпилепсии самого Д., в том числе с точки зрения медицины того времени.

[*На полях первой страницы:*] Я хотел сделать тебе ксерокс второй статьи, но то ли журнал выдан, то ли я не нашел его на полке. Библиотека здесь огромная, шестиэтажная, но разделы ее перетасованы непредсказуемо, как в кубике Рубика.

В библиографии самая интересная вещь: В.Ф. Чиж, Достоевский как психопатолог, «Русский вестник», 1884, № 5–6 (том 171), и отдельной брошюрой. Я вспомнил, что слышал о ней; наверное, ты и в Москве уже на нее наткнулась. Если нет, поищи в Париже: в 1884 с Россией был альянс, и «Рус. вестник» во Франции выписывали (а в Америке нет). Но там — только обзор персонажей До-го с психопатологической точки зрения, и героя «Подполья», кажется, среди них нет. О Чиже я слышал от Грабарь-Пассек: она его помнит, он был юрьевский, его не любили, потому что он был очень правый, а юрьевская профессура в целом была либеральная, но как специалиста — уважали... Кажется, потом сошел с ума: психиатры ведь все обычно так кончают, это только Бехтерев был такой здоровила, что его ничто не брало. У того же J.L. Rice есть другая занятная книжка: Freud's Russia, N. Brunswick. London 1993, о русских родичах, пациентах, коллегах и интересах Фрейда (мама его из-под Одессы, Эйтингон, Шпильрейн, «Достоевский и отцеубийство» и пр.). В библиографиях я заметил M. Miller, Freudian Theory under Bolshevik rule: the theoretical controversy during the 1920s, «Slavic Review» 44 (1985) 625–646; The origins and development of Russ. psychoanalysis, 1909–1930, Journal of the Amer. Academy of Psychoanalysis 14 (1986) 125–135: это (особенно Sl Review) должно быть и в Париже. Новые факты там вряд ли будут, а ясность изложения у американцев иногда бывает хорошая. По Гоголю не нашел ничего, только один разбор собачьей переписки в «Зап. сумасш.» с точки зрения источников у Сервантеса и Гофмана.

Я здесь полтора месяца, и кажется, это так давно, что за это время и ты должна была успеть начитаться по своим курсам. Конечно, какие-то краешки остались неизученными, и они-то кажутся сейчас самыми главными, но всё главное, что нужно вложить в студентов, у тебя уже есть. Никакого нового откровения ты им не вложишь, но им этого и не нужно, а как старое и общее меняется и преломляется в такой-то обстановке, это умным будет интересно. Кстати, подсознание мимоходом открыл еще Щедрин, пародируя психологи-

ческий роман. Едут муж и жена в Москву: «А я увижу мсье Тупицына!» — думала она (она не думала, что она это думала, но на самом деле думала). «А я увижу мадам Попандопуло!» — думал он (и он тоже не думал, но думал). Цитирую почти буквально. По этим трем строчкам уже можно изучать всю литературу от Джейн Остин до Пруста: не знаю, можно ли изучать психопатологию.

Алексеева много расспрашивала о тебе и шлет тебе нежные чувства. Она здесь затеяла издание части мандельштамовского архива, с самой ювелирной тщательностью, принятой у античников: «в такой-то строчке такая-то буква подчищена, а после такой-то клякса». Вовлекла и меня; а я соучаствую, потому что по ее нервному напряжению вижу: через пять лет дети вырастут, муж снимется и уедет из Принстона[2], на месте Мандельштама в ее душе опять будет вакуум, и она спешит чем-то закрепить свою связь с Мандельштамом. Архивное начальство собирается химически обрабатывать бумаги Мандельштама для лучшей сохранности, а она боится (резонно), что это их только погубит, и готова объявлять голодовку, сидя перед библиотекой, чтобы этого не допустить. Так что я, как обычно, служу успокоителем и ободрителем. С Тарлинской хуже. Муж умер, матери под девяносто, сама она обессилена за время ухода за мужем, в глубочайшей депрессии, работать не может, зарплаты не получает, разоряется на лечение и, главное, оказывается, что за всю жизнь не привыкла к одиночеству: всегда была с кем-нибудь, промежутков между четырьмя мужьями у нее не было, «у меня anxiety, целыми днями хожу из угла в угол, сжав голову, знаешь ли ты, что такое anxiety?» — «Нет, говорю, у меня не anxiety, a despair. Это по-другому». <...> В общем, сосредоточиться на одном деле невозможно, можно только говорить себе: здесь у тебя пять дел, а в Москве было бы пятнадцать.

Семь часов сижу в архиве, три часа вечером делаю механическую работу или пишу письма, больше десяти рабочих часов выжать из себя не могу, а из Москвы казалось: смогу. Чем больше узнаю текстологию, тем лучше вижу, до чего

издание, которое я веду, не готово быть академическим, и до чего к этому равнодушны, кажется, все участники, а главным образом те, кто только текстологией и занимались. Поэтому унываю. Из всего, что я собирался успеть в Америке, я успею разве что половину; поэтому тоже унываю, хотя понимал это еще перед отъездом. Вообще чувствую себя покойником, с которого, тем не менее, спрашивают как с живого. Эмоционально — тоже покойник; это только сидя рядом с тобой, я чувствовал мутное волнение, на расстоянии оно стихло. Иногда жалею. Есть детский писатель Остер, у него есть книжка антипедагогических афоризмов в стиле Козьмы Пруткова, один из них констатирует: «Держать себя в руках — противно». Всю жизнь этим занимался и полностью подтверждаю. Целую тебя и увещеваю ничего не бояться: все свои курсы ты прочтешь не хуже всякого.

Твой помощный зверь.

1 Я читала будущим психологам и в университете Париж-7 (кафедра гуманитарных клинических наук) курс по психиатрической проблематике в русской литературе («Записки из подполья» Достоевского, «Записки сумасшедшего» Гоголя, «Палата № 6» Чехова), и М.Л. радовался, что может мне что-то посоветовать, подсказать какую-то литературу.

2 См. письмо А19, примеч. 3.

А30
[30 ноября 1994 года, Принстон, от руки]

30.XI.94

Дорогая племянница, вот еще подробность общего идейного поворота ок. 1935, в который нужно вписывать историю советской психологии: лозунг I пятилетки 1928–1932 г. был «техника решает всё» (в коротком ударе), лозунг II пятилетки 1932-36 — «кадры решают всё» (в затяжном строительстве), потому что без выученных кадров даже техника

быстро ломается. Поэтому повышенное внимание было обращено на обработку человеческого материала — на педагогику, юриспруденцию, литературу и пр. — и на психологию. Здесь и явился традиционализатор сов. психологии Рубинштейн[1]...а дальше подробностей не знаю. Жизнь у меня прежняя, не на своем месте, безнадежность мандельштамовского издания всё яснее, необходимость собственного доживания всё тяжелее. <...>

Твой помощный зверь.

1 С.Л. Рубинштейн был, в частности, заведующим сектором философских проблем психологии в Институте философии СССР (позднее — РАН). Руководитель кандидатской диссертации Е.А. Будиловой, матери М.Л., по истории русской психологии. Характеристика «традиционализатор», по-видимому, парадоксальным образом вписывается в вычленяемый М.Л. исторический поворот (от ударного труда любой ценой к установке на «кадры»). Так, главным принципом философско-психологической концепции Рубинштейна было: «внешние причины действуют только через внутренние условия»: иначе говоря, учение о бытии остается пустым без внимания к человеческой деятельности, к антропологическим характеристикам человека.

А31
[3 декабря 1994 года, Принстон, от руки]

3.XII.94

<...>

...перевод — дело культурно-полезное, а статья при переводе может сказать гораздо больше, чем статья (или даже книга) без перевода. Только не поддавайся соблазну апостольства и апологетики: будь критична. Деррида как мыслитель для русского читателя уже не открытие: всё худшее у него уже с ветру перенято нашими интеллектуалами-авангардистами, и по-русски уже случается видеть тексты с такими зигзагами мысли, что куда там Деррида. Я бы лучше подчеркнул в статье (и в переводе, конечно), что такое

Деррида как художник — его артистизм (или антиартистизм, это всё равно), которого не хватает его подражателям. В конце концов, всё иррациональное — достояние не науки, а искусства, а Деррида нарочно говорит только о несказуемом и невыразимом: барокко мысли, барочное «сближение далековатых понятий» (и объектов), как выражался Ломоносов. Ты можешь об этом сказать лучше, чем кто-нибудь: ты филолог среди философов, это сильная твоя сторона, ею нужно пользоваться, а не приглушать ее. Хорошо, что это серия Ad Marginem[1]: она не обязывает тебя ставить его в один ряд с Платоном и Гегелем, а позволяет и с Захер-Мазохом. Во Франции философия спокон века считалась частью изящной словесности: в XIX в. это означало ясность и прозрачность мысли и стиля (так — еще у Бергсона), а в XX в. стало означать нарочитую темноту и бесшабашную громоздкость (с кого это началось? с Сартра? или раньше?). Деррида в своей словесной акробатике оперирует и тем и другим, — если ты его впишешь в эту традицию, он будет интересовать, но не будет завораживать (хотя ему хочется именно завораживать своим эпатажем). А это русским читателям и нужно: привычка завораживаться у них (у нас) в крови, а она вредная. Не знаю, об этом ли говорится в книге под названием «Философия, риторика и конец объективности», но могло бы: философия и риторика соперничали и взаимообкрадывались со времен софиста Горгия, сейчас — очередной тур их кадрили, а конец объективности провозглашался уже столько раз, что говорить о нем — несерьезно. Объективности как полного соответствия мысли абсолюту не было никогда, а объективность как интерсубъективный консенсус была всегда и продолжает быть — конец ее наступит, когда люди перестанут понимать друг друга и вымрут, а этого пока еще нет. Напиши, пожалуйста, «проблемную (т.е. с отсебятиной) рецензию», это очень хороший жанр — такой же просветительный, как наши переводы со статьями и комментариями. <...>

Твой помощный зверь.

1 Речь идет о книге, вышедшей в 2000 г.: *Деррида Ж.* О грамматологии / Пер. с фр. и вступит. статья Н. Автономовой. М.: Ad Marginem, 2000.

А32
[1 апреля 1995 года, Принстон, от руки]

1 апреля (!) 1995

Племянница, родная,

ты все-таки не совсем разумно пишешь, что в моем отношении к тебе теперь «порядок значимостей будет другой». Ведь когда и во мне и в тебе сосуществуют любовные чувства к разным людям, то различаются они не столько количественно, сколько качественно: любовь — вещь именованная. Когда ты разговариваешь со мной, то тебе нужнее я, нежели N (подставь любого, в кого ты бывала влюблена), и если даже ты со мною разговариваешь именно о N, то разговариваешь отстраненно и как бы с целью самонаблюдения. И когда я разговариваю с тобой, то я весь сосредоточен на твоих интересах и ни о каких других любвях не думаю. Если когда-то я и отстранялся от тебя, то не оттого, что «выше значимостью» для меня был кто-то другой, а оттого, что трудно было справляться с неуместными проявлениями моего чувства именно к тебе. Мне кажется, я научился с этим управляться и таких отстранений давно уже нет. Так и дальше будет. <…>

Если ты еще не покончила с тем курсом, где тебе приходится вписывать психологию в историю советской культуры, то посмотри книгу: М. Геллер, А. Некрич. «Утопия у власти», два тома, Лондон, 1982, есть переводы на европейские языки. Это очерк истории СССР, неровный, но довольно содержательный (богатый фактами) и уделяющий необычно много внимания культурной и идеологической истории. Ты пишешь, что психологам мало интересно слушать про русскую культуру, — ничего, пусть просвещаются, тебе тоже ведь мало интересна психология как таковая. Но ты тоже

через силу просвещаешься. Так вот путем само- и взаимоистязаний и получается прогресс. Между прочим, я плохо представляю, на что похожа современная профессиональная психология: мне всё по-старинке кажется, что это или позитивистские эксперименты по вниманию, памяти и пр., или отвлеченно-фантастические концепции. А что ты «на первой лекции закатила им столько всего разного, что они взвыли», я очень рад: ты всё боялась, что ничего не знаешь, а теперь сама видишь, что знаешь очень много. Преподавай, следи за здоровьем, отлеживайся в промежутках и не угрызай себя, что не переводишь Деррида. Честное слово, не так уж его и нужно переводить, — нужнее написать книжку о нем, может быть, с включением отрывков. В XVIII в. любили издавать антологии отрывков, характерных для таких-то писателей, под заглавиями L'ésprit de Marc Aurèle, L'ésprit de Voltaire, «Дух Тибуллов» итп.; но Деррида, кажется, плохо разымается на афоризмы: слишком громоздок.

<...>

Обнимаю тебя и очень люблю. Не думай глупостей.

Твой помощный зверь.

А33
[28 апреля 1995 года, Принстон, от руки, красные чернила]

28.IV.95

Племянница, родная, пишу тебе перед отъездом: 3 мая улетаю. Ты возвращалась так уже много раз и скверное предотъездное настроение хорошо знаешь. Сделал я много, но лишь около половины того, что нужно было. А в Москве будут, во-первых, толчея и многолюдство, никакой возможности работать; во-вторых, большая июньская конференция, международная[1], где я главный и к которой не готов; в-третьих, в доме — капитальный ремонт по всему корпусу <...>.

Твое длинное и грустное письмо я получил, уже начавши это. Несмотря на все жалобы, в нем больше хорошего, чем

плохого. Курсы, которых ты так боялась, ты заканчиваешь хорошо. На будущий год — Якобсон и материальность слова в русской поэзии. Господи, да это же рай после истории советской психологии! «Материальность слова» — это, по-моему, метафорическое выражение и больше ничего, но ты мне расскажешь, что из него раздули психоаналитики. Толстые книги о Якобсоне я знаю только по заглавиям и вряд ли прочту; готовься мне их пересказывать. Мне это очень интересно, и мы попробуем разобраться и в Хлебникове, и в Мандельштаме, сколько сил хватит. Наконец-то мобилизуются твои филологические интересы и способности, — а может быть, я что-то узнаю о разницах стилей мышления в рус. и франц. философии, в которые (разницы) не очень верю. Давай дотягивать этот хомут до конца дней в общей упряжке. А если тебе под это еще будет стажировка в Лозанну — чего еще надо? Вот и еще нормальный рабочий год. А сквозная тема твоя, рационализм в современном мире, — при тебе и все твои мелкие доклады понемногу к ней сводятся. Держи в порядке эти мысли по мелочам, и в какой-то момент сама почувствуешь, что ты ими уже перенасыщена, и нужно писать книгу. Это приходит поздно, после долгих нервов, но пишется тогда быстро. Об Ольге я полностью присоединяюсь к тому, что тебе сказал Алеша Волков: «поощрять, предостерегать, говорить всё то, что о ней думаешь...» Проявлять этнографический интерес к той музыкальной и прочей субкультуре, которая ей нравится, задавать ей об этом безоценочные вопросы и просить безоценочных ответов. И моему сыну тоже нравились песни Гребенщикова, но когда я просил описать их, он давал описание довольно объективное и трезвое. «А чем интересна такая-то их манера?» «Тем-то и тем-то». Если есть кругозор и голова на плечах (а это ты ей дала, как и я сыну), то вкусы в ней утрясутся. Вот критически относиться не к песням, а к образу жизни ее компании — это труднее. Но меру твоей (и ее) семейной обеспеченности она знает, и когда ты ей будешь говорить: «если родишь ребенка — я с ним сидеть не смогу, я должна деньги зарабатывать», — то она поймет. Хотя, может быть, и не посчитается.

У Шкловского есть книжка «Поденщина» — заметки для многотиражки на кинофабрике, где ему приходилось работать, конечно, не от хорошей жизни. В предисловии он пишет: «Собираю их в книжку, не стыдясь, потому что думаю, что наша работа умнее нас, и что поденщина, которую мы пишем, важнее, чем те великие произведения, которых мы не пишем». Я всю жизнь пробовал работать именно так, и во всякой теме, которой приходилось заниматься по необходимости, выискивать что-то для себя интересное. (Был писатель, который всю жизнь поневоле занимался не своими делами, но так талантливо находил в них для себя интересное, что всем казалось, будто это и есть главные его дела: это Чуковский.) Ты ведь тоже, в общем, так жила. Сейчас, к старости, нам обоим стало труднее извлекать интересное из неинтересного, зато и опыта накопилось уже много такого, что извлекаемое легче сортировать в кучи и пускать в обработку. «Подавай мне общую тему в голове, и чтоб я была при ней мучеником науки». Есть у тебя эта общая тема в голове — рационализм в современном мире; и она такая немодная, что состоять при ней — это уже почти мученичество. Мне кажется, тебе иногда мешает сознавать это постоянная оглядка на других; «а вот о Деррида уже пишет такой-то и, конечно, напишет лучше». Нет, не лучше, а иначе. Если ты, не оглядываясь на других, постараешься плотней и связней упаковать в сознании те обломки и обрывки знаний, которыми набиты наши головы, а потом дашь письменный отчет об этой своей упаковке, — это окажется интересно для неожиданно многих. Знаю по опыту: я по античности только так и работал. А если у тебя стали сомнительнее общие упаковочные концепции, в которые это всё укладывалось, — поразговаривай со мной, может быть, что-то прояснится. Я знаю, что я не философ, но ведь твоя позиция тем и хороша, что она не изнутри философии, а наполовину со стороны, наполовину филологическая.

А нужно ли это мученичество науки разрежать удовольствиями, контактами и маленькими сюрпризами себе, как советует Волков, — не знаю, это как тебе самой хочется. По-

моему, иногда тебе этого хочется, и тогда ты это делаешь, никого не спрашиваясь, — вот, например, в Ниццу съездила. А когда не хочется, то и не угрызай себя за то, что не хочется. «Подводить итоги неудавшейся жизни» приходится каждому, удавшихся жизней (если смотреть изнутри) не бывает. Ты убиваешься, что не достигла таких научных результатов, как я, я убиваюсь, что ради этих научных результатов я не был «смолоду молод» итд. Оглядываться на прошлое — бесполезное дело, «подводить итоги» — это значит распоряжаться тем скудным и пестрым багажом, который за эту жизнь накопился. У нас у обоих в этом багаже — доброе научное имя, некоторый опыт использования своих умственных способностей, некоторое количество хороших человеческих отношений. Мало? «а не хочешь ли ты, небого, еще и мяса?» — цитирует Гоголя моя дочь[2]. Это в активе. А в пассиве большая-большая усталость, и больше ничего (настаиваю: больше ничего). У меня ее на десять лет больше, а у тебя она на женскую долю гуще, так что можно считать, мы наравне. А с усталостью и ее последствиями надо бороться с помощью медицины; продолжай, пожалуйста, и даже фигуру восстанавливай, если хочется, и дай бог тебе хороших врачей. У меня депрессия усилится в Москве, и будет очень плохо, но это еще впереди. И еще: как можно меньше оглядывайся на других. Ведь когда нам кажется, что у другого всё гораздо лучше, то мы просто не видим того, что у другого гораздо хуже, потому что этого «другой» не показывает. Привел бы для примера сцену из латинской комедии, да длинна.

Целую тебя и глажу по головке.

Твой битый-небитый.

1 «Славянский стих: Стиховедение, лингвистика и поэтика» (Москва, 19–23 июня 1995 г.).

2 Контаминированная цитата из «Повести о том, как поссорился Иван Иванович с Иваном Никифоровичем».

А34
[23–26 января 1996 года, Москва, от руки]

Племянница, родная,

<...>

мне с разных сторон почему-то советуют писать воспоминания. Я пробовал, у меня давно лежит десяток отрывков, вроде и неплохо, но очень неприятно: как будто в прошлом одни сплошные раны, до которых больно дотрагиваться. Всё равно, как если бы тебе предложили вспоминать о твоем детстве. Я всю жизнь прятался в науку не от хорошей жизни, а старался забывать всё, что кроме нее: и хорошее, и плохое. Рахманинов говорил: я на 15% человек, а на 85% музыкант — я тоже[1]. Было время, когда наука во мне съежилась, а человечность не расширилась, получился вакуум, очень болезненный. Сейчас лучше — я в своей области вижу много новых проблем и знаю, как к ним подходить, и что никто другой сейчас этого лучше не сделает и даже не поставит; так что вакуума нет. А только сил всё меньше и усталости всё больше. <...> Я получил сегодня из какого-то литературного центра анкету: вопрос 7-й: «какие события своей жизни вы считаете важнейшими», вопрос 19-й (и последний): «что Вы думаете о будущем России». Насчет будущего России всё ясно: напишу: «по-прежнему будет догонять Запад, торопясь через ступеньку, пока не догонит; сейчас она при очередном прыжке упала и больно растянулась на ступеньках, а побежит ли она, когда встанет, с правой или с левой ноги, — не так уж важно». — (Пишу это на всякий случай — вдруг пригодится, когда тебе будут французы задавать такие же глупые вопросы.) На самом деле, конечно, встать, разбившись о крутые ступеньки, тяжело: в этом году под выборы почти наверняка будет что-то вроде путча. <...> Выползай из усталости, апатии и сонливости, по письму чувствую, что это временное (у меня тоже бывает): я хотел бы, чтобы это письмо тебе помогло. А политический и не только политический постскриптум такой. За этот месяц было еще одно чеченское сражение, о котором ты могла читать в газетах, и я каждый день

вспоминаю одно суждение из патриотического журнала «Русский вестник» за 1912 г. (тогда тоже были балканские войны, только не в Боснии, а в Македонии); у русского солдата кроме общеизвестных его достоинств есть еще одно — неприхотливость к начальству. Это значит: когда над французским солдатом офицер (генерал) дурак, то его боеспособность падает до нуля, а у русского — только наполовину. На начальство России всегда не везло (и нам в частности), давай же и дальше быть русскими солдатами на своих научных местах. А причисляя к начальству и все жизненные неблагоприятные обстоятельства — помнить, что снижаться нам свойственно только наполовину. Обнимаю тебя. Целую и люблю.

Твой.

23–26.1.96

P.S. Который год забываю об одной просьбе (когда встречаемся, когда пишу — обычно не до того): в книжных магазинах, в отделе классики, посмотри для меня, нет ли расхожего издания Leconte de Lisle, Poèmes antiques (другие его сборники у меня есть). Он не моден, но все-таки считается классиком, поэтому иногда переиздается. В Америке не было. Век буду благодарен.

1 См. письмо Б29.

А35
[6 февраля 1996 года, Москва, компьютерный набор]

Племянница,

позавчера я получил твое письмо с шифром mg11 (и интересной датой 0.01.96) и говорил с тобой по телефону. Как я понял, твое возобновившееся преподавание идет нормально: без удовольствия (какое уж удовольствие), но и без катастроф. Поэтому когда ты в письме пишешь, что в России тебе жить будет нехорошо, потому что придется преподавать, то это немного преувеличено. За границей тебе

ведь тоже, вероятнее всего, придется преподавать; так что помни, что ты к этому способна не хуже других. Даже я в осеннем семестре преподавал — повторял при кафедре лингвистики МГУ курс анализа поэтич. текста, главным образом по опубликованным статьям; больше всего меня поразило, что народ не редел и не разбегался, даже те, кому слушать было не обязательно. Угрызения твои насчет собственного невежества я понимаю: если сосредоточиться на этом мыслью, то кто угодно полезет в петлю, кроме Вяч. Вс. Иванова. Но ты же это невежество не стараешься скрывать, и когда в разговоре чего не знаешь, то переспрашиваешь, будь собеседник студент, профессор или дочь; честное слово, это лучший способ жить, и обрати внимание, на такой твой переспрос собеседник то и дело сам обнаруживает, что недостаточно знает предмет, чтобы сказать о нем коротко и просто. Меня такой прямоте научило общение с Аверинцевым: в разговоре с ним притвориться, будто понимаешь то, чего не понимаешь, было невозможно. Думай лучше о том, что ты знаешь, а другие не знают. Найди эти свои опорные пятачки и стой на них. В их числе твоя выгода и в том, что ты для их французских проблем — сторонний человек: не обязана быть ни за Деррида, ни против Деррида, а можешь трезво смотреть со стороны и вписывать его в ту сколь угодно смутную картину современной умственной ситуации, какая есть у тебя в голове. Ты считаешь эту свою трезвую нейтральность минусом, а она — плюс. Лизоблюдской должности она тебе не принесет, а уважение принесет. А ты ведь лизоблюдской карьеры и не ищешь, иначе давно бы бросила науку, сосредоточилась на карьере и преуспела бы вполне. Переводить ли «Грамматологию», решай сама; если ты сможешь прокомментировать ее с трезвостью для себя и упрощающей ясностью для читателя, то я бы от этой мысли не отказывался, хоть мое отношение к Деррида ты знаешь. Чем больше я гляжу на современную литературу и науку, тем мне больше кажется, что эпохе субъективизма, начавшейся (скажем) с Ницше и кончающейся с Деррида, осталось уже немного времени. А на смену ей, по законам исторического

волнообразия, придет опять полоса объективистского рационализма и прозрачного стиля, сравнимая с 18 веком. Попробуй почувствовать себя таким аванпостом рационализма 21 века, и у тебя будет больше уважения к себе. (Ты пишешь: «здесь совершенно необходимо быть в себе уверенным, чтобы себя постоянно представлять, другие этого за тебя не сделают». Да разве мы себя представляем? Мы представляем ту часть и тот аспект науки, которыми мы занимаемся.) Твое русское происхождение этому только способствует: ты, как Петр Великий (ну, не в одиночку, конечно), хочешь двинуть русскую культуру следующего века так, чтобы она в очередной раз догнала Запад, и поэтому высматриваешь не то, что нынче в моде, а то, что будет плодотворно завтра. Модные автомобили покупает потребитель, а перспективные — производитель; ты — производитель. Насчет того конца иррациональной волны, начавшейся с романтизмом и вторым подъемом взметнувшейся в XX в., я вдруг задумался, когда на днях доделывал статью о Лотмане под провокаторским названием «Лотман и марксизм»[1]: приедешь — покажу.

<...>

Попреки твоей дочери — что ты всё как будто сидишь на краешке стула — мне хорошо знакомы. Сын в своем переходном возрасте тоже попрекал меня тем, что я не веду красивую жизнь и не держусь браво и хватски, чтобы все меня уважали и боялись. Я ему отвечал: те, чьим мнением я дорожу, меня уважают, а до тех, чьим не дорожу, мне дела нет. Дочь у тебя в таком возрасте, когда кажется, что жить — это значит казаться и что все должны быть такими, как ее «референтная группа». Отвечать можно только: «я к этой роли в твоем возрасте (или еще раньше) примеривалась, и себе в ней не понравилась». И наращивать толстую кожу, как в детстве, когда и тебя и меня всякий желающий дразнил и колол. Мне этой детской кожи хватило на очень долго. О твоей эрудиции у нее преувеличенных представлений не было никогда, дети отлично понимают, что мы знаем и чего не знаем. Просто до поры-времени они не могут или не хотят над этим измываться, а потом это становится потребностью. Если ты будешь

сама в смиренном невежестве ее расспрашивать о ее темах по экономике и социологии, то и ей будет полезнее (начнет яснее понимать, что она знает и чего не знает), и тебе просветительнее, и от сознания своего превосходства она помягчает. Я так расспрашивал сына про арабские, шумерские и полинезийские сюжеты — получалось.

Я здесь без изменений. Работоспособен, знаю, что нужно делать, чтобы довести науку «лингвистика стиха» до той степени, где ее всякий сможет продолжать, но собирать материал, понимать и описывать должен сам, чужими руками не могу, а это медленно. Отказываться от ненужных просьб, вроде статьи о Лотмане, тоже так за всю жизнь не научился. Ельцин в борьбе за популярность объявил, что с 1 марта будет сам контролировать выплату зарплат, поэтому в январе и феврале их перестали выплачивать намертво даже там, где еще кое-как это делали.

<...>

6.2.96 Твой.

1 Статья опубликована: Новое литературное обозрение. 1996. № 19. С. 7–13.

А36
[1 июня 1996 года, Москва, от руки]

Племянница, родная, когда будешь печатать свою статью об обэриутах[1] — если можно, сделай в углу сноску, что за консультации о том и сем ты признательна Гаспарову. А то я чувствую, что мне когда-нибудь о них придется писать и что-то повторять из сказанного. Конечно, если ты не на всю жизнь исчезнешь за границей, мне хотелось бы написать это с тобой вместе: как начали мы соавторством тридцать лет назад, так и кончили бы. О том, что такое уличное представление о философии (бытие: «есть вещь или нет?», сознание: «есть смысл или нет?»), я никогда не задумывался и домыс-

лы свои по телефону импровизировал на месте; а ведь это важная культурно-историческая проблема, и, наверное, в наш век, когда стали говорить о проблеме обыденного сознания, об этом где-нибудь писали, — поинтересуйся. Первый образец этого я даже знаю: это «Облака» Аристофана, где Сократу приписываются размышления о таких-то и таких-то тайнах природы — на самом деле они его нимало не занимали, но так уж представляла себе философов широкая публика. Если бы Аристофан осмеивал философов XX в., то он вкладывал бы в них речи, похожие на хармсовские рассуждения. Вообще, «образ философа в литературе и публицистике XVIII–XX вв.» — тема захватывающая (не меньше, чем «образ американца...», о котором я листал толстую французскую докторскую монографию). Моя мать была вполне советским человеком и к марксизму относилась самым серьезным образом, но когда я ей прочитал «Плоды раздумий» К. Пруткова, она сказала: «из этого можно вывести всю марксистско-ленинскую философию». (Наверное, и любую иную; если бы я был образованнее, я бы в этом поупражнялся, и, наверное, получилось бы нечто похожее на Хармса в интерпретации Жаккара и Мейлаха[2].) Козьму Пруткова Хармс перечислял среди нескольких величайших для него мировых авторов, рядом с Блейком (о котором знал разве что со слов Маршака) и еще кем-то столь же неожиданным. Что «Улисса», считающегося энциклопедией сознания XX в., кто-то предлагал читать как Riesenscherzhuch[3] вроде «Гаргантюа», я, кажется, уже писал.

Моя дочь вдруг сорвалась в душевный кризис (40 лет: говорят, тоже переломный возраст). <...> Стала разговаривать о боге: «он, конечно, есть, но для каждого свой». Я вспомнил, как старая Нина Завадская (которая с молодым Пастернаком по дождю гуляла и итд.) из «Безбожника» говорила: «греки говорили: у каждого свой бог», я с трудом узнал в этом менандровское «у каждого свой даймон» («демон», вроде ангела-хранителя, носителя судьбы), и мне такое упрощение понравилось. Дочь сказала, что моя мать за год до смерти сказала, что жалеет, что не верит в бога: тогда она бы знала, что встре-

тится с Дм. Еф. на том свете. Я ответил: зато тогда они бы не встретились на этом свете в редакции «Безбожника».

Мне понравился твой последний телефонный разговор: по голосу показалось, что тебе удается сейчас уходить от жизни в работу. Очень желаю тебе сил. Время весеннее, усталое, я по-прежнему успеваю что-то делать, но меньше, чем раньше, так что неисполненные долги встают кучею. <...> Через две недели поеду на заработок в Минск. Читать по соросовской программе полуторачасовую лекцию «Филология как основа образования» («Филология: наука понимания и наука взаимопонимания»), которую еще нужно написать; и еще два маленьких курса лекций, всё — за неделю.

В промежутке между началом и концом этого письма я увидел в книжном магазине твоего Лапланша и Понталиса. Толстый, крупно напечатанный, как для школьников. Я полистал: мне по-прежнему кажется, что лучшее в нем твоя статья, а все остальное может состязаться в трудном конкурсе на самую ненужную переводную книгу года[4]. Но русская культура со времен Петра Великого славилась переводами самых неожиданных книг и — ничего, пошли на пользу. Ты молодец, что одолела этот сухой корм, а выход книги будет тебе на пользу при дальнейших контактах с официальными французами.

Еще я в этом промежутке поделился соображениями об «образе философа в обыденном сознании» с К. Поливановым, товарищем по Пастернаковскому изданию; он заметил, что в XVIII–XIX вв. (т. е. при романтизме и постромантизме) этот образ существует, видимо, в паре с образом поэта, и поэт (художник и пр.) окрашен положительно, а философ отрицательно. Я обрадовался: у меня давно есть гипотеза (наверно, я тебе говорил), что в середине XVIII в. в Европе произошел демографический перелом, человечество поняло, что победило в борьбе с природой и уже не вымрет, и перешло из обороны в наступление на природу, это означало риск, это означало спрос на нестандартные решения — на нестандартных личностей — на романтических героев в размахе от художника-визионера до человека из подполья; от-

того-то чиновник (стандартный) в русской литературе отрицательный тип, а лишний человек (нестандартный) — положительный тип, вроде поэта. На таком романтич. фоне философ, представитель мировых законов, выглядит так же одиозно, как чиновник, представитель общественных законов, и так же подлежит насмешке и пародии. И только нам, за советское время соскучившимся по философии, кажется, что обэриуты должны были уважать Флоренского и прочих. Давай когда-нибудь напишем про это.

Письмо посылаю с той же оказией, что и в прошлый раз: моя дипломница, будущая аспирантка[5], чуть ли не в третий раз в заграничной стажировке, умная и начитанная (нахватанная, но чересчур эссеистичная: я учу ее научной дисциплине и говорю: «объяснять простое через сложное — не дело» — в данном случае поэтику оды через обряды барочных праздников и фейерверков).

О сложностях личной жизни стараюсь не думать, пока возможно. Давай пожелаем друг другу, чтобы такая возможность была. Я тебя очень люблю, обнимаю и целую.

Твой.

1.6.96

1 К сожалению, оформить разрозненные соображения в цельный текст не удалось и до статьи дело не дошло; была только опубликована по-немецки моя рецензия на статью Хаизен-Лёве о философии «ничто» (Russischen Denken im europaeischen Dialog / Hrsg. von M. Depperman. Innsbruck, 1998. S. 212–224). Не осуществилось и пожелание М.Л. относительно совместной статьи, в которой бы рассматривалось обыденное восприятие философии в различные культурные эпохи.

2 Ж.-Ф. Жаккар, профессор Женевского университета, автор книги «Daniil Harms et la fin de l'avant-garde russe» (1991; русский перевод: *Жаккар Ж.-Ф.* Даниил Хармс и конец русского авангарда. СПб., 1995) и М.Б. Мейлах, известный специалист по Д. Хармсу и А. Введенскому, обэриутам, ныне профессор Страсбургского ун-та. Их интерпретация Хармса выводит принципы его поэтического творчества из концепций его друзей-философов — Якова Друскина и Леонида Липавско-

го, в которых речь идет о роли чисел, о столкновении смыслов, о понятиях жизни, смерти, вечности, бессмертия, порядка и случайности, движения и др. Жаккар, например, трактует творчество Хармса одновременно и как поэтическую систему, и как «метафизику смысла, глобального и единственного, преодолевающего обманчивый рационализм смыслов» (Там же. С. 10).

3 Огромная книга острот (*нем.*).

4 С этой крайне нигилистической трактовкой одного из лучших европейских словарей классического психоанализа невозможно согласиться. М.Л. считал этот словарь «бесполезным», потому что он был недостаточно прост для начинающего читателя.

5 Т.И. Смолярова.

А37
[Конец 1996 года, Москва, от руки]

Племянница, я очень рад был твоему звонку об обэриутах: во-первых, потому что ты живешь и трудишься, а во-вторых, потому что ты не совсем забыла об этой теме. Она интересная — хоть бы тем, что напоминает нынешним новаторам, уверяющим, будто такого мира и мироотношения, как сейчас, никогда не было: «нет, было». И тем, что напоминает: анализ может быть объективным, а интерпретация не может, она зависима от установки — любой серьезный текст может быть понят как пародический, и наоборот. Когда я впервые прочитал (лет в 10) 4-стишие Тютчева «Умом Россию не понять… можно только верить», я решил, что это пародия на славянофильство. А пародический романс Панаева «Густолиственных кленов аллея…» стал очень популярным и пелся всерьез. Недавно вышел номер «Нового лит. обозрения» со стенограммой круглого стола филологов с философами[1] (я об этом писал тебе в сентябре): приедешь — покажу. По этому поводу зашла речь, чтобы всем взять какой-нибудь один текст и разобрать, кто как горазд; но какой? Я сказал: «безымянный»; философы резко воспротивились. Им нужно было имя автора, чтобы заранее сформировать установку подхода. Я сказал: «обэриутский»; тут воспротивились и те

и другие, а почему — внятно объяснить не могли. Я когда-нибудь еще напишу филологический разбор чего-нибудь обэриутского, но представить себе, из каких философских осколков составляли они свой бриколяж, я без тебя не смогу.

<...>

1 Философия филологии: Круглый стол // Новое литературное обозрение. 1996. № 17. С. 45–93. В дискуссии приняли участие постоянные авторы и сотрудники журнала «Новое литературное обозрение», а также группа философов, связанных с издательством Ad Marginem. Мой отклик па эту публикацию см: *Автономова Н.С.* Философия и филология (о российских дискуссиях 90-х годов) // Ускользающий контекст: Русская философия в XX веке. М.: Ad Marginem, 2002. С. 256–283.

А38
[26 марта 1998 года, Москва, от руки, открытка]

26.3.98. Племянница, как я понял из вчерашнего разговора, логика получается такая[1]. В мире стало больше предметов, поэтому уже некогда сосредоточиваться на отдельности («тождестве») каждого — дай бог разобраться в их различиях (différence). Дело это долгое, поэтому, пока поймешь, проходит временной зазор (différance), он набивается осложняющимися посредниками познания. Какими именно? Подозреваю, что тут-то и включается понятие supplément: вступая в сознание, дифферируемый предмет вступает в соотношения с остальным содержанием сознания и находит там свое восполнение — итд., подробности об этом понятии. Про перемену в течении времени, где вместо origines etc — редубльманы и дедубльманы, я не успел понять. Мне жаль, что три часа прошли так малоплодотворно: это я виноват, что сбил твои возникающие мысли повторением моей старой схемы. Если мои переспросы с точки зрения первокурсника так тебя сбивают, их можно совсем отменить: пиши на философском языке, пересказывая Деррида его же словами,

без перевода на язык обыденного сознания, это будет легко, а в каком-нибудь придаточном предложении твое собственное и разумное всё же выбьется на поверхность и окупит всё остальное. Сейчас, как я понял, тебе сдавать письменный доклад по устной конференции — он даст материал для концовки; потом о Д. в энциклопедию — это даст логическую схему. А там пойдет.

Целую тебя. Твой.

1 Нижеследующие рассуждения — попытка представить концепцию Деррида в терминах обыденного языка, радикально отличного от языка Деррида.

А39
[27 марта 1999 года, Анн Арбор, от руки]

27.3.99

Племянница, спасибо, что позвонила; я уже сам не раз жалел, что не успел переспросить у тебя мамин адрес, он у меня в книжке записан карандашом и полустерся. Поздравляю с распечаткой Деррида: вот теперь и пойдет, думаю, самое мучение. Узнавши про переделку бостонской статьи, я вздохнул: мне с самого начала казалось, что не стоит она таких трудов и переживаний и лучше бы от нее отделаться и забыть. Но, видимо, был неправ, ты оказалась чем-то вроде гласительницы программы, и тогда делать нечего, нужно гласить подробно и внятно. Конечно, то, что ты пишешь, сказать необходимо, и во всеуслышание (всеучитывание), но что это будет сказано по такому случайному поводу, как бостонское столпотворение[1], меня всегда смущало. Пиши, пожалуйста, со всеми точками над и, но ради бога, не беспокойся, что непременно кто-то на что-то обидится и с кем-то на какое-то время испортятся отношения. Ты уже давно существуешь сама по себе, а не как член или представитель какой-то компании — вот так и стой, и, кроме уважения, ничего от этого не будет.

Я здесь не очень доволен собою: надеялся работать с такой же интенсивностью, как в Узком, а не получается, не хватает сил. Видимо, оттого, что там я сидел на одном предмете, а здесь приходилось переключаться с Мандельштама на преподавание, привыкать к здешней библиотеке и пр. Кстати, студентам (аспирантам) я здесь должен был, кроме уроков по разбору стихотворений, рассказывать о точных методах исследования, по этому поводу пересказал им ту характеристику нынешней культурной ситуации, которую мы сочинили для ивгийских аспирантов[2], — ничего, слушали тихо, как кролики (они все какие-то бессловесные, и Ронену с ними скучнее, чем было несколько лет назад). Кстати, знаешь, какой еще пример того, что филологии приходится перестраиваться с установки на «свое» на установку на «чужое»? Краеугольный камень филологии — языкознание, и краеугольный камень языкознания — фонетика. Еще когда мы учились, звуки классифицировались по артикуляции, на передние, задние и пр.: по тому, как лингвист, носитель таких-то («своих») языков, выговаривает их сам и ощущает это. Теперь они классифицируются по акустике, на компактные, диффузные и пр.: по тому, какими лингвист видит со стороны (как «чужой») их изображения на объективной фонетической спектрограмме. Вот так и Пушкина мы ощущаем (должны ощущать) не в сердце и горле, а перед глазами в академическом издании с вариантами и параллелями.

«Пушкинский юбилей — это еще надо пережить», сказал по телевизору юморист-обозреватель незадолго до моего отъезда[3]. Мне в середине апреля ехать на пушкинскую конференцию в Калифорнию, куда съедется всё поголовье пушкинистов из России и даже из Европы[4]. По дороге придется сделать крюк и заехать на день к Марине Тарлинской в Сиэтл: она за пятым мужем (большой, как башня, а чем занимается, так и не знаю) ожила от очень долгой депрессии, заработала и опять нуждается в единомыслии и ободрении. <...>

С Роненом очень интересно — он не только знает на память всю мировую словесность и в любом месте Мандельштама мгновенно видит переклички сразу с Рембо, пророком Исаией и Гегелем в пересказе Куно Фишера, но еще и рассказывает бесконечные занятности про Якобсона и прочих своих великих учителей. Я очень боялся разочаровать его соавторством, но, кажется, пока еще этого не случилось: он специалист по интертекстуальным кирпичам, а как эти кирпичи складываются в стихотворение, он думал меньше, и что-то в моих разборах для себя находит.

В Узком у меня была однокомнатная нора, а здесь двухкомнатная, слишком просторная для ощутимости. На душе не очень хорошо.

<…>

Твой помощный зверь — «битый битого везем».

1 Речь идет о XX Международном философском конгрессе в Бостоне в августе 1999 г., где мне довелось делать пленарный доклад. В этом докладе рассматривались прежде всего дефициты русского концептуального языка и способы их преодоления (см.: *Avtonomova N.* On the (Re)creation of Russian Philosophical Language // The Proceedings of the Twentieth World Congress of Philosophy. Ohio, 2000. Vol. 12. P. 83–94). Мое выступление вызвало отрицательную реакцию ряда российских философов, особенно провинциальных, возмущенных таким проявлением непатриотичности, и критические выступления печати; эту критику я считала абсолютно несправедливой. Речь в письме идет о моей работе над журнальным вариантом доклада, предназначенным для «Вопросов философии», где мне предоставили возможность изложить свою позицию. Ср.: *Автономова Н.С.* Заметки о философском языке: традиции, проблемы, перспективы // Вопросы философии. 1999. № 11. С. 13–28.

2 Спецкурс для студентов и аспирантов ИВГИ РГГУ под заглавием «Философия и филология» мы прочитали с М.Л. в феврале 1999 г.

3 В. Шендерович в передаче «Итого». См. письмо П34.

4 См. письмо П34.

A40
[Конец 1999 года, Москва, компьютерный набор]

Племянница[1],

повторяю: статья хорошая[2], никто другой сейчас заведомо так не напишет. Мои замечания — редкие и мелкие. Все они — оттого, что я не тот читатель, на которого статья рассчитана. Для меня она сложна — в разговорах при переспросах многое было понятнее, а теперь я опять стал хуже понимать предмет. Ты пишешь для тех, кто с порога знают о Деррида всё, что его и о нем у нас где-нибудь напечатано, а то и больше; и ты только пользуешься выходом новой книги, чтобы навести порядок в их головах. А читать тебя будет более широкий и менее подготовленный круг читателей. Если тебе иногда хочется переписать статью заново, то я это понимаю. Но об этом речи нет: во-первых, нет времени, а во-вторых, ты к этому внутренне не готова: для тебя этот жанр — форма самоутверждения, «вот что я знаю, и настолько хорошо, что не хочется снисходить до объяснений»; просветительского, популяризаторского человеколюбия у тебя нет (а у меня не в меру много). Поэтому, кроме мелких поправок на полях, у меня только три больших совета.

Первый. Законный вопрос всякого читателя: а зачем и почему возникла эта сложная и трудноописуемая система? На первых страницах ты внятно отвечаешь: потому что усложнение нашей жизни перевело внимание от проблем бытия (до Канта) к проблемам сознания (после Канта) и далее к проблемам языка-коммуникации (в XX в.). Это очень хорошее начало, но ты тут же о нем забываешь и основные понятия Д. разбираешь, уже не вспоминая о нем. Очень нужно на с. 4–5, перед разбором понятий порознь, вписать большой абзац о том, как они связаны друг с другом и с общим их истоком — проблемой языка-посредника. Примерно так. *Жизнь усложнилась, от человека до истины непосредственно дотянуться все труднее, между ними все толстеющий слой посредников, наросший в языке. «Наличие», область несомненного, отступает в бесконечную даль. Между ним и нами вытягива-*

ется ряд ступеней, каждая доносит до нас только «след» предыдущей. Этот ряд такой длинный, что даже за ним, на горизонте, мы отчаиваемся предполагать окончательное наличие, а предполагаем лишь дальнейшие ступени-следы, сгущающиеся для нас в «прото-след». Ступень от ступени, след от следа отличается «различием». Общее различающее свойство этих различий мы называем «различАнием». Общую функцию этих различий — расчленение — мы называем письмом, «протописьмом». Неполнота каждого следа — это похоже на то, как если бы перед нами был мир не в бытии, а в становлении. Но это не совсем так, Д. предпочитает представлять его не во времени становления, а в пространстве синхронности, и его расчлененность — это пространственная «разбивка». А каждая частица этого мира соотносится не столько с собой в прошедшем-будущем, сколько с своими соседними в настоящем. Это соотношение называется «восполнение»: каждая неполнота стремится к полноте, но никогда ее не достигает. Так как единое полное наличие растворилось в множественности следов, и она бесконечна, то эта бесконечность не может быть центрирована, иерархизирована, «логоцентрична»: между ее неполнотами отношение определяется не логикой самотождественного разума, а логикой несамотождественного восполнительства, побуждаемой сперва потребностью, а по миновании потребности — воображением. Д. воспротивился бы такой суммарной картине его представлений и заявил бы, что никакой суммарной картины у него нет; тем не менее она возникает, и при взгляде со стороны мы можем исходить только из нее. А при взгляде изнутри, конечно, для Д. главное — не итоговая картина, а процесс работы: он старается о том, чтобы толща языка-посредника, в которой барахтается человек, не затвердела, старается разбить ее трещинами, расчленить и перерасчленить. От этого психологического состояния намеренная парадоксальноть его терминологии: «след»*

[*На полях:*] * Это неожиданное слово просто метафора: ведь письмо — это тоже расчленение потока речи на слова, звуки и буквы; но любование этой метафорой станет у Д. почти самоцелью.

неизвестно чего (из психоанализа), «письмо» до языка (потому что сквозь толщу посредников звучащая речь не доходит, и письменная становится важнее); от него же — демонстративная нестандартность его стиля, напряженно толкущегося на одном месте и стремящегося выговорить языком нечто отрицающее язык. Если картинка неправильная, то, во-первых, проверь, из каких твоих неудачных выражений могло возникнуть это мое неправильное понимание, а во-вторых, конечно, пиши по-своему, только чтобы такой суммарный обзор со стороны, с птичьего полета был в самом начале и оставался в памяти читателя до самого конца. Подчеркиваю: «со стороны», потому что дальше ты говоришь только изнутри этой системы, как бы за Деррида (и за Деррида, говорящего за Руссо). Если подчеркнешь эту стороннюю точку зрения упоминаниями о каких-нибудь недоговорках и несостыковках Деррида (подготавливая чужую критику в разделе «Д. и другие» — где ее образцы выглядят очень случайными) — то хорошо.

Я подумал, не вставить ли в конец, где ты подводишь итоги, фразу вроде *Рассматривать книгу Деррида следует как его отчет о его читательских сомнениях над современной философией. Такие сомнения знакомы каждому читателю; сверяться ими — необходимо и полезно. Тогда сама беспорядочность изложения, на разный лад возвращающегося к одному и тому же, окажется естественной и понятной. Но, делясь сомнениями, трудно удержаться от агрессивности — от желания авторитарно внушить читателю собственные сомнения и никакие иные. Не удерживается от этого и Деррида: тогда его повторяющиеся вариации необъясненных понятий и неразрешенных парадоксов приобретают зловещую интонацию гипнотического заклинания. Читатель должен сам почувствовать, где сомнение философа переходит в самолюбование эстета и в демагогию властителя дум. И после этого он волен или сосредоточиться на исходной сути, отвлекшись от стилистических красот, или любоваться переливчатым потоком сознания современного эстетства, или, по мере сил, сочетать и то и другое отношение к тексту.*

Второе. Я поставил на полях крестики и крестики в кружочках там, где ты говоришь о вещах, заведомо неизвестных большинству читателей: что такое спор с Гадамером, фармакон, гимен, декартовская гипотеза безумия, Леруа-Гуран, невма, «Шпоры», «Почтовая открытка», проблемы хронологии Руссо (твои читатели — никоим образом не специалисты по Руссо!) и пр.[3] И кто такой сам Деррида? Чтобы не переписывать статью из высоколобости в просветительство, сделай в этих (и в любых других!) местах сноски. И в первой же сноске напиши: Деррида, родился тогда-то там-то, из такой-то житейской и научной среды, по ступеням известности шел так-то и так-то (главное именно это, а не просто перечень книг и мест преподавания), стереотипный свой образ поддерживает такой-то; я понимаю, что такой портрет в сноске — задача художественная, а не только научная, но ты взялась за гуж, и отделываться ссылкой «на что похож Д. — см. статью [Вайнштейн] в ж. „Медведь"»[4] ты уже не имеешь права. Чем больше ты постараешься взглянуть на свою статью глазами (скажем) первокурсника, угадать: что ему трудно понять, и разъяснить это в сносках — тем лучше. Где на полях стоят знаки вопроса, там я сам не понимал, что ты хочешь сказать, а вычеркивать не решался, вдруг — важное? Помни, пожалуйста, хотя бы в этих сносках, что твоя задача — перевести Д. на язык здравого смысла, и на выражения вроде «это не поддается формулировке», «это не то и не то и не это» ты не имеешь права. Я понимаю, что философу полагается на здравый смысл смотреть свысока, но другого общего знаменателя между ним и каждым из его читателей нет: если хочет быть понятым, пусть найдет в общечеловеческом душевном опыте что-то, на что можно опереться (как ты опираешься на общее ощущение, что сквозь язык все труднее проникнуть в смысл). Мне резали слух модные обороты (которые ты сама в последнем разделе называешь «непереваренными») «проект грамматологии» вместо «замысел» или (даже чаще) «система», «жест мысли» вместо «ход мысли», но тебе не захочется от них отделываться. [Чем «проект» и «жест» отличаются от «наброска» и «хода»? тем,

что в них автор воображает себя более активным и значительным, чем на самом деле.]

Третье, чисто внешнее. Проследи, чтобы единообразно была выделена иерархия заголовков (где отдельной строчкой, где в начале абзаца отдельной строчкой, где в начале абзаца в подбор) и особенно — правильность отбивок. Я начал упорядочивать отбивки, но запутался, а тебе виднее. Последний раздел, переводческий (и библиографию), я бы предложил набрать петитом, чтобы ты и Деррида не казались здесь равноправными объектами исследования. Не беспокойся, раздел так хорошо написан, что все равно его будут читать внимательно и с пользой. Я только один раз на полях написал «хорошо!», но и кроме этого мне хотелось сделать это раза четыре, только трудно вспомнить, в каких местах: во всяком случае, там, где ты выбивалась из дерридианской терминологии и позволяла себе свежий образ. Помни об этом при самоободрении. Статья хорошая: без нее «Грамматология» была бы непонятна, а с чьей-нибудь другой статьей — понималась бы катастрофически неправильно. Тебе не удалось отделаться от апологетической интонации (Д. у нас ведь нуждается не столько в апологии, сколько в защите от апологетов, ты сама об этом пишешь): более спокойный, отстраненный и упрощающий тон был бы лучше. Но без апологетического тона почти не бывает вступительных статей. Будешь писать специальную, не-вступительную статью — само получится спокойнее.

Прости, что карандашные пометки — плохим почерком: приходилось читать и писать по большей части в метро.

Крепко целую

Твой М.

1 Это письмо — кульминация всей сюжетной линии, связанной с моим переводом «Грамматологии» Деррида; началом ее было обсуждение вопроса о том, стоит ли мне браться за перевод, продолжением — неоднократные обсуждения того, как следует переводить и как писать об этом авторе, и вот, наконец, — оценка результата. Это письмо было отправлено мне в Париж

с нарочным. В нем содержится критический разбор моей вступительной статьи к «Грамматологии» Деррида, которая в тот момент была уже в верстке. В целом М.Л. оценивает мою работу как «хорошую», однако досадует на то, что мне не удалось сделать по-настоящему «просветительскую» статью, сделав перевод понятийной системы Деррида на язык здравого смысла, доступный широкому читателю; в результате текст остался «высоколобым» («популяризаторского человеколюбия у тебя нет»). М.Л. предлагает здесь сделать вставки — одну обобщающего, другую оценочно-резюмирующего характера и дает их набросок; с некоторыми изменениями я их приняла...(существовал, кстати, и другой, примерно на страницу, несохранившийся набросок его текста о Деррида, который казался мне пародийным, а ему — вполне серьезным: он был написан на экспериментально-традиционном марксистском языке). Однако других его замечаний я не учла, а с некоторыми и не согласилась. Так, я не согласилась с его упреком в «апологетизме», который показался мне обидным и несправедливым: думаю, жанром моей статьи была, конечно, рациональная критика, а некоторые читатели даже видели в ней «сведение счетов с Деррида». В целом письмо М.Л. меня расстроило: он утверждал, что в наших разговорах понимал предмет гораздо лучше, значит, виновато в непонимании было несовершенство моего письма.

2 *Автономова Н.* Деррида и грамматология // Деррида Ж. О грамматологии / Пер. с фр. и вступит. статья Н. Автономовой. М., 2000. С. 7–107.

3 Этот перечень нехваток, составленный М.Л., слишком уж разноформатный, чтобы его можно было здесь внятно прокомментировать. Слово «невма» на самом деле у меня развернуто поясняется ссылкой, только дальше, уже в самом тексте книги; «фармакон» и «гимен» поясняются контекстуально, по Деррида, это внутреннее противоречивые слова, взятые у Платона и Малларме: так, «фармакон» — это и яд, и лекарство, а «гимен» — это и состояние девственности, и брак, это состояние нарушающий; споры о хронологии Руссо касались датировки рукописей, не опубликованных при жизни автора; спор Деррида с Гадамером, начавшийся во время Первой франко-немецкой встречи (1981), строился вокруг противостояния герменевтики как всеобщего метода понимания и поиска смысла и деконструкции, опирающейся на «письмо» и не имеющей никаких универ-

сальных опор и проч. Дело в том, что М.Л. требовал от меня некоего абсолютного и мне недоступного максимума — предельной ясности каждого слова, присутствующего в тексте, — без всякого заранее предполагаемого знания. Мне кажется, что этот идеал в принципе нереализуем…

4 *Джебраилов А.* Жак Деррида: деконструкция в действии // Медведь. 1996. № 6/11. С. 52–55.

A41
[28 ноября 2000 года, Москва, компьютерный набор]

Племянница, письмо твое шло 20 дней с 7 до 27 ноября. В промежутке были твои звонки по поводу Зенкина[1]. Еще раз прошу: выключи всякую личную обиду, мы с тобой публичные люди, а это значит, что сознательно идем на то, чтобы о нас писали разные несогласные и часто неразумные вещи. Про «Записи и выписки» в печати тоже уже были некоторые обидные глупости. Застраховаться от этого можно только спрятавшись в келью и не печатаясь. Публиковать его критику вместе с твоей антикритикой — это лучшее, что возможно, и хорошо, что Лекторский до этого додумался. Но для тебя это трудное испытание, потому что писать придется для тех, кто не читал Деррида, а стало быть, прежде всего объяснять, что такое различание/отличение, еще более просто и понятно, чем тебе удалось в статье. А потом уже переходить к мотивировке русской терминологии. Ты права, писать просто тебе труднее всего, но ты помни, что у тебя эта привычка к сложности — не самоценность, а только реликт того времени, когда ты начинала быть философом и старалась показать себе и другим, что ты не хуже их. Теперь в твоем возрасте этой необходимости нету, и ты гораздо лучше выделишься на фоне других именно способностью к простоте. Кажется, и меня выделяют по этой же примете, хотя такой цели я себе не ставил, а об упрощении старался больше из-за собственного слишком конкретного ума.

Жизнь у тебя и вправду очень напряженная, но не катастрофическая: твои темы ты знаешь, и трудно только препарировать их для очередных занятий. Понимаю, что трудно, и жалко, что на это уходит все время; но все равно, твоя командировка ведь этого стоит. Поэтому я боюсь только за твое здоровье, и за депрессии в частности. Однако и здесь надеюсь на то, что такая по необходимости дисциплинированная работа, как у тебя, поможет с этим выжить. В русских условиях роскошь обессилеть была бы гораздо соблазнительнее и реальнее.

Спасибо тебе за добрые слова и прости за волнения о моем здоровье. Я-то волновался о нем гораздо меньше, поэтому мне совестно перед ближними. «Скорая помощь»[2] меня взяла по совершенному пустяку (низкий уровень гемоглобина, с которым обычно не живут; но субъективно я этого не чувствовал, и такие случаи в жизни уже были); в больнице обнаружили опухоль, требующую ликвидации; а ликвидация показала, что я чудом дожил до операции. Так что я не успел привыкнуть к мысли о тяжести положения, и до сих пор не привык. Тяжело было в послеоперационной, неделю не евшине пивши ни капли, и особенно оттого, что у меня отобрали искусственное ухо, очки и челюсти, так что я мало что понимал, мало на что отвечал и имел вид полного маразматика. Паскаль писал про мыслящий тростник, а я (по крайней мере один день) ощущал себя мыслящим творогом в брикете на полочке[3], и меня вроде бы должны были вставить в череп претенденту на итальянский престол в черном сюртуке. <...>

Держись, пожалуйста. Мне здесь тоже непривычно без разговоров с тобой. Опираюсь на тебя издали, обнимаю и целую.

28.XI.00 Твой М.

1 Речь идет о рецензии С.Н. Зепкипа «Наличие и отличие» (Вопросы философии. 2001. № 7. С. 158–163) па выход моего перевода книги Деррида «О грамматологии» с большим предисловием. Я была огорчена критикой, а М.Л. пе понимал моих эмоций и старательно меня урезонивал, поэтому отсылки

к этой рецензии еще не один раз встретятся в его письмах: так, М.Л. с самого начала убеждал меня в том, что рецензия Зенкина не только не плохая, а просто-таки превосходная и что мне нужно радоваться ей, а не огорчаться: если бы он действительно обнаружил в переводе какой-нибудь серьезный ляп, то тогда уж он не преминул бы вокруг этого порезвиться, но ведь нет этого, ничего такого он не нашел... радуйся! Кстати, направление обращенной на меня критики М.Л. по поводу Деррида было прямо противоположным направлению критики Зенкина: Гаспаров считал, что я недостаточно упростила Деррида, а Зенкин — что я недостаточно учла его сложность. Помимо этого рецензия Зенкина содержала принципиальное несогласие с моим выбором эквивалентов для главных понятий Деррида на русском языке. Так, вместо моих «различие», «различание» он предлагал «отличие», «отличение». Разумеется, в философском языке Деррида (хотя и метафорически окрашенном) такая замена недопустима. См. об этом в моем ответе С.Н. Зенкину: *Автономова Н.* Приставка как философская категория // Вопросы философии. 2001. № 7. С. 163–169.

2 М.Л. по скорой помощи попал в больницу в сентябре 2000 г.

3 Ср. письмо Б34.

А42
[19 декабря 2000 года, Москва, компьютерный набор]

19.12.00

Племянница, меня обеспокоило то, что тебя так обеспокоила рецензия Зенкина. Видит бог, она того не стоит. <...> Вспомни, какие бывают настоящие отрицательные рецензии, где пример из статьи да пример из перевода достаточны, чтобы убить книгу. По статье З. упрекает тебя очень мягко за то, что ты догматизируешь Деррида, а Деррида этого не любит; по переводу — за то, что ты пользуешься не той приставкой, которой пользовался бы он. Всё. Больше он не нашел, к чему придраться. Требовать, чтобы в рецензии не было даже фразы «конечно, есть мелкие оплошности, но они не

заслуживают упоминания» — это, право, слишком. Рецензий, которыми рецензируемый доволен, на свете не бывает: даже если в ней ни одного худого слова, всё равно автор морщится, что рецензент главного не заметил или не понял (такие бывали на мои книжки). И понятно, потому что рецензент, как всякий человек, думает о своем, а не об авторском. Постарайся утолстить свою кожу, чтобы не портить настроения и работоспособности такими мелочами. Ты не дебютант, никто не будет менять мнение о тебе к худу из-за этой рецензии. Ксантиппа говорила Сократу: «что о нас люди подумают?» — он отвечал: «разумные не обратят внимания, а на неразумных мы не обратим внимания». Подумай, кто те, чье мнение тебе не безразлично, переменится ли их мнение от этой рецензии? А от ответа твоего требуется лишь поставить вопрос на его философское место и не переводить спор в тон личной обиды; первое у тебя было, второе, я надеюсь, появилось. Сам я до сих пор самодовольствую, что правильно представил себе дифферансы как трещины во льду; я был бы рад, если бы тебе пригодилось и соображение насчет приставок dis и de, но если нет, так и бог с ним.

Я стал выходить в город, чувствую себя хорошо, врачи довольны, но категорически не разрешают поднимать тяжести больше двух килограммов, причем непонятно, на время это или на всю жизнь. В феврале я должен проходить переосмотр там, где меня оперировали <...> может быть, после этого скажут что-нибудь внятнее. Это значит, что в апреле к Ронену я вряд ли полечу, и в идеальном случае это отодвинется на конец года, а в более реальном — навсегда. Не так жалко даже Мандельштама — то, что зависит от меня, я постараюсь сделать и врозь, — а жалко трех месяцев, когда я мог бы сидеть один и работать над одним: видимо, я заранее рассчитал свои душевные силы в расчете на это, а теперь нужно перерассчитывать. В конце февраля поеду в Узкое, но месяц — это не три. Сейчас работу я делаю главным образом подготовительную и механическую; в ИВГИ пойду в первый раз на следующей неделе. У Шумиловой вторая операция должна быть, если я правильно понял, через месяц. Пожалуйста, береги себя

и свое душевное равновесие. Когда вернешься, наговоримся. С Новым годом тебя; обнимаю и целую.

Твой помощный зверь.

А43
[11 февраля 2001 года, Москва, компьютерный набор]

11.2.01

Племянница, твое письмо было брошено в московский ящик 5 февраля, а до меня дошло 9-го, по московским меркам не так уж и долго: при Тургеневе столько времени шли письма, например, из Баден-Бадена. Писано оно было еще раньше, за это время все вопросы, что преподавать во втором семестре, ты решила сама. Я подумал, что литературоведам можно дать тех же Лотмана и Бахтина, только другие сочинения, чем лингвистам, тогда и те, что ходят на оба семинара, не будут в претензии. Интересно, зачем лингвистам Лотман и особенно антилингвистический Бахтин? (Антилингвистический, т.е. верящий, что есть не только то, что в словах, но и то, что за словами; обо мне здесь уже стали печататься анекдоты, в том числе фраза, не знаю, к кому: «я понимаю, что в Вашей голове этой нелепой мысли не было, но в Вашем тексте она получилась».) Разве что для общего кругозора? Тогда честь и планировщикам и студентам. На студентов ты не жалуешься, так что, видимо, твои с трудом дающиеся рассказы до них доходят. Я восхищаюсь, потому что преподаватели всегда мне казались тяжелоатлетами от науки, которые везут ее больше, чем я. И завидую, потому что у меня сейчас мандельштамовский материал в таком состоянии, что прокатать его в семинаре было бы очень полезно, но я не решусь. Я сейчас конспектирую 900-страничную книгу по Мандельштаму[1] (израильскую, с автором я был знаком, когда он еще не был такой знаменитый), которая производит впечатление слегка выправленной магнитофонной записи спецкурса или спецсеминара — и ничего, кое-что полезное

выклевывается. Ты себя на магнитофон записывать не будешь, но твои подготовительные записи для занятий еще пойдут впрок для статей и книг; даже у меня шли, когда я вел семинар. Ты пишешь про остатки детского страха, что «ничего не пойму и не смогу внятно сказать» — я из этого состояния не выхожу никогда, поэтому на докладах и лекциях запрещал себе думать и тем более чувствовать аудиторию, а читал свои слова по бумажке в пространство «как под стеклянным колпаком», говорила Таня Миллер. Как ни странно, они воспринимались. У меня тоже память становится все хуже, я уже не могу держать в голове целиком ту статью, которую сажусь писать, и, как ты, «записываю клочки» и сочиняю по кускам — к счастью, с компьютером сводить эти куски воедино легче. Написанного не помню и старые свои статьи читаю с трудом. Ты вроде бы угрызаешься, что твое предисловие к Деррида получилось дайджестом, а это для философа унизительно. Но ты ведь не философ, а историк (современной) философии, от которого требуются именно дайджесты: на вопрос об узкой специальности ты отвечаешь «соврем. структурализм и постструктурализм», а не «гносеология» итп. Я понимаю, что те, у кого узкая специальность — «гносеология» итп., на историков философии смотрят с презрением, но это только потому, что они понимают: ими самими вряд ли будут заниматься историки философии, даже современной. Так что ты тоже могла бы смотреть на них с презрением. В письме ты горевала о рецензии Зенкина, по телефону вроде бы уже отодвинула это горе в прошлое. И правильно, потому что неразумно придавать такое значение рецензии, о которой через месяц не будет помнить ни одна душа, кроме библиографов. «Надо было написать самой и дать подписать постороннему человеку» — но ты опять-таки уела бы себя угрызениями совести о таком поступке. Когда я защищал кандидатскую, то взял в оппоненты того преподавателя, которого главным образом оспаривал[2], — только потому, что больше у нас специалистов по античной басне не было. Защитился я только чудом; мне говорили, что нужно было взять в оппоненты кого-нибудь более безраз-

личного, но, оглядываясь, я вижу, что меня бы загрызла совесть, потому что какое же это было бы (этимологически) оп-понирование? Зенкин тебя не понял — но это не оттого, будто ты так уж не сумела высказать то, что хотела, а просто оттого, что взаимонепонимание — это норма человеческих отношений; если собеседник что-то поймет и в чем-то переубедится, то это такой чрезвычайный случай, что над ним нужно бить в барабаны. Сейчас один средне-молодой стиховед, замечательно тщательный и талантливый[3] (я писал ему много рекомендаций и пр.), сочинил новую теорию стиха, а я не понимаю, он обижается, но я не угрызаюсь: я уже уходящая натура, имею право. Ты спросила, как я пережил операцию, что вытягивало, воля к жизни или сопротивление организма? Видимо, сопротивление организма (хотя в протоколе и написано: «поправление шло тяжело»): никакой особенной воли к жизни у меня не было, по российским обычаям мне даже не сказали, что опасность смертельная, и я об этом не задумывался, а если бы задумался, то, может быть, не стал бы упускать такой удобный случай умереть. Кроме одного дня, когда мне казалось, что я — мыслящий творог (я писал тебе об этом), было еще несколько ночей, когда мне казалось, что я — вроде ассенизатора, который пробирается по забитому кишечнику человечества (так!), широкому, как многолюдная больничная палата, и должен его очищать на общее благо: роль не очень для меня неожиданная, тут и психоанализа не нужно. И об операционных воспоминаниях, и о детских, похожих, как ты пишешь, у тебя и у меня, поговорим при встрече (запиши!): может быть, ты увидишь в них больше, чем я. А пока, пожалуйста, береги себя: инсульты и даже полуинсульты — это ведь хуже, чем смерть, этого мы оба боимся больше всего. Не пишу об этом, но думаю всё время. Сегодня 11 февраля. Через три дня начну ходить на медицинский переосмотр; об этом и о разных сомнениях насчет собственных текущих работ напишу в следующий раз. Обнимаю и целую, если позволишь.

Твой М.

1 Имеется в виду книга: *Сегал Д.* Осип Мандельштам. История и поэтика. Ч. I (кн. 1–2). Berkeley; Jerusalem, 1998 (= Slavica Hierosolymitana. Vol. 8–9).
2 Профессор МГУ И.М. Нахов.
3 М.И. Шапир.

А44
[28 февраля 2001 года, Москва, от руки]

Племянница, сегодня в ИВГИ делает доклад Патрик Серио — если получится, передам с ним это письмо[1]. Как раз в этот день выйдет, хотя и ненадолго, после второй операции, Шумилова; я сказал «желаю сил», она ответила по телефону «я всегда сильная». Самому мне назначили ложиться на вторую операцию ок. 10 марта — говорят, не больше чем на неделю. Обещают сделать выжигание двух опухолей за один раз. Делали еще один осмотр, я подглядывал на экран аппаратов и в первый раз видел себя изнутри: розового, как на анатомической картинке. Потом постараюсь все-таки спрятаться в Узкое или в Успенское. От Фулбрайта[2] пока никаких известий о перемене командировочного срока не было; зато тем временем меня ободрили врачи, что уже можно вместо 2,5 кг поднимать 6 (а где 6, там будет и 10). В последнем разговоре ты говорила, что в твоем последнем приглашении ты боишься необходимости объяснять студентам русский язык. Я думаю, что твоему внутреннему сопротивлению есть какие-то более веские причины, и, конечно, ты поступишь соответственно им, но русского языка, по-моему, бояться нечего — если я правильно понимаю, это будет такое же объяснительное чтение, как над Бахтиным и «Записками сумасшедшего», только ступенью ниже, больше внимания языку и меньше содержанию. Объяснить, что русское «ходил» — это имперфект, а «сходил» — это перфект, ты сможешь не хуже всякого; разве что придется перед отъездом в ИНИБОНе[3] прочесть по каталогу что-нибудь про русский язык для иностранцев. А когда ты будешь говорить: «такую-то фразу Лотмана можно было бы построить и вот так-то, и это

было бы тем-то хуже, а тем-то лучше», это будет тебе самой небезынтересно. Еще ты огорчалась статьями молодых авторов в «Логосе»[4], которые ругали нас заборными словами. Право, не стоит огорчения! Это просто значит, что они нас не любят; ну и что ж? Мы их тоже не любим; а что они выражают свою нелюбовь заборным языком, а мы нет — это только дело вкуса: ведь не захотела бы ты поменяться с ними местами! Мы с тобой — и все нам подобные — работаем, право, не для того, чтобы кому-то нравиться («я не целковый, чтобы всякому нравиться», говорил Горький), а потому, что нам (и еще кому-то) это интересно. Притом у В. Руднева здесь личные причины для свирепости: у Лотмана ему не удалось защитить диплом (и персональную филиппику против Лотмана, очень базарную, он напечатал еще года два назад в журнале «Пушкин»[5]), а меня он считает виновником того, что наш сектор не дал ему стороннего отзыва, когда он собирался защитить докторскую без кандидатской (потом, однако, защитил). Я тебе рассказывал, как этот отзыв обсуждался в нашем секторе и как потом В.А. Успенский спрашивал меня по телефону, как это было, сказав при этом памятную фразу: «Я не спрашиваю вас, какова была диссертация, — я, как тот персонаж у Булгакова, достаточно опытен, и мне не нужно видеть труп, чтобы понять, что человек убит». Вот так. <...>

Твой М. 28.2.01

1 В течение 2000–2001 гг. я работала па кафедре славистики Лозанского университета, руководимой специалистом по истории и сравнительной эпистемологии языкознания Патриком Серио.

2 Речь идет о программе Фулбрайт в России, проводившей ежегодные конкурсы на гранты на поездку в США для проведения научно-исследовательской работы.

3 Старое название библиотеки при Институте научной информации по общественным наукам (ИНИОН).

4 Западная славистика на рубеже тысячелетий: Беседа В. Руднева с А. Ивановым и Д. Куюнджичем и отклики на беседу // Логос. 2000. № 4 (25). С. 4–56.

5 Речь идет о статье: *Руднев В.* «Узнаете меня по усам» // На посту. 1998. № 2. С. 24–25.

А45
[30 мая 2001 года, Москва, от руки]

30.5.01

Племянница, пишу тебе сразу после твоего телефонного звонка, ночью. Очень я огорчился твоему неразумию. Человека приглашают на часовой доклад на свободно выбранную тему, перед международной организацией[1], уж какого еще желать признания — ан нет, она мучится оттого, что какой-то недоученный аспирант задает ей колкие вопросы перед какими-то студентами. Ну попробуй посмотреть со стороны на свое душевное поведение и согласись, что такое мучение — непозволительная душевная роскошь. Возьми себя в руки: душевные силы понадобятся тебе, когда ты вернешься. Скажи себе, если хочешь: «они просто завидуют мне оттого, что я столько лет работаю за границей и мной довольны», — и это будет половина правды. А вторая половина — обычное отношение младших к старшим: они хотят места под солнцем, и им кажется, что таких, как они, в мире не было и не будет. Ты и не отнимаешь у них места, а сидишь в своей нише, и не влезаешь спорить с ними, а тем более им подражать. А когда они придут в возраст, то сами придут на поклон к тому, что после нас останется. Этот умственный бунт наших духовных детей — то же самое, что бытовой бунт наших физических детей. Вспомни, как твоя дочь (и мой сын) рвались делать все наоборот и знать не желали нашего пошлого разума. Подросли — и стали понимать нас лучше. И здесь будет то же. Твое дело — оставить побольше того, к чему они потом придут на поклон. Разложить по полочкам (как ты говоришь) то, что тобой накоплено и тобой самой не разобрано. Я это свое дело сделал, четыре книжки о стихе написал, и теперь должен делать необязательные довески — право, это хуже, потому что понимаю: живу уже попусту. <...> Не удержался, стал подводить итоги жизни и спрашивал себя, хорошо ли, что я так стопроцентно сублимировался в науку <...>. Ответил себе: хорошо, потому что если бы я жил иначе, то поломал бы ближним гораздо больше жиз-

ней, чем теперь. Видишь, какими детскими сомнениями я занимаюсь на старости лет. Вот с этого и хочется помереть, и приходится говорить себе цитатой из заборного авангардиста: «Живи, а то хуже будет!» Или вспоминать стихи Свифта на собственную смерть: такой-то скажет обо мне то-то, такой-то то-то, а дураки, что годом или пятью моложе меня, затрепыхаются: я был для них как бы заслоном от страха смерти, и вот заслон упал, и приходит их собственный черед — если кто оплакивает меня искренне, то именно они. Вот так и я себе напоминаю: я должен жить, чтобы спокойнее было тем хорошим людям, которые моложе меня на десять–пятнадцать лет и с которыми я всю жизнь был ближе всего — как с тобой. Когда я в последний раз год назад встретил возле РГГУ Таню Васильеву, уже с перемученным лицом, она сказала несвойственные ей слова «скажи что-нибудь»!», а я не нашел ничего лучше, как сказать — «давай выживать»: я не знал, что это придется понимать так буквально. Пожалуйста, сделай для своего здоровья всё, что можно: ты ведь знаешь, что если оно здесь тебя подведет, то всё накопленное тобой научное время погибнет. Прости, что я столько написал о себе, больше не буду. <...> Жалко, что пропала открытка, которую я послал тебе сразу после прошлого разговора, — хоть там ничего и не было, кроме дополнительных ободрений на тогдашние твои жалобы, которые ты уже, наверное, и сама забыла (впрочем, нет, там речь шла о том самом окаянном аспиранте), но тогда она, может быть, лишний раз бы тебя поддержала. Книга, о которой я там писал, называется [Appollodorus]. Carrière Jean-Claude, Massonie Bertrand, La Bibliothèque d'Apollodore, trad annotée et commentée (Annales littéraires de l'Université de Besançon, 443: Centre de recherches d'histoire ancienne, 104: Lire les polythéismes, 3) Paris 1991. Так она описана в библиогр. обзоре. «Библиотека» Аполлодора — это греч. мифологический ком-

[*На полях другими чернилами:*] На титуле, вероятно: La Bibl. d'Apollodore, tr. ann. et comm. par J.C.C. et B. Mass. Издательство в библиогр. не указано.

пендий, который я давно перевел и по плану ИВГИ должен издать с огромным, еще не конченным комментарием; я хотел бы посмотреть, какой комментарий сделали французы. Комментировать мифологию хлопотливо, но приятно, я надеялся отдохнуть за этой работой в Узком, но не управился с предыдущими работами, и придется там вместо этого мучиться над очередным куском «Лингвистики стиха», где я чувствую себя гораздо менее уверенно. <...>

Твой М.

1 Речь идет о 9-й конференции Международного общества теоретической психологии (ISTP), проходившей в Калгари в июне 2001 г., куда меня пригласили с «гостевым» докладом на любую тему по выбору. В опубликованном виде см.: *Avtonomova N.* The Quest for Self-identity and the Shortage of Conceptual Language: Some Paradoxes of Post-Soviet Philosophy // Theoretical Psychology: Critical Contributions. Captus University Publications, 2003. P. 134–143.

A46
[25 июня 2001 года, Москва, от руки]

25.6.01. Дорогая племянница, дядя Саша полюбопытствовал в Интернете. Что такое «дискурс». И получил ответ на полстраницы (за подписью «Макс Фрай»): «Дискурс — это базар — т.е. коммуникативное событие. Есть выражение „писать на дискурсе“ (итд.) Возможно, самое точное определение — „предконтекст“ (итд.) При употреблении нужна бдительность и осторожность. Вот что я вам скажу». «Базар — это не хуже, чем „разговорщина“». А в другом месте я где-то наткнулся на объяснение того, что такое телесность и связанная с нею модная метафорика. (Помнишь, я тебя спрашивал: а бюхнеро-базаровское «мозг выделяет мысль, как печень — желчь» — это телесность?» Ты сказала: э, нет, телесность — она эротическая. Почему? — Так как-то, считается и всё.) Теперь я прочитал: это современный человек бунтует против

власти и ищет выхода в секс, который власти недоступен. <...> Из подвластности общественному гнету человек уходит под гнет собственных инстинктов, покоряется тому, чего левая его нога хочет. От рабства обществу — в рабство природе; наверное, это колебание маятника, которое будет продолжаться и всю дальнейшую историю. Кроме того, мне кажется, в постели тоже не уйти от власти, если один дает наслаждение, а другой берет <...>. Пишу тебе из Узкого, сижу в царь-номере с 5 окнами, для прочистки мозгов написал за неделю один 5-листный античный перевод (легкий) и теперь за две недели должен сделать большую статью по лингвистике стиха — голова работает плохо, считаю, и не вижу, куда эти подсчеты ведут. Мне бы кончить жизнь, доделывая редкие пробелы в том, что уже сделано, но жить надо на гранты, а их дают только под большие проекты, которых за жизнь не кончить. Чувствую себя плохо перед давящими долгами и обязательствами, хочется пожаловаться, а некому, да я и привык не жаловаться, а ободрять. Прими же мои ободрения. Я тебя очень люблю. М.

Аля передала, что ты звонила, что купила мне французского Аполлодора — спасибо тебе большое. Очень постараюсь кончить хоть эту работу.

А47
[14 октября 2001 года, Анн Арбор, от руки]

Племянница, родная, пишу не с тем, чтобы что-то сообщить, а только чтобы подать весть. Ты ищешь квартиру, ни на что другое времени и сил не хватает, и пусть — лишь бы это хоть как-нибудь удалось. Что сейчас не успеешь сделать, отработаешь потом, сидя в своих новых четырех стенах. Важнее этого пока только одно — твое здоровье. Ради него щади себя в чем угодно, даже в поисках квартиры. Я тихо молюсь, чтобы мне повезло, и ты нашла жилье не очень далеко от нашего юго-запада: мне тебя очень не хватает. Я здесь странно живу: ехал, чтобы в последний раз в жизни отси-

деться одному в четырех стенах, а каждый вечер пишу кому-нибудь письма: видимо, на старости лет стал больше дорожить хорошими людьми, которых послал мне бог. Работа здесь не будет синекурой: Ронен — усталый, загруженный (он просил Фулбрайт перенести меня на весну — но по их правилам не получилось), поэтому мне придется работать за полуторых. А я почему-то тоже чувствую себя усталым и тупым. Но вполне здоровым, не беспокойся обо мне: даже чемодан я во всех аэропортах таскал по лестницам вверх-вниз и ничего. Больше того: у меня последние месяцы болела правая рука пониже плеча, было трудно ею двигать, я об этом никому не говорил, а теперь, потаскав чемодан, почему-то все почти прошло. Мне подарили две толстые книжки больше по твоей части, чем по моей: C. Emerson. The first hundread years of M. Bakhtin, 1997, и Critical Essays on M. Bakhtin, ed. C. Emerson, 1999; если у тебя их нет, я пошлю их прямо на твое имя. Эмерсон почему-то меня уважает, цитирует чаще, чем я того заслуживаю, и величает — безоговорочно комплиментарно — watchdog'ом[1] позитивистской научности. Спрашивает: «ну вот, бахтинский бум, слава богу, спадает, по крайней мере, на Западе; как по-вашему, что от Бахтина останется через двадцать лет?» (Когда так говорит пионер западного бахтинизма, это приятно слышать.) Я говорю: «отвеется филологическая шелуха, останется философское ядро». «А в чем оно?». «Вот, по этим книжкам, оказывается, что и диалог-то у Бахтина был не такой, как между нами, а такой, как у Нила Сорского с Господом Богом, то есть для которого никакого языка и не требуется (Нил Сорский говорил с богом, как собака Каштанка с хозяином-столяром — без слов): „О если б без слова сказаться душой было можно“, как писал Фет; такие романтические потребности очень живучи, поэтому люди, которым нужен Бахтин, не переведутся. А язык он не любит, и чувствует себя в нем, как узник в темнице. Я тоже чувствую себя в жизни, как в темнице, и (мне кажется) понимаю Бахтина, как узник узника, но дальше начинается несходство характеров: я простукиваю стенки темницы и нащупываю код для общения с соседними камерами, а он

стоит у оконной решетки и рвется душой на простор». Она меня спрашивала, как ты рассказывала о Бахтине французам и швейцарцам, но я не мог ответить. А Ронен саркастически сказал: «французы мне сами говорили: многое в нашей философии у нас только для экспорта, а сами мы этого не носим». С Эмерсон я разговаривал в ее Принстоне, на мандельштамовской конференции, шумной и бестолковой; я там делал разбор перевода Мандельштамом сонета Петрарки[2] и в последний день перед докладом придумал формулу: перевод есть равнодействующая того, что переводчик должен, может и хочет: что он должен, задает подлинник, что он может, определяют средства его языка; что он хочет — это его предпочтения и вкусы, по которым он отбирает что-то из этих средств. Под эту тривиальность доклад прошел благополучно; пишу об этом тебе, потому что у тебя тоже очередная тема — апология перевода, хотя и философского: вдруг пригодится? А главным образом пишу все это потому, что хочется поговорить с тобой, а поговорить хочется, потому что я тебя очень люблю. Постараюсь тебе не докучать этим (как докучал тридцать лет и три года), но ты об этом все-таки помни. А бытовые анекдоты о моем заграничном существовании — когда-нибудь в другой раз. Их много: по-английски на слух я по-прежнему не понимаю, на каждой авиапересадке совал диспетчершам блокнот, как глухой Бетховен, «write your question, please», в одном месте меня даже в отчаянии спросили (письменно): «don't you know any sign language?» — видимо, это сделало бы разговор скорее. То-то Бахтин мечтал общаться без языка. Твой московский телефон у меня есть, а адреса не оказалось, поэтому пишу на ИВГИ; передай нежный привет Лене Шумиловой и скажи, что Оля Майорова, которая здесь сейчас преподает, много о ней расспрашивала и выражала самые хорошие чувства. Я тебя крепко обнимаю, глажу по головке и очень целую. Пожелаем друг другу здоровья и сил.

Твой старый помощный зверь.

14.X.01

1 Сторожевой собакой.

2 Доклад опубликован: *Гаспаров М.Л.* 319 сонет Петрарки в переводе О. Мандельштама: история текста и критерии смысла // Человек–культура–история: В честь семидесятилетия Л.М. Баткина. М., 2002. С. 323–337.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ: ПЕРСОНАЖИ И СЮЖЕТЫ

Ответственность за решение публиковать эти письма, а также спорность некоторых выраженных в них позиций побуждают меня сопроводить эту публикацию комментарием в виде несистематизированных заметок. В отличие от таких предметных областей, как античность или русская поэзия XX века, в письмах М.Л. ко мне речь идет о тех предметах и фигурах (прежде всего, современной французской мысли), которые не входили в круг его профессиональных интересов; однако именно этот материал провоцировал М.Л. на общие суждения — о науке, о методах, о потребностях российской культуры, — которые в иных случаях встречаются у него нечасто.

Отмечу сразу: тот, кто задался целью выудить из этих писем отдельные провокационные фразы, характеризующие отношение М.Л. к Фуко, Деррида или психоанализу, наверняка уже нашел то, что искал. Вся эта проблематика не была ему близка, а головоломная манера письма современных французских мыслителей, впитавших наследие позднего Хайдеггера одновременно с лакановским барочным стилем, часто вызывала его раздражение; отсюда — некоторые резкие, карикатурно заостренные высказывания: «...если за „Слова и вещи" Фуко надо было расстрелять, то за эти книги (речь идет о втором и третьем томах «Истории сексуальности». — *Н.А.*) — всего лишь поставить в угол» (письмо А3). Или: «В промежутке между началом и концом этого письма я увидел в книжном магазине твоего Лапланша и Понталиса. <...> Я полистал: мне

по-прежнему кажется, что лучшее в нем твоя статья, а все остальное может состязаться в трудном конкурсе на самую ненужную переводную книгу года» (письмо А36)[1]. С такими оценками в адрес Фуко или же одного из лучших в Европе психоаналитических словарей я совершенно не согласна; однако нам важно понять: почему М.Л. говорит то, что́ он говорит.

Относительно Фуко М.Л. это прямо поясняет: английский историк уложил бы содержание целых томов в компактную статью, тогда как Фуко многословен и стилистически претенциозен. Кроме того (это взято уже не из писем, но из устных обсуждений) М.Л. видит у Фуко стремление подстроить факты под ту или иную схему, подчас достаточно произвольную. Некоторые российские поклонники Фуко порицали М.Л. за неспособность оценить радикальную новизну подходов Фуко к историческому материалу. Много лет назад, сочиняя вступительную статью к переводу «Слов и вещей», я проработала все доступные мне отклики на эту книгу французских лингвистов, экономистов, биологов: в них содержались точно такие же упреки по поводу слишком свободного обращения Фуко с фактами[2]. Не случайно, не толь-

1 Крайние высказывания встречаются у всех людей. Впрочем, если внимательнее присмотреться к тому, сколько внимания уделяет М.Л. организации моей работы над переводами этих книг, то эти его высказывания предстанут в ином свете.

2 Позднее нечто подобное говорилось и о многотомной «Истории сексуальности». Так, уже в первом томе — «Воля к знанию» — Фуко выдвигает парадоксальный тезис — «гипотезу об антирепрессивности». Суть ее в следующем: западная культура не только не подавляла сексуальность, напротив, всячески побуждала ее своими дискурсными практиками, ритуалами, организацией социального пространства и др. Когда Фуко спрашивали — неужто и впрямь никакого подавления сексуальности в Европе не было? — он соглашался: было, однако об этом уже так много говорили и писали, что теперь нужно подчеркнуть то, о чем никто не писал. Иначе говоря, эта гипотеза строилась скорее как теоретическая провокация, нежели как следствие эмпирического обобщения. В той или иной мере это относится и к некоторым другим программным тезисам Фуко.

ко критики Фуко или люди ему чуждые, но и те, к чьим советам он прислушивался, подчас высказывали мнения, по сути, близкие гаспаровским. Так, П. Адо, известный французский эллинист, отмечал, что в трактовке античных и эллинистических сюжетов Фуко, для доказательства своей центральной идеи самопрактикования, усиливает идею «самости» и затушевывает идею «верховной инстанции», в конечном счете разумной, которая направляет действия человека[3]. Подобных примеров можно привести немало.

Следующая важная тема, которая красной нитью проходит через письма, — психоанализ и моя работа над переводом психоаналитического Словаря Лапланша и Понталиса. По сути, мы не ошибемся, если скажем, что М.Л. построил свою собственную схему анализа психических состояний, мотивов, поступков и, кроме того, предложил гипотезу о возникновении психоанализа в западной культуре. В любом случае он выступал не против фрейдовского учения как такового (или, по крайней мере, не против его «разумных» аспектов), но против «безумного» способа трансляции идей, в России долго отсутствовавших, на местную культурную почву. Чтобы как-то распутать парадоксы этой прерванной и возобновленной рецепции, он и считал необходимым добротный просветительский подход, который бы прямо и просто доносил до публики главное. В свете этой культурной потребности переведенный мною Словарь психоаналитических терминов Лапланша и Понталиса был, по мнению М.Л., слишком «деликатесен»: иначе говоря, он уделял слишком много внимания частностям, теряя из виду то общее, что нужно широкому читателю.

За время моей работы во Франции[4] я столкнулась с симметричной просвещенческой необходимостью: требовалось

3 См.: *Hadot P.* De Socrate à Foucault: Une longue tradition // Hadot P. La philosophie comme manière de vivre: Entretiens avec J. Carlier et A.I. Davidson. Paris, 2001.

4 Случилось так, что в России я была первым человеком, писавшим о Лакане (*Автономова Н.С.* Психоаналитическая концепция Жака Лакана // Вопросы философии. 1973. № 11); именно Лакану и его

«просвещать» уже не соотечественников, но французских студентов (к тому же не-русистов и русской мыслью интересоваться не обязанных). Так, начинающим психологам я рассказывала про образ душевной болезни в русской литературе (на примере «Записок сумасшедшего» Гоголя, «Записок из подполья» Достоевского и «Палаты № 6» Чехова); третьекурсникам (лиценциат) читала курс по истории психологических идей в России на стыке с философскими; у магистров и докторантов — вела спецкурсы «Павлов и Выготский», «Якобсон и проблема материальности слова» и др.; все эти педагогические опыты требовали от меня большой подготовки. Позднее в Лозанне и в Париже мне довелось читать курсы о концепциях Бахтина и Лотмана как различных стратегиях гуманитарного познания. По письмам М.Л. можно судить о том, как он радовался, когда мои темы соприкасались с собственно филологическими, и он чувствовал себя во всеоружии, чтобы помочь мне советом или порекомендовать полезную книжку.

С М.Л. мы много вместе размышляли о том, как переводить терминологию вообще и, в частности, термины психоанализа — дисциплины и практики, утратившей в России, после яркого начала в 1910–1920-е годы, свои традиции и понятийную преемственность. В письмах М.Л. не раз звучит

эпистемологии был в основном посвящен мой доклад на Тбилисском симпозиуме «Бессознательное: природа, функции, методы исследования» (1979), где присутствовало много французских психоаналитиков, которых это заинтересовало. Вследствие внимания к этой стороне моих научных занятий меня часто приглашали во Францию по ведомству психологии и психоанализа: это были доклад (с содокладами) на парижском конгрессе «Лакан и философы» (1990), научная и организаторская работа по подготовке франко-российской конференции «Психоанализ и науки о человеке» (Москва, март–апрель 1992), участие в работе исследовательской группы Национального центра научных исследований, занимавшейся проблемами здоровья (Париж–Амьен), лекции в Безансонском университете, продолжительный период работы на кафедре гуманитарных клинических наук университета Париж-7 и др.

сожаление и удивление по поводу того, что переводом психоаналитического словаря занимается философ, для которого психиатрия не является профессиональным багажом. А это не так уж странно: в 1960–1980-е годы проблематикой бессознательного (а тем самым, отчасти, и психоанализа, хотя психоанализ в России не был реабилитирован до конца 1980-х годов) занимались именно философы, тогда как ни одна другая профессиональная группа — ни психиатры, ни психологи, ни социологи — не решалась делать это публично; так что в результате эта странность имела свою культурно-историческую подоплеку.

Однако самый яркий сюжет в письмах — «Гаспаров и Деррида»; он заслуживает отдельного изучения, а пока отмечу лишь немногое. Из кладовой своей эрудиции М.Л. доставал те или иные культурные схемы и формы, которые, как ему казалось, подходили для ввода Деррида в российскую культуру. В письмах он неоднократно спрашивал: ну что — переводишь или не переводишь (решилась или не решилась)? А дальше переходил к изложению собственной позиции: «Честное слово, не так уж его и нужно переводить, — нужнее написать книжку о нем, может быть, с включением отрывков. В XVIII в. любили издавать антологии отрывков, характерных для таких-то писателей, под заглавиями L'ésprit de Marc Aurèle, L'ésprit de Voltaire, „Дух Тибуллов“ итп.; но Деррида, кажется, плохо разымается на афоризмы: слишком громоздок» (письмо А32)[5]. Одновременно с этим М.Л. постоянно интересовался вопросами, которые можно назвать методологическими: как ты подходишь к работе? откуда смотришь на Деррида — изнутри или извне? Он обсуждал со мной различные жанры будущих публикаций, советовал сделать «проблемную рецензию с отсебятиной», которая бы помогла настроить читателя таким образом — тут М.Л. очень четко сформулировал свою мысль, — чтобы Деррида его «интересовал, но не завораживал».

5 К сожалению, книжки о Деррида с включением репрезентативных отрывков из его текстов на русском языке нет до сих пор.

Публикуя здесь, в частности, письмо М.Л. (А40) с разбором моего вступления к «Грамматологии», я вывожу на всеобщее обозрение то, что люди обычно хранят при себе, — внутреннюю, личную и достаточно тенденциозную рецензию[6]. М.Л. признает: моя вступительная статья — «хорошая», однако до подлинного просветительства она не дотягивает. Он призывал меня переводить проблематику Деррида на обыденный язык, нейтрализуя те соблазны, которые порождает эта по-своему блестящая проза; М.Л. хотелось моими руками победить дракона суесловия, развенчать французские игры с хаосом и несказуемостью, а потому, что бы я ни делала, казалось ему заведомо недостаточным: чары не разрушены, магия жива.

Как и в случае с Фуко, в своем подходе к Деррида М.Л. не одинок. Как известно, отторжение от современной французской мысли (не только отказавшейся от идеала ясности, но и принявшей за идеал риторическую перегруженность, ассоциативность, этимологизирование) было не менее, а более сильным у англо-американских сторонников аналитической философии в разных ее вариантах, а также едва ли не у всех представителей современного немецкого постгегельянства, так или иначе сохранявшего трансценденталистские идеалы. Однако для нас здесь важнее другое.

6 Для уточнения пропорций в оценках упомяну еще об одном жизненно важном случае. Однажды меня выдвинули на американскую стипендию и послали М.Л. письмо с просьбой оценить проект. Он поставил мне 4, и стипендию мне не дали. Когда задним числом, узнав об этом и расстроившись, я спросила его, кому он поставил бы пятерку, он уверенно ответил: никому, кроме господа бога. Впрочем, кажется, после этого случая он стал внимательнее учитывать внешнюю прагматику таких ситуаций. Однако подобный нравственный максимализм и некоторую, что ли, социальную невменяемость мы видим и в его отношении к самому себе. Так, на защите своей кандидатской диссертации М.Л., вопреки советам и предостережениям, выбрал на роль главного оппонента враждебно настроенного специалиста по античной басне. Почему? Потому, что других специалистов просто не было, но еще и потому, что оппонирование как раз и предполагает выступление противника; в результате защита висела на волоске и чудом избежала провала.

Случилось так, что эти два современника — Гаспаров (1935–2005) и Деррида (1930–2004) — при моем пособничестве соприкоснулись, вошли в контакт и устроили свое заочное состязание на российской почве. Косвенная полемика «Гаспаров–Деррида» — это своего рода битва титанов, но это не значит, что они во всем противоположны. Так, для них обоих характерна апология письма (хотя Гаспаров и видел в письме, в отличие от устной речи, авторитарность, которую Деррида не замечал): оба они никогда не говорили на публике, не держа в руках письменного текста. Для обоих была характерна крайняя степень одержимости работой, заметно превышавшая обычную преданность делу. Только вот направленность этой работы была различной и даже диаметрально противоположной. А это, в свою очередь, зависело от различной организации их душевной жизни, от того, откуда они получали основные импульсы к работе. Насколько я могу судить (а я очень хорошо знала одного и в какой-то мере другого), их творческие импульсы были так или иначе связаны с разнонаправленными страхами и разноместными душевными ранами. Так, Гаспаров больше всего боялся хаоса, а Деррида больше всего боялся канона и системы. Причем, для обоих это был страх перед красотой: для Гаспарова — перед поэзией, для Деррида — перед тем мощным и прекрасным французским языком («мой единственный язык — не мой»: арабский и еврейский были ему одинаково чужды), которым он блестяще владел, но чувствовал себя пленником его системы. В «Монолингвизме другого» он признавался, что эти требования некоего нормативного совершенства приводили его к порицанию неправильной речи, местного акцента, хотя он и стыдился собственного пуризма. Соответственно, Гаспаров любой ценой искал систему в несистемном, а Деррида не покладая рук разбивал системное везде, где он его видел или подозревал: из этого психологического импульса можно было бы вывести, в конечном счете, всю деконструкцию.

Уже по этим контурам проблемного со-расположения Гаспарова и Деррида можно судить о том, что между ними — не провал и не пустота, но скорее то, что Деррида называл

апорией, — неразрешимый парадокс, незаживающий разлом современной культуры. В данном случае это — апория филологического наследия и деконструкторской инициативы, которая не разрешается по схеме архаист–новатор. Эти различные импульсы несовместимы, но парадоксальным образом солидарны и даже культурно взаимодополнительны: это видно там, где Гаспаров, великий ученый и переводчик, сам становится «деконструктором», а Деррида, быть может, — «более чем филологом».

Подобно тому как Деррида боялся метафизических понятий, Гаспаров боялся «важных» и «больших» слов, всячески подчеркивая при этом свой «конкретный ум». Он не любил слова с туманной претензией: большому времени Бахтина предпочитал конкретное социально-историческое время. Не любил внеисторические обобщения: напрасно Юнг объявляет вечной ту систему бессознательного, которой он современник, есть и другие. Культура — тоже понятие большое и страшное: она интуитивно дана лишь тому, кто родился в профессорской семье, с малолетства видел бесконечные ряды книг на полках и тем самым приобщался к культуре как ее законный наследник; всем прочим придется самим разбираться в том, «как она устроена», осваивать ее путем проб и ошибок. В данном случае интуитивный наследник культуры — это, например, Аверинцев, а экспериментирующий механик — Гаспаров: отсюда — право первого на использование интуиции, отточенной изначальным присутствием в культуре, и необходимость для второго идти путем эмпирического и рационального познания.

Продолжая «деконструкцию» «больших слов» применительно к моим сюжетам, М.Л. рассуждал, обращаясь ко мне, примерно так: ты же не говоришь: «Я — гносеолог», «я — философ», а говоришь: «Я — специалист по структурализму и постструктурализму»[7], и правильно делаешь. На это

7 В свою очередь, и я находила у него «большие слова»; не говори «наука» или «философия»: говори «наука (или философия) в моем понимании» (тем более что это понимание было столь необычным).

я отвечала: да, я действительно не называю себя философом (это слишком большое слово), однако считаю, что специальность у меня — философская: это эпистемология или, иначе, история и теория научного познания, его методы и закономерности — как они проявляют себя в разных областях гуманитарного познания. Но М.Л. упорствовал: нет, ты все равно не философ, а историк (современной) философии. При этом у него было весьма своеобразное понимание философии как творчества, в отличие от науки как исследования, что логически должно было приводить к взаимоисключающей трактовке этих видов деятельности, которые, по сути, вполне способны были «общаться» — и в наших разговорах, и в его собственной работе. Из этого перетягивания каната в итоге сложилась картинка моей межеумочной позиции: философа и филолога одновременно. Кажется, М.Л. не сразу понял ее продуктивность, но, когда понял, стал побуждать меня не прятать, а всячески подчеркивать эту специфику.

Его собственной реакцией на большое слово «культура» была специализация (что́ это такое — хорошо понимал тот же Деррида, утверждавший, например, что нельзя одновременно быть специалистом по Платону и по Шекспиру). Однако специализация предполагает односторонность, которой у М.Л. совершенно не было, он один работал как многопрофильный исследовательский институт, перерабатывавший огромные объемы информации. При этом любое малое задание могло развернуться у него в фундаментальную программу исследований. Известен пример из общения со студентами и аспирантами: как написать про Вергилия? — Прочитать все, что есть, Вергилия, потом все, что есть, о Вергилии на основных европейских языках, а потом — изложить результаты прочтения и обдумывания своим собственным языком. При этом неизбежно получится что-то новое, потому что возникнут новые связки между элементами, которые раньше не приходили в соприкосновение. Были случаи, когда, услышав такую максималистскую программу, люди навсегда отказывались от занятий наукой.

Главный критерий оценки собственной работы был для него внутренним, а не внешним: это предельное напряжение сил — ведь сам я лучше знаю, что́ могу и чего не могу. Когда-то, еще в советские времена, М.К. Мамардашвили писал о том, что культурное состояние для человека — неестественно: оно должно поддерживаться усилием воспроизводства этого состояния. М.Л. наверняка с этим бы согласился, только уточнил бы: дело не столько в усилии (оно может быть и разовым), сколько в постоянном труде. При этом он никогда не говорил о том, что, например, современная культура плоха или что она испортилась, потому что он знал о культуре и в культуре слишком многое и помнил, что разговоры о порче культуры люди вели во все времена. А потому он упорно заострял другой тезис — «в культуре не бывает плесени»: у всего, в ней возникающего, есть свои основания, все странности и уродства перерабатываются, порождая какие-то новые качества, и к тому же они воспринимаются потомками иначе, чем современниками, — в ретроспективно успокоенной картине целого, а не в перекосах болезненно переживаемой динамики бытия.

Структура личности и способ мировосприятия до совершенства отточили способность М.Л. воспринимать мир через написанное слово. Он исключал для себя возможность соприкоснуться с культурой просто так, без подготовки, спонтанно. Он боялся давления целостностей, не вытянутых в тонкие дискурсивные цепочки, не переведенных в слова, и, чтобы воспринять то или иное жизненное и/или культурное явление, вспоминал книжные тексты или мысленно сочинял свои, которые должны были служить «подпорками жизненных впечатлений». В нем жила гипертрофированная способность построения словесных миров, хотя при этом он не позволял себе считать их последней реальностью и никогда не путал собственные словесные изобретения со словом как объективированной материей смысла, обнаруженного в изучаемом предмете. Ведь даже сейчас, когда путь к смыслу через язык усложнился и удлинился, слова — это самое надежное, что у нас есть. Доверять слову — не значит «верить

на слово», утопически считать слово всегда правдивым, но это значит, что со словом можно работать, его можно обрабатывать, получать результаты, уточнять эти результаты.

Вопрос о том, как нужно обрабатывать словесное поле культуры, всегда решается «здесь и сейчас». Я ответствен за тот участок работы, который вспахиваю, на котором работаю как «ломовая лошадь просвещения»[8]. (Видимо, это — перифраза пушкинского высказывания о переводчиках как «почтовых лошадях просвещения», правда, это лошади разнопородные: пушкинские — резвы и бьют копытом, а гаспаровская, ломовая, — вынослива к долгой перевозке тяжестей.) Наряду с ломовой лошадью, другой важный образ в самоидентификации М.Л. — солдат: мы должны «быть русскими солдатами на своих научных местах» (письмо А34). М.Л. поясняет: речь идет о редком и ценном качестве русского солдата — его «неприхотливости к начальству»: если французский солдат, как утверждают знатоки военного дела, при глупом генерале теряет боеспособность полностью, то русский — только наполовину. Получается, что у русского солдата, к которым он себя причисляет, всегда была достаточно высокой мера самостоятельности и личной независимости[9].

Так как он считал всеобщей в культуре ситуацию непонимания, главную роль в его исследовательском замысле играла выработка общего языка. Если общий язык есть, его нужно

8 Просвещение М.Л. понимает не как Фуко и Деррида, не по-европейски, но прежде всего в его развороте к российской истории и культуре. Просвещению в России, считал он, всегда не везло, а потому наша задача содействовать просвещению, как ввозу и переработке западной мысли, со всей возможной ответственностью, усматривая в этом деле не повод для самоутверждения, а повод для «человеколюбия» (из его критики моего вступления к переводу «Грамматологии»).

9 Этот пример поясняет его ответы на многократно задававшиеся ему вопросы — о режиме, власти, обстоятельствах, о жизни в советское время, на которые он отвечал: писать то, что считаешь нужным, можно во все времена, только тогда времени и сил на риторику тратилось больше, чем тратится сейчас.

беречь (об этом идет речь во многих письмах), если его нет, его нужно вырабатывать, то есть прежде всего — учить язык собеседников (именно поэтому все разговоры с людьми были для него так тяжелы). В исследовательской позиции это значит — учить чужой, авторский язык. А язык этот, «как и английский или китайский», выучивается не интуицией, а по учебникам: «кто считает иначе, тот, видимо, или слишком уютно живет, или, наоборот, так уж замучен неудобством этого мира, что выстраивает в уме воображаемый и считает его единственным или хотя бы настоящим» (А22). В результате получается не что иное, как «нарциссическая» («солипсическая») филология, тогда как дело и призвание филологии — быть службой общения.

На фоне этого требования учить чужие языки яснее становится для нас и суть упреков М.Л. к концепции диалога, особенно — в ее расширенном варианте: «послебахтинские рассуждения о диалогичности всего на свете — это непростительный оптимизм». Понимание или диалог случаются редко: обычно каждый говорит о своем и слышит лишь сам себя: «Что такое диалог? Допрос[10]. Как ведет себя собеседник? Признается во всем, чего домогается допрашивающий. А тот принимает это всерьез и думает, что кого-то (что-то) познал» (А22). «Каждый из собеседников по ходу диалога конструирует удобный ему образ собеседника; с таким же успехом он мог бы разговаривать с камнем и воображать ответы камня на свои вопросы...» (А22). Поэтому максимум для нас достижимого — это учиться языку собеседника; «а он такой же чужой и трудный, как горациевский или китайский». По сути, это спор даже не с Бахтиным и его позицией, но прежде всего — с нашей рецепцией Бахтина, которая из поиска понимания стала догмой и навязывает нам теперь концепцию Бахтина как методологический образец для гумани-

10 Я рассказывала М.Л. о том, как читала с французскими студентами разговоры следователя Порфирия Петровича с преступником Раскольниковым; как известно, по Бахтину, «Преступление и наказание» дает яркие образцы диалога.

тарных наук[11]. В любом случае нынешнее сверхширокое применение идей Бахтина к анализу литературного материала всех времен и народов, а также всех вообще гуманитарных предметов — вина не Бахтина, а наша собственная. К счастью, сейчас рецепция Бахтина в России и в мире сделала полный оборот, и теперь Бахтин наконец-то становится «нормальным» полноценным предметом познания, которое работает не на беатификацию (или поношение) персонажа и его идей, но на их внимательное и серьезное изучение.

Давая развернутое обоснование своей концепции филологии как «изучения чужих языков», М.Л. по той или иной причине не ведет свое рассуждение дальше. Быть может — потому, что теоретически продолжение представлялось ему само собой разумеющимся, а практически оно осуществлялось им в течение всей жизни. Однако мне представляется необходимым четко обозначить следующий шаг: это — *перевод*. Учить языки нужно для того, чтобы уметь *переводить* — тексты или любые другие высказывания. Именно перевод (а не просто выучивание чужих языков) является необходимым условием диалога и понимания: без перевода диалог неосуществим[12]. Тем самым я формулирую тезис, который считаю принципиально важным для всей современной научно-гуманитарной мысли. После того как философия научилась опознавать проблему языка — на месте

11 При этом бахтинский диалог (допустим, что диалог все же бывает) — это не простой диалог, как между людьми, но скорее такой, «как у Нила Сорского с Господом Богом», то есть... без слов, — уточняет М.Л. в разговоре с Кэрил Эмерсон (А47). Язык для Бахтина — темница, и он в ней — узник; М.Л. говорил, что понимает Бахтина «как узник узника»; однако, если при этом Бахтин «рвется душой на простор», М.Л. предпочитает «простукивать стенки темницы и нащупывать код для общения с соседними камерами». Разумеется, Бахтин бы никогда не согласился с такой трактовкой своей позиции и своего отношения к языку: у него иные очевидности и иные предпосылки рассуждения.

12 Об этом подробнее в кн.: *Автономова Н.С.* Познание и перевод: Опыты философии языка. М.: РОССПЭН, 2008.

проблемы «мышления, мыслящего самого себя» (Гадамер говорил об этом в работах начала 1960-х годов), в состав философских категорий вошли такие понятия, как понимание, коммуникация, диалог. А теперь дошла очередь и до перевода, который из технического лингвистического понятия становится принципом философской рефлексии. Вспомним лотмановскую критику коммуникативной схемы Якобсона: в культуре общение на одном языке, едином для говорящего и слушающего, — это не правило, а редчайшее исключение. А потому любое изучение культуры должно учитывать человеческое многоязычие и, соответственно, — необходимость перевода — в узком и в широком смысле слова, когда мы считаем переводом не только передачу сообщения на другом языке, но и передачу содержания одной концептуальной системы в терминах другой концептуальной системы, и перифразу в пределах одного языка, и переходы между различными семиотическими системами — все то огромное поле, в котором перевод выступает, — сейчас, в начале XXI века — как нечто философски значимое и жизненно необходимое.

Все эти общие тезисы методологической программы М.Л. складываются для нас в общую картину выработанной им для себя философии. М.Л. — философ sui generis: он строил нужную ему философию познания, о которой мы можем судить по косвенным признакам, так как она существует в основном имплицитно и должна быть специально реконструирована. На то, что эта философия существует, указывают и его требование давать отчет в том, что мы обычно принимаем без доказательств, и ответственное отношение к слову, далеко выходящее за рамки любой, сколь угодно последовательной, филологической тщательности. Фактически М.Л. постоянно бился за философский подход ко всему, над чем он работал, хотя слова «рефлексивный», самоосознающий, которое было бы здесь очень уместно, он не употреблял.

Вместе с тем М.Л., по сути, указывает нам на новый пласт философской проблематики: те вопросы, которые он ставил,

требуют пересмотра идеи позитивности, учета тех сложных опосредований и моделей, в которые вписывается эмпирический факт в процессе понимания и интерпретации. Эта концепция должна быть отлична и от того позитивизма, который было принято ругать в русской философии XIX века, и одновременно — от того европейского позитивизма (и постпозитивизма), который в XX веке последовательно растворил факты в «теории», а теорию — в социуме и культуре, релятивизировав тем самым все здание науки. Сейчас принято считать, что позитивизм как идея последовательного эмпирического обоснования науки безвозвратно погиб, а к тому же и раньше был эпистемологически неосуществим (из-за «теоретической нагруженности» фактов) и морально вреден (как якобы бескрылое оправдание всего существующего). Но недаром характеристику, которую дала М.Л. Кэрил Эмерсон, — «сторожевая собака позитивной научности», — он носил на груди как орден и считал ее «безоговорочно комплиментарной».

В наши дни кажется, что наука — хоть эмпирическая, хоть теоретическая — не так уж дорого стоит. Ведь даже умный Лакшин удивлялся: зачем нам что-то считать, зачем изучать, как устроено литературное произведение? Чтобы его воспроизвести, чтобы построить на основе полученной схемы другие подобные произведения? Но кому это нужно — ведь вокруг и так слишком много серости? М.Л. смотрит глубже и видит дальше. Он защищает роль науки, роль знания в культуре — как самостоятельной ценности, не сводимой ни к каким своим конкретным применениям. Тем самым он фактически указывает на необходимость новой философии науки, которая необходима культуре, которая хочет быть и дальше: ведь без «фактов» не существует «ценностей», и в этом общем культурном поле наука, последовательно нацеленная на общезначимое (если не путать ее с сиюминутной прагматикой полезных приложений), — самое надежное основание.

Как уже отмечалось, М.Л. обычно противопоставлял философии, которая творчески модифицирует реальность, иной — научный, рационалистический — взгляд на вещи.

Это не какой-нибудь реально существовавший или существующий рационализм, но скорее — собственная система представлений и образов, способная организовать жизненный мир и научные практики человека. В письмах рационализм предстает в разных обличьях: как твердый, устойчивый берег бурного моря, как ключ к миру и даже — как некий полезный «балласт», который удерживает корабль на плаву в опасном путешествии. При этом верный спутник рационализма у М.Л. — девиз «дважды два — четыре». Неверно было бы видеть в этом бескрылое кредо скептика: ведь главное для него даже не в том, что «дважды два — четыре», но в том, что дважды два — *для всех* четыре. Этот тезис в сочетании с осознанным отношением к языку и самоотчетом в том, как мы понимаем тексты, — и есть основа рационального отношения к миру и к своему предмету; это символ самой возможности преодоления непонимания, отчасти реализуемая утопия прорыва к общему языку.

Для М.Л. динамика — это область переживания, а познание предполагает осознанную, искусственную остановку, успокоение жизненного процесса: иной возможности уловить систему соотнесенных элементов у нас просто нет. В письмах М.Л. обдумывает эти вопросы не только в плане эпистемологическом, но и в плане практической этики. Рационализм для него прежде всего выбор того, что неярко, немодно и непрестижно, быть рационалистом — при нынешней прагматической конъюнктуре — значит состоять в «почти что мучениках от науки». Этот выбор рациональной установки вовсе не был осознанной маргинализацией себя по отношению к тому, что интересует и увлекает других: это был выбор на перспективу, на будущее. Огромный историко-культурный опыт М.Л., который он обобщил на стиховедческом материале в закон «исторического волнообразия», свидетельствовал, с его точки зрения, о том, что рациональный подход должен возобладать и в будущем — как тенденция, которая, несмотря на все современные противодействия, пробьет себе дорогу в жизнеспособной культуре, желающей иметь образ самой себя.

М.Л. много размышлял о «своем» и «несвоем» месте в культуре. С редким упорством он напоминал: мы (в контексте рассуждения — я и он) — не генераторы идей, не творцы новых концепций, а просветители (иной вариант той же мысли: мы — не философы, а исследователи). В такой оценке было, конечно, смирение и даже самоуничижение. Но также — протест против нынешнего обобщенного креативизма: ему было виднее, где в культуре новое, а где подновленное старое, притом что новое может быть замечено лишь на фоне старого, иначе оно остается неуловимым. При этом расстановка акцентов подчеркивала одно (несвободу) и глушила другое — свободу выбора себя (чтó я делаю из того, что из меня делают обстоятельства, перефразируя марксистскую формулу), а также реализации этого выбора, причем не по инерции, а с постоянным самопереспросом: правильно ли я решил? М.Л. твердил, что чувствует себя — заметим, вполне по-филологически — «подбором источников», «человеческой компиляцией». Однако эти источники не оставались давящим извне грузом, из них он построил то, что выбрал сам. Причем, как и у Фуко, это было не просто личное строительство в своем духовном хозяйстве: это был опыт-предел, или опыт на пределе, или опыт с пределами (границами) (по Фуко, — expérience-limite).

Если Фуко проверял свою способность в любой ситуации выходить за пределы, «думать иначе», то М.Л. испытывал пределы, чтобы проверить свою способность претворения человеческого опыта в соизмеримые формы через язык, через артикулированное слово. Это фактически был опыт перевода в ситуациях непереводимости. Этот опыт может показаться кому-то тривиальным, но, по сути, он редок и в таком масштабе уникален. Переводить свою боль, например, в поэтическое слово, которое заменяет удар или крик, но дает лишь эскиз артикуляций душевного опыта, умели (или стремились) многие. Переводить свою боль в артикулированные формы «обыденного» языка — как главного для человека способа расчленения мира — никто особенно не стремился; по крайней мере, никто не брался проверять возможность

такого перевода с той последовательностью, с какой это попытался сделать М.Л.: наедине с собой — письменными самоотчетами; в общении — устными; в чтении текстов — переводом стихов на обыденный, прозаический язык, их «проговариванием». В современной культуре, наводненной визуальными образами, такие экзерсисы могут показаться неуместным архаизмом. Однако эта попытка предельной вербализации и одновременно предельного очищения от жаргонности очень важна — прежде всего своим демистифицирующим потенциалом, новыми шансами достичь умопостигаемого: ее можно включить в ранг самых значимых форм «предельного опыта» в культуре второй половины XX века.

Эта форма рациональной эпистемологии переводима в определенную философию жизни. Вот некоторые принципы этой практической философии: не кивать головой в знак того, что-де понимаю, если не понимаешь, — лучше переспрашивать (не бояться себя, не стесняться других, задавать наивные вопросы); неустанно наводить порядок в своем умственном и душевном хозяйстве; развивать «изъяснительские» (иначе говоря, риторические) способности, с помощью которых можно в любой ситуации сказать то, что хочешь сказать; и, конечно, никогда не говорить: «это ни то и ни сё» или «это не поддается формулировке», потому что в отличие от наших персонажей, которые вольны думать и говорить что угодно, мы (как исследователи) не имеем на это права. При этом у нас есть и еще одно обязательство — писать просто, причем это не дар, а умение, которое вырабатывается постепенно, по мере того, как в человеке ослабевает потребность в самоутверждении и одновременно нарастает степень владения предметом: просто можно говорить только о том, что знаешь очень хорошо. Что еще важно? С толком использовать свои «наукоспособные» годы: что будет дальше — никому не известно, а когда наступит старость, не жаловаться, а постараться понять, как она устроена, не забывая, что «подводить итоги неудавшейся жизни» приходится каждому: при взгляде изнутри — удавшихся жизней не бы-

вает (А33). Но самое главное в этой практической этике — то, что обеспечивает собственное человеческое равновесие: ты не существуешь как представитель чего-то или кого-то, как участник какой-то компании: «вот так и стой!»

Какое счастье, что мне было кому написать и от кого ждать ответа. Однако письменное бытие языка имеет свои особые свойства — адресованности и одновременно открытости, графической прочности и одновременно — хрупкости. Эти письма были написаны мне, но они не есть нечто «собственное», мне одной принадлежащее. Теперь, когда это пространство личных писем открылось другим людям, в нем наверняка проявятся какие-то новые импульсы к проговариванию, общению, обмену, к пониманию того, что наше отношение к языку — это важнейшая характеристика человека, к «записи» вопросов и поиску ответов, из которых ткется человеческий разговор, познание и сама жизнь.

Наталия Автономова

УКАЗАТЕЛЬ ИМЕН

В указатель вошли имена лиц, упомянутых в письмах М.Л. (в том числе и не названных впрямую); не включены имена литературных и мифологических персонажей, а также лиц, упомянутых только в примечаниях.

В

Д

Е

Ж

З

К

Р

Т

У

Ф

Х

Ц

Щ

Э

Ю

Я

ВАШ М. Г.
ИЗ ПИСЕМ МИХАИЛА ЛЕОНОВИЧА ГАСПАРОВА

Выпускающий редактор Андрей Романович
Корректор Мария Смирнова
Компьютерная верстка Тамара Донскова
Производство Семен Дымант

Новое издательство
119017, Москва, Пятницкая улица 41
Телефон / факс: (495) 951 6050
e-mail: info@novizdat.ru, sales@novizdat.ru
http://www.novizdat.ru

Подписано в печать 17 сентября 2008 года
Формат 84×108 1/32. Гарнитуры Minion, Helios
Объем 23,73 усл. печ. л.
Бумага офсетная. Печать офсетная
Заказ №

Отпечатано с готовых диапозитивов
в ООО «Типография Момент»
141406, Московская область
Химки, Библиотечная улица 11